



**Дмитрий
МЕРЕЖКОВСКИЙ**

Гоголь и черт

**ПОЭТЫ
В СТИХАХ
И ПРОЗЕ**

ПОЭТЫ
в стихах
и прозе

Дмитрий
МЕРЕЖКОВСКИЙ

Гоголь и черт

Москва 2010

 **КНИГОВЕЖ™**
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6
М52

Оформление художника *А. Балашовой*

Составитель *В. Макаров*

Мережковский Д. С.
М52 Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование;
Итальянские новеллы / Сост. и вступ. ст. В. Макарова. —
М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. — 384 с. — (Поэты в
стихах и прозе).

ISBN 978-5-4224-0103-1

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1941) — известный русский и европейский поэт, писатель и философ Серебряного века. Один из основоположников русского символизма, он первым ввел в литературу жанр историософского романа.

Избранные стихотворения Мережковского, вошедшие в книгу, представляют собой цвет художественного наследия мэтра русского символизма.

Впервые за последние сто с лишним лет вниманию читателя предлагается уникальное по своему содержанию и углу зрения исследование «Гоголь и черт» («Скорпион», 1906), запрещенное Советами.

Книгу завершают «Итальянские новеллы», проникнутые высоким духом Ренессанса.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6

© В. Макаров, состав, вступительная
статья, 2010

© Книжный Клуб Книговек, 2010

ISBN 978-5-4224-0103-1

Журавли над Атлантидой

1922 год, 29 сентября, пароход «Обербургамистр Хакен», впоследствии прозванный «Философским», берет курс от берегов Советской России к берегам Европы. Из Петрограда он прибудет в немецкий город Штеттен. След, оставляемый им за кормой, окажется тем водоразделом, который окончательно отделит от мира прежнюю Россию. Она перестанет существовать географически и политически, да и духовно тоже, ведь и в умах людей, плывущих на этом пароходе, она давно перестала существовать. Всем им, титулованным и не очень, философам и ученым, писателям, в том, что еще вчера было Россией, не нравилось буквально все. Они отрицали ее, реальную, составляя различные кружки, ища другой России, а эту называли с легкой руки (с легкой ли?) вечного богохульника Василия Васильевича Розанова: «свиньей-матушкой». Были другие, говорившие: опомнитесь! Их не слышали, называли сектантами, реакционерами, предателями либерализма. Читай — свободы. Но и правительству они тоже были не нужны. Статьи их запрещались, журналы закрывались, таким притеснениям подвергались буквально все, от Владимира Соловьева до Мережковского как люди не благонадежные, за которыми необходима слежка. Странно, нелепо, притом, что разноголосица общественных мнений была все-таки делом, обращенным ко благу. Параллельно с этим, как попустительство и либерализм властей, развивался молодежный терроризм. Это уже была беда. Лев Толстой в одном из писем 1907 года пишет: «Экономическое неустройство... никак не может быть устранено ни жалобами, ни ненавистью, ни насилием, вытекающим из ненависти...» Таким вот разьяснением и себе и другим по большей части и занимались деятели культуры и просвещения. Но, как писал Толстой, обращаясь к императору Александру Третьему еще в 1881 году: «Около 20 лет тому назад завелось какое-то гнездо людей, большею частью молодых, ненавидящих существующий порядок вещей и правительство. Люди эти представляют себе какой-то другой порядок вещей или даже никакого не представляют и всеми безбожными, бесчеловечными средствами — пожарами, грабежами, убийствами — разрушают существующий строй общества». Между тем, интеллигенция тоже

была настроена антиправительственно и, так сказать, тоже расшатывала устои, хотя и другими средствами. Толстой призывал обратить внимание на исправление духовности в каждом человеке. Позитивисты, неолибералы спорили с марксистами и друг с другом. Философ князь Е. Трубецкой был государственнымником, Мережковский видел, напротив, что государство «съедает всего человека» и что совершенное построение возможно лишь вне государственных рамок. Анархизм М. Бакунина — «разрушать — значит созидать» — находил множество сторонников. Мережковский на это восклицал: «Все, что угодно, только не разрушать!» И это казалось особенным ретроградством среди всеобщего шума о судьбе родины.

Когда в горах время обвалов, знающие люди предпочитают говорить тихо или молчать. Толстой бросил клич: «Не могу молчать!» Россия, стоявшая на грани обвала, была тем горным местом, в котором лучше бы следить за самим собой, а не указывать другим, как и куда идти. Но интеллигенция только тем и занималась: кричала, указывала, причитала и возмущалась, и чем дальше, тем громче. Всех как будто поразила какая-то неприличная болезнь умственной разнузданности. Великая русская литература настолько раскрыла душевный мир человека, что в нем безбоязненно мог копаться любой дилетант. Всякий норовил предложить свой рецепт. Если прислушаться, то за уходящим парохом еще долго вился шлейф шума.

Российские философы и другие выдающиеся представители интеллигенции очутились на «философском» корабле не добровольно: их с позором изгнали по распоряжению нового правителя России.

Оказавшись за бортом родины, на чужбине — в Берлине, в Париже — многие призадумались, но не надолго, и снова поднялся шум. Все опять разбилось на кружки и редакции. Личное недоброжелательство перерастало в идейные разногласия, и договориться никому и ни о чем так и не удалось. Никогда.

Воплотилось то, что творилось в душе Николая Бердяева, который, будучи еще в России, все время колебался между «идеалом Мадонны и идеалом содомским».

Одним словом: «Так называемые русские кружки еще хуже русского одиночества».

Это высказывание принадлежит Дмитрию Сергеевичу Мережковскому. Поэт, провозвестник русского символизма, собеседник Чехова, религиозный мыслитель и автор прекрасных романов. В поэзии он свое символистское место сознательно отдал Валерию Брюсову, которому, не шутя, говорил: «Вы — человек будущего!» Конечно, это была прежде всего литературская позиция. Свой поэтический талант он отнюдь не принижал, известность и даже популярность ему принесли прежде всего стихи, лучшие, разумеется. Но он, вероятно, не мыслил себя лишь поэтом, понимая диапазон своих возможностей, а быть может, и не забывая ворчливого наставничества Салтыкова-Щедрина, чей сатирический гений не очень-то серьезно относился к стихам вообще. Кроме

того, перед ним и всегда были другие задачи. Ведь одновременно со знаменитой книгой стихов «Символы» в 1892 году он обнародовал шумевшую статью «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». То есть он старался заглянуть в суть вещей и, как ему казалось, не безрезультатно.

Действительно, статья распешила даже Чехова, но Антон Павлович, хваля, все же порицал автора в одном из писем, будто тот все время «трусит и приседает». Сейчас ничего этого не заметно, а возникает, напротив, удивление смелостью, с какой автор во времена Чехова и Толстого спрашивает: «...была ли в России истинно-великая литература, достойная стать наряду с другими всемирными литературами?» В этом парадоксе заключены и все тогдашние философско-политические баталии: жить в России и говорить, что ее нет. Но Мережковский заглянул дальше, и вот это было по-настоящему ново и необходимо. Он пишет: «Напрасно, гордясь великим прошлым, мы стали бы утешать себя мыслью, что не может постигнуть полное варварство страну, у которой есть Пушкин, Тургенев и Толстой. ...Кто знает, и современная Россия может, наконец, сделаться недостойной великого прошлого... и Пушкин станет чужим в одичавшей литературе, и гений его — страшно сказать — отступится от своего народа. Что там, в темном будущем, перед которым мы стоим? Смерть народной литературы — величайшее бедствие — немота целого народа, словесная смерть его творческого гения!»

Вот как далеко заглянул Мережковский... На сломе истории, в момент крушения родины, с переменной самой орфографии, казалось, что все это вот-вот и воплотится: Пушкина и впрямь пытались сбросить с корабля «одичавшей» современности. И тогда появился Хлебников с его птичьим языком, Есенин с его махновской удалью и речевая мозаичность люмпенизированного населения рассказов Зоценко. Все это было как омолаживающая кровь, пока Советы не прибрали литературу к рукам, сделав ее партийным придатком. Писать по приказу сверху — можно ли представить в такой ситуации Байрона, Пушкина, Салтыкова-Щедрина? Народной литературе не было места в новой идеологии. А литературу рождает именно народ. И только живой язык народа не позволил литературе умереть. Лишь языковой фактор позволяет некоторым критикам (произвольно) соединять авторов советского периода с расстрелянным Гумилевым и изгнанником Буниним. Народная литература и литература заказа сверху, когда великими назначают, навсегда сохраняют между собой швы. Но швы эти будут проходить по сердцу народа. Более того, вновь окажется верным высказывание великого романтика Шатобриана в отношении французской литературы: «Перемены в литературе, которыми хвастает девятнадцатый век, пришли к нему от эмиграции и изгнания». Все с точностью повторилось в наше уже время с русской литературой. Справедливости ради надо отметить, что в нашем случае значительную роль сыграла также внутренняя эмиграция, едва ли не более значительная, чем внешняя.

Дмитрий Сергеевич Мережковский по рождению своему петербуржец, петербуржец он и по тональности своей, особенно, в поэзии. В своей автобиографической поэме «Старинные октавы», едва ли не лучшим своим стихотворным произведением, он рассказал о себе сам. И воочию видишь атмосферу сумерек Летнего сада и линии Невского проспекта. Но видишь так же и поэтический луч его души, отраженный в городских окнах, в глазах матери, в детской памяти. Луч души — вот, пожалуй, главное содержание поэмы. Все свои поэтические средства, какие у него были, поэт, кажется, употребил на создание этого скромного шедевра. И не случайно октавы названы «старинными» — это переключка с Пушкиным и напоминание о том, что музыка, чем старше, тем ближе сердцу.

Но не стоит забывать, что в детстве и юности поэт тяготел к Лермонтову, многие стихи которого он повторял почти бессознательно, как молитву. Поэтому луч, озаривший его вечернюю душу, был отражением лермонтовского, а не пушкинского мира. Это говорит о многом, и прежде всего, о тональности его произведений, в том числе и литературно-критических эссе. Это говорит о религиозности его сознания, о мистичности его мирозерцания. Пушкин придет позже и поведет его дальше, но уже не к стихам, а к прозе, хотя уроков Лермонтова он не забудет. Вообще, можно предположить, что ключевым постулатом в развитии души и взглядов Мережковского были строки из «Демона»:

— А Бог? — На нас не кинет взгляда,
Он занят небом, не землей!

Вот проблема, разрешению которой он посвятил жизнь. Его антиномичность берет начало отсюда. С этой двойственностью, часто ложной, спорила с самого начала их брака З. Н. Гиппиус. Конечно, как жена она чаще выглядела проигравшей стороной, но, как она признается, все-таки иногда Мережковский вынужден был с ней согласиться. Так было с романом «Леонардо да Винчи». Бесспорно, это художественный шедевр писателя. Роман, какого в русской литературе не было. Но Зинаида Николаевна с чисто женским своим чутьем, понимала, например, что «идея двойственности: небо внизу — небо вверх» сама по себе не то чтобы фальшива, но как-то излишне нарочита. В 1933 году Мережковский в одной из своих лекций во Флоренции признал свою неправоту. Роману это, однако, не мешает, он приобрел мировую популярность. Правда, можно поспорить насчет двойственности Леонардо, но идея пришлась по вкусу искусствоведам и сегодня такое представление о художнике уже никого не смущает. Фактическая же сторона романа такова, что он был положен в основу итальянского научного многосерийного фильма о жизни и творчестве Леонардо, созданного в начале семидесятых.

Впрочем, эта его идея антитез, как сказано, возможно началась с Лермонтова и стала главным содержанием его произведений и одновременно творческим методом.

Начинал Мережковский рано и, как все почти, со стихов. В двадцать три года он уже издал книжку, разумеется, за свой счет, что было обычным делом. Стихи были в народническом духе и не намного лучше тех, какие были представлены юным поэтом (при посредстве отца) Достоевскому, который сказал тогда свою ставшую хрестоматийной фразу: «Слабо... плохо... никуда не годится... чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!» Страданий на долю Мережковского выпадет более, чем достаточно, однако творчество его так и останется книжным, потому что было таковым по природе своей. Ученический период гражданских мотивов довольно быстро сменился настроениями в духе поэзии С. Я. Надсона. Атмосфера его поэзии наполнена сумеречными полутонами, звучит приглушенно. И это уже не из-за влияния Надсона — в таком тоне писали все поэты того времени. И всего в стихах хватает понемногу: тут и ложно понятый буддизм, и пессимизм безверия, и мотивы каких-то безликих «идеалов». Пожалуй, имя родины звучит особенно лично и убедительно. Однако содержание книги позволяет говорить о ней даже через сто лет. Вот стихотворение 1887 года, которое так и называется — «Родина»:

Над немым пространством чернозема,
Словно уголь, вырезаны в тверди
Темных изб подгнившая солома,
Старых крыш разобранные жерди.

Солнце грустно в тучу опустилось,
Не дрожит печальная осина.
В мутной луже небо отразилось,
И на всем знакомая причина...

Каждый раз, когда смотрю я в поле,
Я люблю мою родную землю;
Хорошо и грустно мне до боли,
Словно тихой жалобе я внемлю.

В сердце — мир, печаль и безмятежность,
Умолкает жизненная битва...
А в груди — задумчивая нежность
И простая детская молитва.

Какое тонкое и чисто русское, акварельное стихотворение! В нем слышится предвестие есенинской музыки с ее отражениями в «водах лунных». И не исключено, что Есенин учился и у Мережковского, брал все лучшее.

В целом же в первой книге поэта над всем царит уныние какого-то неявного душевного упадка.

В просветленной трогательной дали,
Что неясно, как мечты мои, —
Не печаль, а только след печали,

Не любовь, а только тень любви.
И порой в безжизненном молчаньи,
Как из гроба, веет с высоты
Мне в лицо холодное дыхание
Безграничной, мертвой пустоты.

Эти строки написаны в 1887 году, но являются как бы кульминацией настроений несколько более ранних:

Нет, сердце, замолчи... ни звука, ни движенья...
Никто нам из небес не может отвечать,
И отнято у нас святое право мщенья:
Нам даже некого за муки — проклинать!

В душе поэта преобладают — «молчанье и сумрак».

Одним мучительным вопросом: для чего?
Вселенная полна, как роковым сознанием
Глубокой пустоты, бесцельности всего...

Таковы были настроения молодежи, воспитанной на нигилизме передовых идей.

Но дерзкого неверья злое семя
В душе моей росло...

В «Старинных октавах», опубликованных в 1906 году, он вспоминает, как его старший брат Константин вступил в конфликт с отцом из-за оправданной по суду террористки Веры Засулич. Молодой человек ликовал, захлебывался от восторга, старший недоумевал, высказывая обычные возражения и непонимание, да и вообще он никогда не умел найти общего языка со своими детьми. Отец что-то бормочет про «основы религии», но сын уже купил себе микроскоп и прочитал Спенсера:

«...Нам Спенсер дал для жизни принцип новый!» —
«А Бог?» — «Нет Бога!» — «Спенсер твой дурак!»

Результат предопределен: сына изгоняют из дома, правда, с денежным содержанием по мольбам матери.

Не новость, что Спенсер или другой кумир подчас дороже отца-матери. Спенсер был философ-прогрессист, не признававший необходимости такого понятия, например, как человеческое счастье. Пройдут годы и Дмитрий Мережковский будет удивлен, что его невеста Зиновья не читала Спенсера и порекомендует ей немедленно исправить такое упущение. Видно, это казалось ему необходимым для семейного счастья. В детстве же, судя по поэме, потрясение гимназиста Мити было велико. В его душу закрадываются сомнения. В чем-то прав брат, но в чем-то прав и отец. Виноват отец лишь в том, что он чиновник, еще один толстовский Каренин, и живет лишь службой. Но ведь кто-

то должен служить, и служить, выражаясь языком Пушкина, «отлично благородно». А если отец копит деньги, то копит для них же, для детей. Но он все равно представляется старшему сыну ретроградом, не замечая, что и сам проповедует некую догму, не терпящую никаких возражений. Чаша жизни раскачивалась и вконец расплескалась, и никто этого не заметил. И похоже, так будет во все времена. Впоследствии Мережковский напишет примечательное стихотворение «Пустая чаша». Это все та же тургеневская история «Отцов и детей», а точнее сказать, ее закономерный финал:

Отцы и дети, в играх шумных
Все истощили вы до дна.
Не берегли в пирах безумных
Вы драгоценного вина.

Но хмель прошел, слепой отваги
Потух огонь, и кубок пуст,
И вашим детям каплей влаги
Не омочить горящих уст.

Последним ароматом чаши —
Лишь тенью тени мы живем,
И в страхе думаем о том,
Чем будут жить потомки наши.

Отцы-эстеты и дети-нигилисты — и те и другие одинаково жили вслепую, духовно беднее последнего мужика. Тургенев не отступает от истины, когда приводит слова крестьянина после разговора с Базаровым: «...так, болтал кое-что; язык почесать захотелось. Известно, барин; разве он что понимает?» Чего же не понимает барин? Мережковский увидел через свое стихотворение опасность для себя, для России более отдаленную: дело даже не в барстве и не в Спенсере, а в отсутствии жизненного стержня, в неустроенности бытия или хотя бы простого быта со своими, а не чужими принципами. У крестьянина был свой мир: перед Богом все равны. Образованное сословие, приобретя микроскоп, утратило всякий мир вообще. Казалось, стоит лишь уверовать в то, что все равны друг перед другом, и этого довольно. Церковь русские интеллигенты не посещали, предпочитая обходиться каждый «своим» Богом. Это продолжается и по сей день: мало кто из «просвещенной» публики, проходя мимо храма, перекрестится, ну, хотя бы из уважения к традициям своих предков. А войти, так и вовсе не войдет. Между тем мечети, например, полны народа, что не может не вызывать уважения. Виолончельный эстетизм и Спенсер, условно говоря, затмили собой всякие основы. А чем жить? Искусством? Философией? Почти вся русская поэзия послепушкинского периода с трудом дотягивается до мира крестьянина, да и то, когда касается природы, и здесь все ее наивысшие достижения: стихи о природе Тютчева, Полонского, Фета, Майкова. И она же совершенно теряется в без-

ликости гражданской идейности, становясь водянистой риторикой: Якубович, Трефолев и многие, многие другие. Поэзия Мережковского в этом отношении — некоторый шаг вперед. Он еще жаждет иногда «Нирваны»:

Я не хочу пытать и числить.
Я только чувствую опять,
Какое счастье — не мыслить,
Какая нега — не желать!

«Мы — люди, мы — ничтожны» — останутся синонимами в его словаре. И все же он предчувствовал, что идет другое поколение, поколение таких же наследников промотавшихся (по Лермонтову) не одних лишь отцов, но и детей, однако готовых, как гладиаторы, выступить в защиту спасительных идеалов, не совсем еще затоптанных в грязь:

....Весь наш род,
Как на арене гладиатор,
Пред новым веком смерти ждет.
.....
Грядущей веры новый свет,
Тебе от гибнущих привет!

Простого решения поэт, однако, не предвидит.

И нет свободы, нет прощенья,
Мы все рабами рождены,
Мы все на смерть и на мученья,
И на любовь обречены.

Вот эта двойственность всего надолго смутит поэта. В своих романах и эссе он долго будет следовать этой дилемме, в чем косвенно проявится его наследственность духовной неустроенности отцов и детей. Это ограничит его возможности как писателя, но это же создаст и его своеобразие.

Поэт никогда не терял веры, что:

...не боится зимнего сугроба,
Почувяв жизни первое тепло,
Когда ручей поет и плещет звонкий, —
На трепетном стебле подснежник тонкий.

Таким подснежником станет для Мережковского вновь обретенный им образ Христа. К сожалению, поколение с подснежником-Христом в душе было уничтожено в самом начале. Это были, по выражению Мережковского, «Дети ночи» — увы, не в переносном смысле это сбылось, а в буквальном. Гражданские распри никогда не кончались миром. Не случайно Мережковский вспомнил протопопа Аввакума и его великое «Житие», переложение которого — одно из наиболее значительных произведений первой книги поэта. Позже он ее неодно-

кратно дорабатывал, стремясь, по своему обычаю, показать обе стороны, примирить, быть может, и непримиримое. Так, под его пером Аввакум, этот мятежный старообрядец, в конце своего трагического пути, приобретает черты прощающего всем и вся старца. Возможно, поэт хотел сделать этот образ понятней современнику. Но современник все равно не услышал, для него это была просто еще одна поэма, к тому же, по мнению критики, по большей части и неудачная. Критика ошиблась, народ же безошибочно некоторые отрывки поэмы сделал своими песнями. К сожалению, пел он их недолго. Шум на Руси стоял великий, кружки, как ржавые шестеренки продолжали раскручиваться. Как же было услышать чистую проповедь? Да и возможна ли проповедь посредством искусства, когда по верному, конечно, более позднему наблюдению Питирима Сорокина, искусство все более становится цехом развлечений. Мережковский в этом смысле ничем, как автор, не отличался от других. Стихи, романы — успех, не успех. Неужто в этом и вся ценность культуры? Имея в виду иные цели, он постепенно отказался и от стихов, и от романного жанра, но это не смогло спасти его от блужданий. Не признавая обыкновенную и устаревшую, по его мнению, церковь, он тоже надеялся отыскать или создать новую, правильную. И создал «Философско-религиозное общество». Увы, еще один кружок, а уже Тургенев сороковых годов ожидал большого зла для России от всех этих кружков.

Разумеется, не одни лишь внутренние переживания поэт осветил в своих «Старинных октавах», в них запечатлено много внешнего, что составляло его жизнь, вплоть до бытовых мелочей, которыми он дорожит. Как они хороши в вечернем свете! Поэма вообще изложена в вечерней тональности. Но это нисколько не делает поэму герметичной, октава делает ее ритм размеренным, но свободному дыханию речи не мешает. После Некрасова, пожалуй, настоящих удач в жанре поэмы в России не было. Мережковскому это удалось. В его персонажах, которых он показывает, уже виден не поэт, а романист социального даже направления. Достаточно вспомнить его зарисовки петербургских типов, совпадающих с «Разносчиками сбитня» и «Охтенками» М. В. Добужинского: «...смотрю в окно:\ В грязи шагая, охтенка промокла...» Не случайно он свою поэму называет «романом в октавах». В деталях ее наблюдается влияние романной манеры Достоевского, тогда как по исполнению она, конечно, ближе всего к манере Льва Толстого. Отец, истый петербургский чиновник, беглые зарисовки, абрисы портретов сестер и братьев и, главное, портрет матери поэта — все это как бы набросано пером автора «Анны Карениной». Временами отзываются и впечатления от живописи, как старых, так и новейших мастеров. Запоминаются нежные, девственно-тонкие пальцы матери поэта. Мережковский здесь выступает как живописец, применяя рембрандтовский подход, — раскрывать внутреннюю жизнь человека через изображение его рук. Мать всегда приходила к нему на помощь, так в его душе сложилась

убежденность, что и на помощь России придет мать: Богородица Дева. Не обойдена рассказчиком и первая любовь, которая, разумеется, тоже двойится. Юный гимназист влюблен в барышню, названную им принцессой Белая Сирень, и одновременно в красавицу прачку, словно сошедшую с полотен Ф. А. Малявина («малявинские девки и бабы»). Чувство детское, в котором уже просматривается понимание доступности одного образа и нереальности второго. И снова поэт вопрошает:

Зачем ты дал нам две души, Господь?
Друг друга ненавида и страдая,
Напрасно в людях спорят дух и плоть,
Любовь небесная, любовь земная:
Одна другой не может побороть.
С Владыкой тьмы враждует Ангел рая:
Кому из них я первенство отдам,
Кто победит меня, — не знаю сам.

Неизвестно, как развивалась бы вообще творческая судьба Мережковского, если б не одно событие, коренным образом переменившее его жизнь. В 1889 году он женится на девятнадцатилетней Зинаиде Гиппиус. Ему всего на пять лет больше, год его рождения 1865-й, но он уже настоящий поэт, цели его определены. Когда они венчались, почему-то не было певчих, на что молодая женщина обратила внимания, тогда как муж ее, похоже, этого даже не заметил. И вот они приехали жить в Петербург. В первую же Пасху Зинаида Николаевна захотела пойти к заутрени, на что Дмитрий Сергеевич удивился: «Зачем? Интереснее поехать по городу, в эту ночь он красив». Как виден здесь русский интеллигент, оставивший себе из всего духовного богатства одну эстетику, внешнюю красоту. Оттого и в стихах его (ранних) была преимущественно красота внешняя, чаще даже условная. Конечно, вспоминает Гиппиус, не один этот фактор сыграл свою роль, но, пишет она: «В следующие годы у Заутрени мы, однако, бывали».

Приблизительно с этого времени изменилось и творчество поэта. В его стихах появилось больше определенности. Голос поэта окреп, его индивидуальность нашла свое достойное выражение в поэтическом слове. Языческая красота постепенно перестает противопоставляться идеалам христианства, осмыслению которого поэт и посвятит не только стихи, но и всю жизнь. Его стихи начинает отличать некая апокрифичность, и в этом их особый аромат. В знаменитые свои «Символы» он включает переложение библейского сказания об Иове. Многое, конечно, мыслится еще по-прежнему, и это заставляет его закончить великую библейскую притчу безнадежным нравоучением:

Правды Господь никому никогда на земле не откроет.

Тут бы нужно разделить, какую правду? Человеческую или Божескую? Но как раз здесь Мережковский, любитель антиномий, этого и не делает, как будто он не знает, что философско-религиозное общество не есть церковь, а философия не может заменить веру. Вероятно, здесь известная схематичность его мышления и проявила свою ограниченность и даже ложность. Так же, как и «Протопоп Аввакум», «Иов» тоже вызвал со стороны критики сомнение в необходимости подобных переложений. Но никто не мог знать, что придет время и эти своеобразные поэмы, через светскую литературу, станут живым напоминанием об истинном человеческом и непостижимом Божеском. Постепенно в нем выработается писатель религиозный и все его зрелое творчество будет говорить нам: как бы ни был богат внутренний мир человека, без духовного стержня он — ничто. Даже сомнения в существовании Бога оживляют человеческую душу. Ведь это включает в себя целый комплекс мыслей и чувств: зачем же отказываться от навыков считать до бесконечности и возвращаться к счету по пальцам?

Разумеется, передовая, да и вообще критика, немедленно сочла это схоластикой, не нужной особенно в стихах. Но Мережковский уже никогда не сворачивал с этого пути, и его книги до сих пор вызывают живой интерес. Они стали продолжением той литературы, в существовании которой он некогда сомневался. В них по-прежнему остро звучат насущные вопросы человеческого бытия. Разумеется, те же вопросы вообще делают русскую литературу великой. Многие из них так и остались не разрешены: и сегодня проходишь мимо нищего в переходе с тем же чувством, с каким проходили и Толстой и Мережковский. Это очень точно и современно отражено в стихотворении Мережковского «Нищий»:

Вижу ль в скорбных лицах муку,
Мимо ль нищего иду
И в протянутую руку
Лепту жалкую кладу, —

За беспечною толпою
Тороплюсь, потупив взгляд,
Словно в чем-то пред тобою
Я глубоко виноват.

Пред собою лгать обидно:
Не люблю я никого, —
Только страшно, только стыдно
За себя и за него!

Нищенство — сложная социальная проблема, часто добровольный выбор человека, не всегда объяснимый. Но как верно это жестокое саморазоблачение поэта: «Не люблю я никого»! Не каждый может

так сказать о себе! Сказано это, конечно, от бессилия, тем ценнее это признание. Не от внутреннего ли разлада и бессилья Мережковский расставлял свои антитезы? В этом отношении он особенно близок современности. Язычество и христианство, Антихрист и Христос, Запад и Восток — в начале двадцатого века умнейшим людям эти вопросы уже не казались главными. И вот по прошествии ста лет они становятся актуальны, как это было во времена падения Рима. Насколько прямолинейно, но писатель сделал эти антитезы предметом своего художественно-научного рассмотрения. Поэт-затворник, он и романистом не был в обычном понимании этого слова, он не занимался чистой беллетристикой. Его романы — художественно-научные трактаты. Это было и призванием его, да и время требовало чего-то в этом роде. Не случайно же так мучился Толстой, например «Анной Карениной»: ему уже было мало, что это просто роман, в котором, как он уничижительно говаривал иной раз, барынька полюбила офицера. А лучшими страницами «Войны и мира» считал свои философские эссеисы. Это и подметил молодой Мережковский в своей статье «Об упадке современной литературы» — классический роман закончился. Эта идея определила весь дальнейший творческий путь писателя. Мережковский в своих исторических романах-трактатах оригинален, это было ново и по-своему совершенно. И что немаловажно — интересно с фактической стороны. Что-то похожее было заложено в научно-художественных повестях «Русских ночей» В. Ф. Одоевского.

Все три его романа, составляющие трилогию под общим симптоматичным названием «Христос и Антихрист» — «Юлиан отступник», «Леонардо да Винчи» и «Петр и Алексей» — попытка распознать пути человечества в его вечной борьбе с добром и злом и наоборот. Как побеждает Христос и в чем проявляется Антихрист? Действительно ли императора Петра можно соотнести с Антихристом, то есть с Богом со знаком минус, распинающим своего собственного сына на дыбе русского сыска? По сути дела, трилогия — развернутая реставрация всегдашней борьбы нового и старого, Божеского и человеческого. Все это, разумеется, изложено прекрасным русским языком в соответствии с особенностями изображаемой эпохи или личности. Иногда документы, становясь неотъемлемой частью повествования, все же своей значимостью вырываются сквозь заданные рамки, как в случае с Леонардо, поэтические дневники которого в любом тексте всегда будут автономны. Читателю дается обширнейший материал для чисто интеллектуального наслаждения. Но и самый текст, например, «Петра и Алексея» достигает иногда такой подлинности, что проза писателя сама как бы становится документом эпохи. Конечно, судьба России и Европы на переломах истории интересует писателя в первую очередь в отношении к современности. На пороге двадцатого века и Россия и Европа вновь стояли на пороге крутых перемен. Крушение романовской монархии почти с очевидностью предсказывается в романе о Петре Первом. Некоторые страницы просто страшно читать. Сцены убийства царевича Алексея

словно списаны из самой книги судьбы. И эта вечная неудача человечества в созидательных начинаниях, прообразом которых наглядно может служить трагическая судьба Леонардо да Винчи. Если Христос побеждает, то почему существует зло и люди все время стремятся к разрушению? Ответ как будто прост: кто князь мира сего? Антихрист. «Царство мое не от мира сего», — четко и ясно прозвучали слова Христа. Спрашивается, зачем же искать Его Царства среди людей? Удивительно, но и Толстой тоже проповедовал идею построения Царства Божия на земле, словно не обратил на эти ключевые слова о жизни и смерти никакого внимания. Оттого и вся толчея и столько кровавых экспериментов. Вот почему Христос всегда в этом мире будет оставаться действующим началом. Другого не дано. Во всяком случае, для мира христианского, каким бы он ни был. Такие вопросы поднимает и рассматривает в своих исторических романах Мережковский. В них реконструируются не только статуи и здания, но дух и буква быта, веры и безверия, оживают и говорят папирусные свитки, и звучат архаичные голоса эпохи Юлиана, Леонардо и Петра Первого. Необычные и по форме, и по содержанию, не удивительно, что эти романы с трудом находили себе дорогу в журналы и издательства. Потому что были не в тему: нужно было высмеивать какого-нибудь купца Синерылова, от чего и Чехов уже начинал уставать. Русская литература уничтожила купца, мещанина, чиновника, генерала, помещика, царя — все были воплощением зла, тупости, комизма, за исключением тех, кто ничего не умел делать, а только выражать свои протесты. Чехов попытался отойти от этого, но все равно дальше традиционно-положительного образа «лишнего человека» не пошел. Достаточно вспомнить «милого Сашу» из рассказа «Невеста»: он всем недоволен, раздражен, в его комнате «было накурено, наплевано...лежала разбитая тарелка с темной бумажкой, и на столе и на полу было множество мертвых мух», зато он мечтает о светлом будущем, следовательно, человек он передовой, к тому же обаятелен и болен, как автор. Эта мечта должна была составлять главное содержание литературы. Мережковский предложил нечто иное и оказался в конфронтации, как с либералами, так и с демократами. Рассказы самых незначительных писателей нужного направления оплачивались издателями достойно. Несмотря на то, что читатель раскупал книги, для Мережковского его писания не принесли никаких материальных выгод, поскольку издавались частным образом и, что важнее, были не ко времени. Ценность их определилась с годами, но и то лишь за границей: романы были выдвинуты на Нобелевскую премию. Премию получил Бунин, но в основном как «хранитель русского языка». Думается, имела значение и политика. Мережковский был мало понятен даже эмигрантскому окружению. Да и мало кого тогда волновали вопросы о Христе и Антихристе. Европа уже научилась обходиться без этого. В Советской России все это было придавлено чекистским сапогом. А сам писатель был объявлен врагом советской власти, имя коего нельзя было даже упоминать вне критики.

В поисках фактического материала Мережковскому мало было письменного стола, библиотек. Приходилось много ездить, путешествовать и это буквально на гроши, хорошо что границы тогда были открытыми. Из этих путешествий складывались не одни романы или превосходные новеллы из итальянской истории. Кроме того, писалось множество литературно-критических эссе о Гете, Кальдероне, Флобере, о Достоевском, Тургеневе, изданных в двух томах под названием «Вечные спутники». Это интересное и поучительное чтение. Со стороны либеральной прессы, как вспоминает Гишпиус, на них было много грозных нападок. Но книги оценили педагоги и вручали их гимназистам в качестве награды по окончании учебы.

А русская атмосфера все сгущалась. Религия была объявлена реакцией, констатирует Гишпиус. Да и все, что не либерализм, было реакцией. Религиозному писателю Мережковскому приходилось отбиваться и от официальных критиков, и от оппозиции.

Он тоже критиковал официальную церковь, как это делали почти все — от Флоренского до Розанова. Но Мережковский как-то особенно не вписывался в родную среду. Приходилось убегать и от этого. Об этом у Мережковского есть удивительное маленькое стихотворение из эпохи «Символов», исправленное им в 1903 году, с характерным названием «Изгнанники».

Здесь еще чувствуется мотив с чужого голоса, слышен Данте — вечный изгнанник. Но Мережковский не мог еще знать, каково быть изгнанником самому — не в мечтах и не временно, по доброй воле, а на деле и навсегда. Но судьба исполнит все, о чем говорит поэт. Правда, радости от всего этого он не испытает.

Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом.

Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником.
И, как волна морей,
Как тучи в небе, одиноким странником,
И не иметь друзей.

Прекрасна только жертва неизвестная:
Как тень хочу пройти,
И сладостна да будет ноша крестная
Мне на земном пути.

Писателю не удалось пройти как тень, более того, он всегда слыл страстным борцом против всего, что несло угрозу родной стране и человеку. В чем-то он, как и все, отчаянно заблуждался, искал путей к свержению самодержавия, что было, возможно, исторически оправданно. Однако принять идею разрушения, догму революции, он не мог: в отличие от большинства, он помнил исторические уроки. Ре-

ставратор по призванию, как мог он что-то разрушать? Жизнь и без того полна противоречий и борьба идет уже не тайная, но явная: Христос и Антихрист. Кто же победит в человеке? Очень точно наблюдение Николая Бердяева о том, что Мережковский «через Достоевского и Толстого открывает ...конец великой литературы и ее неизбежный переход к новому религиозному откровению и новому религиозному действию... открытый им конец русской литературы он почувствовал, как наступающий конец мира, как апокалипсис истории». Дело, пожалуй, не в конце мира, а в конце человека. Русского человека. По Мережковскому, прежде всего, это русский апокалипсис. Русский народ, утративший само понятие борьбы добра и зла, противостояния Христа и Антихриста, принявший одного идола разрушения до основания, именно он в первую очередь стал предметом социального эксперимента, а вслед затем, наряду с другими народами, и всех прочих экспериментов, какие производились в нацистских лагерях. Кажется, никто, за исключением евреев, так не был гоним, так жестоко истребляем, как русский народ. И что особенно чудовищно, часто своим же государством. Будучи непримиримым врагом большевизма, Мережковский, разумеется, должен был искать путей спасения родины от него, и даже впопыхах сделал ставку на Гитлера, но так же быстро и отшатнулся от него как будто в озарении увидев весь ужас гитлеризма с его абажурами из человеческой кожи и матрасами, набитыми человеческим волосом. Где же Христос? Повсюду проглядывает лик Антихриста. Русское черносотенство, немецкий фашизм, терроризм разных мастей. Мережковскому была очевидна необходимость религиозной общественности, общественного священства, строящихся не на отвлеченных символах, а на законах религиозной прагматики. В новом богочеловечестве — спасение, в новом христианстве, очищенном от омертвляющих искажений. По-видимому, это означает возврат к первоначальным истинам, но не на основании одной лишь этики, а конкретных законов.

Еще в годы русских дискуссий по христианским вопросам, Мережковский выдвинул важнейший постулат преобразования России: церковь должна быть отделена от государства, чтобы отделить «кесаря от Бога». «Отделение церкви от государства — вот если не последняя, то первая, если не богочеловеческая, то человеческая, но все-таки святая правда современной культуры. А Россия не только не прошла через нее, но и не дошла до нее». Страшно сказать, но большевики, хотя и с другими целями, но отделили церковь от государства. Временное правительство, к счастью, успело восстановить уничтоженный Петром патриархат. Получается, что Россия «дошла» до отделения церкви. Но прошла ли она уже через это? Потому что, считает Мережковский, лишь освобожденная церковь реальна и действительна. Иначе она подчиняется государству и «воздаст Божие кесарю», что не подобает. Церковь жива, «пока борется с государством, утверждая свою особую, внесударственную и вненациональную,

всечеловеческую правду». Восстановленный патриархат — это надежда на исполнение заповедей. Но все же и сегодня не совсем можно согласиться с Мережковским, как не соглашался с ним князь Е. Трубецкой. Например, что это значит «бороться с государством»? С его насилием — это да. Но против государства как такового церковь никогда не восставала, даже в годы кровавых репрессий. Противостояние, порождающее зло внутренней войны, было бы еще губительней. Другое дело: нужно ли говорить о всечеловечестве после провальных опытов коммунистического «братства навек»? Нужно хотя бы в своем доме навести порядок.

Мережковский верил в свободную Россию, но понимал, что распад российской государственности опасней послереволюционной анархии. К сожалению, одно порождает другое. Если следовать этой логике, сейчас благоприятный момент для церкви и для государства. Никаких противостояний, тем паче революций не нужно. Мережковский очень верно определил суть революций, как образ «грядущего хама», торжества серости, обывательщины, мещанства — в «чорте»: именно так, через круглое гоголевское «о». М. А. Врубель, великий русский художник, был далек от всяких смут, кроме душевных, но и он однажды, вероятно, случайно высказал потрясающе близкую Мережковскому мысль: «Хамство, энергия безвкусного человека испортят страну». Страну настолько испортили, что даже Маяковский, апологет нового строя, почувствовал всю эту обывательско-чиновничью мерзость воцарившихся комиссаров и пытался высмеивать их в своих сатирах. Комиссары оказались выносливее поэта. Это и понятно, ибо, как справедливо утверждает Мережковский, воцарившийся раб и есть хам, он же — реальный, а не фантастический черт и князь мира сего.

Здесь важна и роль обновленной интеллигенции. Не той, которая празднует годовщину гибели Пушкина в тридцать седьмом по колена в крови. Не той, которая шумит вечным недовольством, был бы, как говорится, повод, а гвоздя в стену вбить не умеет, как говаривал Л. А. Шиллов, основатель музея Окуджавы. Да и не той, пожалуй, которая ради эффектного кадра для своего фильма способна заживо сжечь корову («Андрей Рублев») или разнести снарядом старинную церковь, культурную жемчужину уже саму по себе («Живые и мертвые»). Мережковский проповедовал Святого Духа, который озарит интеллигенцию и тогда она уже перестанет быть только интеллигенцией, «тогда она сделается разумом богочеловеческим, логосом России».

Мережковский беззаветно любил Россию и высказывал порой парадоксальные мысли, таков его дар полемиста. Сегодня, например, с трудом понимаешь его упорство, с каким он развивал идею о том, что русское самодержавие — это царство зверя. Той же природы его отрицание официального православия. А каким оно должно быть, если оно часть государства? Замкнутый от природы, Мережковский не имел

друзей, не вел задушевных бесед, отчего казался высокомерным, равнодушным. Да ведь он и сам признавался:

Я людям чужд и мало верю
Я добродетели земной...
.....
И хочу, но не в силах любить я людей:
Я чужой среди них...

Даже Толстой при личной встрече сказал Мережковскому: «А я думал, что вы против меня что-то имеете». Потому-то у него и было столько противников во всех сферах: его не любили. Его стихи прочитывали буквально и платили той же монетой. Он это чувствовал острее других, потому и говорил: «И в том еще беда любящих Россию, что они в родной земле, как в чужой». Это и понятно: он был русский европеец, из тех, о ком так проникновенно Достоевский рассказал в своем романе «Подросток». Естественно, что вокруг него царили «одиночество, блеск, аккуратность». Таким он запомнился Андрею Белому. Этого «блеска» ему тоже многие не могли простить. Но вряд ли с ним можно согласиться, что его «в те годы не понимали широкие массы». Широкие да еще массы — это клише уже советского времени, когда сам Белый умирал от нищеты и забвения. Но ему это нужно было «лингвистически» и по привычке, чтобы поспевать даже за фокстротом. Напротив, замечательный художник М. В. Добужинский вспоминает без всякой «лингвистики», что лекции Мережковского в «Религиозно-философском обществе» были очень популярны. И вот как он его описывает в своей книге «Воспоминаний»: «Маленький, узкоплечий, волоокский Мережковский всегда как бы „вещал” и „пророчествовал” своим несколько высокопарным и картавым голосом, и тогда все умолкали». Просматривается взгляд тоже несколько искося, но справедливости его слов о значительности Мережковского как религиозно-просветительского явления это несколько не умаляет.

Еще очень важное наблюдение, даже предостережение принадлежит Мережковскому. Это опасная «мечта о вожде революции, великом государственном деятеле». К чему приводят подобные мечтания в России узнали очень хорошо, и все равно мечтают — о новом хаме! Тем сильнее хочется верить Мережковскому: «Хама Грядущего победит лишь Грядущий Христос».

Когда в 1903 году Мережковский написал стихотворение «Изгнанники», он и предположить не мог, каково это на самом деле быть изгнанным. Философы на пароходе двадцать второго года, многие из которых были оппонентами и друг другу, и Мережковскому, были доставлены на чужой берег все-таки с относительным комфортом. Большинство из них так или иначе сотрудничало в большевистских изданиях или учреждениях, некоторые по старой памяти были даже марксистами. И почему-то именно марксисты особенно были про-

тивны новой власти, насаждающей тем не менее марксизм. Вечный парадокс большевизма. Их выбрасывали на свалку истории, вырывали с корнем из родной почвы. Не многим больше выиграли и те, кто с самого начала принял власть большевиков, повинувшись еще прежним революционно-романтическим настроениям. Давний друг Мережковского по символизму поэт Н. Минский-Виленкин бросил символизм и написал «Гимн рабочих», над разнузданно-разухабистым, кафешантанном ритмом и картонными образами которого потешались буквально все. И ошиблись! Ленин немедленно взял первую строку этого стихотворения на вооружение и поставил эпиграфом к своей «Правде». Строка эта всем известна: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Стихотворение же таково:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, как на праздник, снаряжайтесь.
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.

Станем стражем вокруг всего земного шара,
И по знаку, в час урочный, все вперед.
Враг смутится, враг не выдержит удара,
Враг падет и возвеличится народ.

Мир возникнет из развалин, из пожарищ,
Нашей кровью искупленный новый мир.
Кто работник, к нам за стол! Сюда, товарищ!
Кто хозяин, с места прочь! Оставь наш пир!

Братья-друзи! Счастьем жизни опьяняйтесь!
Наше все, чем до сих пор владеет враг.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Солнце в небе, солнце красное — наш стяг!

Весьма разухабисто, впрочем, написано это еще в 1905 году. Брюсов выделил в этих виршах особенно комическую ситуацию, когда вставшие вокруг шара, двинувшись вперед по знаку, непременно должны столкнуться лбами. Брюсов не знал, что для некоторых целей все средства хороши. Минского, человека мирного и романтического, настроенного под Байрона или под удалого Стеньку Разина, можно понять. Но откуда такая жажда крови? У интеллигента? Судьба его не завидна, «братья-друзи» быстро выгнали его из-за пиршественного стола, чтобы не слишком «опьянялся». Да, как видно, и гонорар не заплатили. В «Правде» его больше не печатали, спровадив подальше отставного символиста, назначив мелким служащим при Советском посольстве в Англии. Умер он во Франции в тридцать седьмом, видимо, сознательно решив не возвращаться.

С Дмитрием Сергеевичем все обстояло совершенно иначе. То, что случилось в октябре, который большевики с легкостью перенесли на ноябрь, Мережковский воспринял раз и навсегда как катастро-

фу. О Ленине как о будущем правителе России и весьма своеобразном правителе, он заговорил одним из первых: «Нашу судьбу будет решать Ленин». «Приедет, повернет Совет рабочих и солдатских депутатов куда хочет, — говорил он Керенскому, — вот тогда вы, правительство, запоете! Что ж, вы тоже и в Совете. С Лениным вы там не справитесь». И как угадал! К несчастью всей России, по точному определению З. Н. Гиппиус, А. Ф. Керенский был не более чем Пьеро, которого и воспринимать-то всерьез нельзя. Что касается Ленина, то его появление в Петербурге в запломбированном немецком вагоне З. Н. Гиппиус уподобила явлению таинственного Тришки в тургеневском «Бежине луге», в образе которого «бежинские» крестьяне ждали конца света. Ленин и был таким Тришкой для интеллигенции, правда, уже без всякой иронии. Выскочил, как черт из табакерки. Дело не в особенной какой-то силе Ленина, а в его непредсказуемости и в немецких деньгах, о которых знали все. Страшна была его тактика изворотливости, которая состояла в том, что для достижения цели все средства хороши, в том числе ложь и уголовные преступления. Д. С. Мережковский, да и почти вся русская интеллигенция понимала это уже тогда, беда лишь, что собственная ее разобщенность губила все. Но уже тогда, буквально за считанные дни до начала великого эксперимента по переустройству жизни, затеянного большевиками, П. И. Новгородцев, например, научно доказывал неминуемый крах большевизма. В своей замечательной книге «Об общественном идеале» он писал: «Мы должны с не оставляющей сомнений резкостью подчеркнуть, что историческое осуществление социалистических начал явится вместе с тем и полным крушением марксизма». Вот отчего новая власть принялась прежде всего истреблять интеллигенцию: она знала все минусы этой власти. Но того, что произошло в конце концов, кажется, не ожидал никто. Не бытовые трудности страшили Мережковского, он всю жизнь жил своим трудом и весьма скромно, но он видел, как Горький, например, разезжает в экспропрированном лимузине, как другие почетные политические деятели спокойно занимают чужие дома, невзирая ни на какие детские слезы, ни на женщин и стариков — вечное большевистское прикрытие. А еще недавно Достоевский сокрушался об одной слезинке ребенка и это имело в обществе серьезный резонанс. Не испугали Мережковского постоянные обыски, угроза расстрела. Просто он не мог дышать с ними одним воздухом. С теми, кто расстреливал святыни Кремля и впредь будет вести себя так же, раздавая под иностранные посольства арбатские особняки как свою собственность, собственность, так и не ставшую народной. И над всем этим — голод, тьма, постоянные обыски, ледяной холод, тошнотная, грузная атмосфера лжи и смерти... «Но еще тяжелее, — признается З. Н. Гиппиус, — ощущение полного бессилия, полной невозможности какой бы то ни было борьбы... мы все точно лежали где-то, связанные по рукам и ногам, с кляпом во рту...»

Ни на секунду не помышляя ни о каком сотрудничестве с узурпаторами и не дожидаясь «лучших дней», Мережковский в сопрово-

ждении своей жены Зинаиды Николаевны Гиппиус, с другом Дмитрием Философовым и молодым поэтом Владимиром Злобиным в январе 1920 года в двадцатисемиградусный мороз пересекает границу Польши. Всю жизнь он уезжал из России и всю жизнь возвращался. Теперь такого не предвиделось. Да, в Париже у них с женой была маленькая квартирка, еще с прошлых времен, но стыдно было бы здесь упрекать их в этом, как иногда бывало. Мережковскому уже было за пятьдесят и оба они не были отменного здоровья. Так сложились обстоятельства, сказал бы Толстой. Во Франции, разумеется, Мережковские начали активную борьбу против Советов. Сначала у них была значительная аудитория, но постепенно там стали верить советской пропаганде и некоторые склонны были видеть, например, в Сталине нового Петра. В такой обстановке трудно было удержаться от резких высказываний, еще труднее было найти союзников. Однако дело не в одних личностных качествах такой сложной натуры, как Мережковский. Имел место тот политический климат зарубежья, который в конце концов сложился по отношению к эмигрантам и к Советам. Показателен пример, когда Мережковский получил письмо из Советской России, обращение «Ко всему миру», подписанное буквально кровью матерей, с «мольбой спасти не их, а их детей, которым грозит духовная и телесная смерть». (из воспоминаний З. Н. Гиппиус). «Возьмите их отсюда, из этого ада! Мы погибаем, погибли, но это все равно, мы молим весь мир спасти детей наших!» Подписи были сделаны действительно кровью, некоторые углем. «А что же „мир“, — далее вспоминает З. Н. Гиппиус, — к которому обращались эти матери? Дмитрий Сергеевич сделал много, чтобы вопль этот не остался ему неизвестным. А „мир“... да ничего. Просто ничего». Все это мало располагало к оптимизму, но христианское начало сильно в слабости и это чувство продиктовало Мережковскому, который фактически совсем перестал писать стихи, такие глубокие строки («Главное», 1930):

Доброе, злое, ничтожное, славное, —
Может быть, это все пустяки,
А самое главное, самое главное,
То, что страшней даже смертной тоски, —

Грубость духа, грубость материи,
Грубость жизни, любви — всего;
Грубость зверихи родной Эсээрии, —
Грубость, дикость — и в них торжество.

Может быть, все разрешится, развяжется?
Господи, воли не знаю Твоей,
Где же судить мне? А все-таки кажется,
Можно бы мир создать понежней.

Это одно из немногих стихотворений поэта, написанных за годы эмиграции. Нет, не правы те, кто отводит поэзии Мережковского вто-

ростепенное значение в его творческом наследии. В ней есть та аскетичность, даже суховатость, но с привкусом русской полыни, к которой стремился тот же Бунин, мечтая, чтобы книжка его стихов напоминала собой что-то похожее на старинный молитвенник. Стихи Мережковского отнюдь не приложение к его замечательной прозе, а как сам он однажды подытожил, они были «веками... которые привели меня к единому и всеобъединяющему вопросу двух правд — Божеской и человеческой — в явлении Богочеловека». В жизни, в политике, к сожалению, действуют другими методами. Постепенно круг жизни писателя сужался. «Его мир был основан на политической непримиримости к Октябрьской революции, — вспоминала Н. Берберова, — все остальное было несущественно. Вопросы эстетики, вопросы этики, вопросы религии, политики, науки, все было подчинено одному: чувству утери России, угрозы России миру, горечи изгнания, горечи сознания, что его никто не слышит в его жалобах, проклятиях и предостережениях». В этом длинном синтаксическом периоде, посвященном характеристике одного человека, — все его одиночество и вся жизнь. «Россия без свободы для меня невозможна», — говорил он. Но и свобода без России ему не была нужна.

Знание языков открывало для него книги и страны. Вне России они для него не существовали. Родился он в 1866 году и прожил большую жизнь, четверть которой прошла в изгнании. «Тяжелы чужие ступени и горек чужой хлеб» — Данте знал это не понаслышке. Никто не знает, каким был Данте в частной жизни. И это хорошо, его образ не размывается в нашем восприятии. Современники постоянно противоречат один другому. О Мережковском молва была не самая благоприятная. Но это вовсе не означает бесславного конца. Его книги, его идеи сегодня свидетельствуют: борьба была не напрасна. «Сколько раз мне, как когда-то Блоку, хотелось поцеловать Дмитрию Сергеевичу руку, когда я слушала его, говорящего с эстрады...» — это признание Н. Берберовой не случайно. Слышался пусть не громкий, но пророческий голос.

Девятого декабря тысяча девятьсот сорок первого года Дмитрий Сергеевич Мережковский умер. Берберова помнит, как Зинаида Николаевна во время отпевания стояла, от слабости покачиваясь на своих стройных ногах. И еще помнит, «как года через полтора на деньги французского издательства был на могиле Дмитрия Сергеевича поставлен памятник с надписью: „Да придет Царствие Твое!“, и каждый раз, когда я бывала на его могиле, я слышала его голос, слегка картавящий на обоих „р“, восклицавший это закливание, в которое он вкладывал особый, свой смысл». Да сбудется же его молитва! И странно: не предчувствие ли будущего изгнания подсказало ему заблаговременно отдать требуемый обол Харону, как он об этом пишет в «Старинных октавах»: «Обол — Харону: сразу дань плачу / Врагам моим...» Он так и говорил всю жизнь, как бы с другого берега...

В книге «Европа — Атлантида» Мережковский приводит легенду о том, как птицы после исчезновения Атлантиды слетались и кружили над тем местом, где она была.

Таковыми птицами, а лучше сказать — журавлями, представляются сегодня русские изгнанники начала двадцатого века, в своих мечтаниях и мыслях, в своей непримиримой и горькой борьбе неустанно возвращающимися и кружащими над Россией. Россия не исчезла, как Атлантида, это неправда, она жила в душах этих страдальцев, жива и в духе.

Когда в 1892 году Дмитрий Сергеевич издавал лучшую книгу своих стихотворений, он назвал ее «Символы», поставив эпиграфом две строки из «Фауста» Гете:

Все преходящее
Есть символ.

Кто знает, быть может, так все и обстоит на самом деле. Его же собственная жизнь явилась глубоким символом, а посвятил он ее проповеди неведомому Богу греков, как заповедал апостол Павел.

Валерий Макаров

Поэзия

СТИХОТВОРЕНИЯ

1883—1887

РОДИНА

Над немym пространством чернозема,
Словно уголь, вырезаны в тверди
Темных изб подгнившая солома,
Старых крыш разобранные жерди.

Солнце грустно в тучу опустилось,
Не дрожит печальная осина,
В мутной луже небо отразилось,
И на всем — знакомая кручина...

Каждый раз, когда смотрю я в поле,
Я люблю мою родную землю;
Хорошо и грустно мне до боли, —
Словно тихой жалобе я внемлю.

В сердце — мир, печаль и безмятежность,
Умолкает жизненная битва...
А в груди — задумчивая нежность
И простая детская молитва.

1887

ФРАНЧЕСКА РИМИНИ

Порой чета голубок над полями
Меж черных туч мелькнет перед грозою,
Во мгле сияя белыми крылами;
Так в царстве вечной тьмы передо мною
Сверкнули две обнявшиеся тени,
Озарены печальной красотою.

И в их чертах был прежний след мучений,
И в их очах был прежний страх разлуки,
И в грации медлительных движений,

В том, как они друг другу жали руки,
Лицом к лицу поникнув с грустью нежной,
Былой любви высказывались муки.

И волновалась грудь моя мятежно,
И я спросил их, тронутый участием,
О чем они тоскуют безнадежно,

И был ответ: «С жестоким самовластьем
Любовь, одна любовь нас погубила,
Не дав упиться мимолетным счастьем;

Но смерть — ничто, ничто для нас — могила,
И нам не жаль потерянного рая,
И муки в рай любовь преобразила,

Завидуют нам ангелы, взирая
С лазури в темный ад на наши слезы,
И плачут втайне, без любви скучая.

О, пусть Творец нам шлет свои угрозы,
Все эти муки — слаще поцелуя,
Все угли ада искрятся, как розы!»

«Но где и как, — страдальцам говорю я, —
Впервые меж вами пламень страстной жажды
Преграды сверг, на цепи негодуя?»

И был ответ: «Читали мы однажды
Наедине о страсти Ланчелотта,
Но о своей лишь страсти думал каждый.

Я помню книгу, бархат переплета,
Я даже помню, как в заре румяной
Заглавных букв мерцала позолота.

Открыты были окна, и туманный
Нагретый воздух в комнату струился;
Ронял цветы жасмин благоуханный.

И мы прочли, как Ланчелотт склонился
И, поцелуем скрыв улыбку милой,
Уста к уста, в руках ее забылся.

Увы! нас это место погубило,
И в этот день мы больше не читали.
Но сколько счастья солнце озарило!..»

И тень умолкла, полная печали.

1885

ПРОТОПОП АВВАКУМ

I

Свят Христос был тих и кроток <...>
.....

Горе вам, Никониане! Вы глумитесь над Христом, —
Утверждаете вы церковь пыткой, плахой и кнутом!
.....

Горе вам: полна слезами и стенаньями полна
Опозоренная вами наша бедная страна.

Нашу светлую Россию отдал дьяволу Господь:
Пусть же выкупят отчизну наши кости, кровь и плоть.

Знайте нас, Никониане! Мир погибший мы спасем;
Мы столетние вериги на плечах своих несем.

За Христа — в огонь и пытку!.. Братья, надо пострадать
За отчизну дорогую, за поруганную мать!

II

Укрепи меня, о, Боже, на великую борьбу,
И пошли мне мощь Самсона, недостойному рабу...

Как в пустыне вопиющий, я на торжищах зывал
И в палатах, и в лачугах сильных мира обличал.

Помню, помню дни гоненья: вот в цепях меня ведут
К нечестивому синклиту, как разбойника, на суд.

Сорок мудрых иереев издевались надо мной.
И разжегся дух мой гневом — поднял крест я над головой

И в лицо злодеям плюнул, и, как зайцы по кустам,
Все антихристово войско разбежалось по углам.

«Будьте прокляты! — я крикнул, — вам позор из рода
Задушили правду Божью, погубили вы народ!» в род:

Но стрельцов они позвали, ополчились на меня.
Речи полны дикой брани, очи — лютого огня.

И как волки обступили, кулаками мне грозят:
«Еретик нас обесчестил, на костер его!» — кричат.

То не бесы мчатся с криком чрез болото и пустырь, —
Чернецы везут расстригу Аввакума в монастырь.

Привезли меня в Андроньев, — тут и бросили в тюрьму,
Как скотину, без соломы — прямо в холод, смрад и тьму.

Там, глубоко под землею, в этой сумрачной норе,
Думал с завистью я, грешный, о собачьей конуре.

III

Я три дня лежал без пищи, — наступал четвертый день...
Был то сон, или виденье, — я не ведаю... Сквозь тень —

Вижу, двери отворились, и волною хлынул свет,
Кто-то чудный мне явился, в ризы белые одет.

Он принес коврижку хлеба, он мне дал немного щец:
«На, Петрович, ешь, родимый!» — и любовно, как отец,

Смотрит в очи, тихо пальцы он кладет мне на чело,
И руки прикосновение братски нежно и тепло.

И счастливый, и дрожащий, я припал к его ногам
И края святой одежды прижимал к моим устам.

И шептал я, как безумный: «Дай мне муки претерпеть,
Свет-Христос, родной, желанный, — за тебя бы умереть!...»

IV

Это было на Устюге: раз — я помню — ввечеру
Старца Божьего Кирилла привели мне в конуру.

С ним в тюрьме я прожил месяц; был он праведник душой,
Но безумным притворялся, полон ревности святой.

Все-то пляшет и смеется, все вполголоса поет
И, качаясь, вместо бубнов, кандалами мерно бьет;

День юродствует, а ночью на молитве он стоит,
И горячими слезами цепи мученик кропит.

Я любил его; он тяжким был недугом одержим.
Бедный друг! Как за ребенком, я ухаживал за ним.

Он страдать умел так кротко: весь в жару изнемогал,
Но с пылающего тела власяницы не снимал.

Я печальный голос брата до сих пор забыть не мог:
«Дай мне пить!» — бывало, скажет;
взор — так нежен и глубок.

На руках моих он умер; безмятежно и светло,
Как у спящего младенца, было мертвое чело.

И покойника, прощаясь, я в уста поцеловал:
Спи, Кириллушка сердечный, спи, —
ты много пострадал.

Над твоей могилой тихой херувимы сторожат;
Спи же, друг, легко и сладко, отдохни, усталый брат!

В конуре моей подземной я покинут был опять
Целым миром. Даже время перестал я различать.

Поглупел совсем от горя: день и ночь в углу сидишь,
Да замерзшими ногами в землю до крови стучишь.

Если ж солнце в щель заглянет и блеснет на кирпиче
И закружатся пылинки в золотом его луче, —

Я смотрел, как паутина сеткой радужной горит
И паук летунью-мошку терпеливо сторожит.

На заре я слушал часто, ухо к щели приложив,
Как в лазури крик касаток беззаботен и счастлив.

Сердцу воля вспоминалась, шум деревьев, небеса
И далекая деревня, и родимые леса.

Все прошедшее всплывало в темной памяти моей,
Как обломки над пучиной от разбитых кораблей.

Помню церковь, летний вечер; из далекого села
Молодая прихожанка исповедаться пришла.

Помню тонкие ресницы, помню бледное лицо
И кудрей на грудь упавших темно-русое кольцо...

Пахло сеном и гречихой из открытого окна,
И душа была безумной, страстной негою полна...

Над Евангелием три свечки я с молитвой засветил
И, в огне сжигая руку, пламень в сердце потушил.

Но зачем же я припомнил здесь, в тюрьме, чрез столько лет
Этот летний тихий вечер, этот робкий полусвет?

Был и я когда-то молод; да, и мне хотелось жить,
Как и всем, хотелось счастья, сердце жаждало любить.

А теперь... я — труп в могиле! Но безумно рвется грудь
Перед смертью на свободе только раз еще вздохнуть.

VI

Из Москвы велят указом, чтоб на самый край земли
Аввакума протопоп в ссылку вечную везли.

Десять тысяч верст в Сибири, в тундрах, дебрях и лесах,
Волочился я на дровнях, на телегах и плотах.

Помню — Пашков на Байкале раз призвал меня к себе;
Окруженный казаками, он сидел в своей избе.

Как у белого медведя, взор пылал; багровый лик,
Обрамлен седою гривой, налит кровью был и дик.

Грозно крикнул воевода: «Покорись мне, протопоп!
Брось ты дьявольскую веру, а не то — вгону во гроб!»

«Человек, побойся Бога, Вседержителя-Творца!
Я страдал уже немало — пострадаю до конца!»

«Эй, ребята, начинайте!» — закричал он гайдукам...
Повалили и связали по рукам и по ногам.

Свистнул кнут... — Окровавленный, полумертвый,
я твержу:
«Помоги, Господь!» — а Пашков: «Отрекайся — пощажу».

Нет, Иисусе, Сыне Божий, лучше, — думаю, — не жить,
Чем злодея перед смертью о пощаде мне просить.

Все исчезло... и казалось, что я умер... чей-то вздох
Мне слышался, и кто-то молвил: «Кончено, — издох!»

VII

Я в дощенике очнулся... Тишь и мрак... Лежу на дне,
Хлещет мокрый снег да ливень по израненной спине.

Тянет жилы, кости ноют... Тяжко! страх меня объял;
Обезумев от страданий, я на Бога возроптал:

«Горько мне, Отец небесный, я молиться не могу:
Ты забыл меня, покинул, предал лютому врагу!»

Где найти мне суд и правду? Чем Христа я прогневил,
И за что, за что я гибну?...» — так я, грешный, говорил.

Вдруг на небе как-то чудно просветлело, и порой
Словно ангельское пенье проносилось над землей...

Веют крылья серафимов, и кадиланицы звенят,
Сквозь холодный дождь и вьюгу дышит теплый аромат.

И светло в душе, и тихо: темной ночью под дождем,
Как дитя в спокойной люльке, — я в дощенике моем.

Ты, Иисусе мой сладчайший, муки в счастье превратил,
Пристыдил меня любовью, окаянного простил!

Хорошо мне, и не знаю — в небесах или во мне —
Словно ангельское пенье раздается в тишине.

VIII

Это край счастливый. Горы там уходят в небеса,
Их подножья осенили кедров темные леса.

Там, посеянные Богом, разрослись в тиши долин
Сладкий лук, чеснок и мята, и душистый розмарин.

По скалам — орел да кречет, в мраке девственных лесов
Черно-бурая лисица, стаи диких кабанов.

Там и стерлядь, и осетры ходят густо под водой,
Таймень жирная сверкает серебристой чешуей.

Все там есть, но все чужое, — люди, вера... И тоской
Ноет сердце, вспоминая об отчизне дорогих.

Повстречали мы однажды у байкальских берегов
Соболиную станицу наших русских земляков.

Плачут миленькие, смотрят, не посмотрятся на нас,
Обнимают и жалеют, подхватили мой карбас

И хлопочут и смеются: каждый жизнь отдать готов;
Привезли мне на телеге сорок свежих осетров.

Вместе кашу заварили, пели песни за костром;
На чужбине Русь святую поминали мы добром.

В эту ночь, с улыбкой тихой очи скорбные смежив,
Засыпали мы под шорох золотых родимых нив.

IX

Хлеб не сладок был от горя, и вода — горька от слез.
Ты один, Владыка, знаешь, сколько мук я перенес:

На Шаманских водопадах, на Тунгуске я тонул,
Замерзал в сугробах, лямку с бурлаками я тянул.

Без приюта, без одежды насыщался я порой
То поганою кониной, то сосновою корой.

Пять недель мы шли по Нерчи, пять недель — все голый
Деток с рухлядью в обозе лошаденка чуть везет.

Мы с женою вслед за ними, убиваючись, идем;
Скользко, ноги еле держат. Полумертвые бредем.

Протопопица, бывало, поскользнется, упадет.
На нее мужик усталый из обоза набредет,

Тоже валится, и оба на снегу они лежат
И барахтаются в шубах, встать не могут и кричат:

«Задавил меня ты, батько!» — «Государыня, прости!»
Что тут делать, — смех и горе! Я спешу к ним подойти,

И бранит меня с улыбкой, и бредет она опять:
«Протопоп ты горемычный, долго ль нам еще страдать?»

«Видно, Марковна, до смерти!» Тихо, с ласковым лицом:
«Что ж, Петрович, — отвечает, — с Богом дальше
побредем!»

На санях у нас в обозе, помню, курочка была;
Два яйца для наших деток каждый день она несла.

Чудо-птица! и за деньги нам такой бы не найти.
Жалко, бедную в обозе раздавили на пути.

До сих пор об ней я помню: я привык ее ласкать;
Мы крупу в котле семейном позволяли ей клевать:

Божья тварь! Создатель любит всех животных, как детей;
Он не брезгает, Пречистый, и последним из зверей,

Он из рук своих питает все, что дышит и живет,
Он и птицу пожалеет, и былинку сбережет.

Х

Собрались мы плыть на лодках: кормчий парус подымал;
Из тайги в ту пору беглый к нам бродяга забежал.

Он, дрожа и задыхаясь, пал на землю предо мной
И глядел мне прямо в очи с боязливою мольбой:

«Я скитался диким зверем тридцать дней в глуши лесов,
Сжался, батюшка, не выдай, скрой от лютых казаков!..»

Вижу, лоб с клеймом позорным, обруч сломанных цепей,
Но прощенья страстно молит взор испуганных очей.

Плачет, ноги мне целует — окровавленный, в пыли:
До чего создание Божье, человека, довели!..

Я забыл, что он преступник, я хотел его поднять
И как брату, кто б он ни был, слово доброе сказать.

Но жена меня торопит: «Спрячем бедного скорей!..»
И голубка отвернулась, — льются слезы из очей.

Скрыл я миленького в лодке да подушек навалил;
Протопопицу и деток на постелю положил.

Казаки к нам скачут вихрем и с пищалями в руках,
Как затравленного зверя, ищут беглого в кустах.

И кричат нам: «Где бродяга? — уж не спрятан ли у вас?»
«Никого мы не видали, — обыщите наш карбас!»

Ищут, роют, но с постели бедной Марковны моей
Не согнали: «Спи, родная, не тревожься! — молвят ей, —

Вдоволь мук ты натерпелась!» Так его и не нашли.
Обманул я их, сердечных. Делать нечего — ушли.

Пусть же Бог меня накажет: как мне было не солгать?
Согрешил я против воли: я не мог его предать.

Этот грех мне был так сладок, дорога мне эта ложь:
Ты простишь мне, Милосердный, ты, Христос,
меня поймешь:

Не велел ли ты за брата душу в жертву принести.
Все смолкает пред любовью: чтобы гибнущих спасти,

Согрешил бы я, как прежде, без стыда солгал бы вновь:
Лучше правда пусть исчезнет, но останется любовь!

XI

Вижу — меркнет Божья вера, тьма полночная растет,
Вижу — льется кровь невинных, брат на брата восстает.

Что же делать мне? Бороться и неправду обличать
Иль, скрываясь от гонений, покориться и молчать?

Жаль мне Марковны и деток, жаль мне светиков моих:
Как их бросить без защиты; горько, страшно мне за них!

И сидел в немом раздумье я, поникнув головой.
Но жена ко мне подходит, тихо молвит: «Что с тобой?

Отчего ты так кручинен?» — «Дорогая, жаль мне вас!
Чует сердце: я погибну, близок мой последний час.

На кого тебя оставляю?..» С нежной ласкою в очах —
«Что ты, Бог с тобой, Петрович, — молвит, —
там на небесах

Есть у нас ходатай вечный, ты же — бранный человек.
Он, заступник вдов и сирот, не покинет нас вовек.

Встань, родимый, что тут думать, встань,
погибший во храм,
Проповедуй слово Божье!» Я упал к ее ногам,

Встал я мощный и готовый на последний грозный бой.
Где ж они, враги Господни, жажду битвы я святой.

За Христа — в огонь и пытку! Братья, надо пострадать
За Отчизну дорогую, за поруганную мать!

Смерть пришла... Сегодня утром пред народом поведут
На костер меня, расстригу, и с проклятьями сожгут.

Но звучит мне чей-то голос и зовет он в тишине:
«Аввакумушка мой бедный, ты устал, приходи ко мне!»

Дай мне, Боже, хоть последний уголок в святом раю,
Только б видеть милых деток, видеть Марковну мою.

Потрудился я для правды, не берег последних сил:
Тридцать лет, Никониане, я жестоко вас бранил.

Если чем-нибудь обидел, — вы простите дураку:
Ведь и мне пришлось немало натерпеться, старику...

Вы простите, не сердитесь, — все мы братья о Христе:
И за всех нас, злых и добрых, умирал Он на кресте.

Так возлюбим же друг друга, — вот последний мой завет: Все в любви — закон и вера... Выше заповеди нет.

УГОЛИНО
(Легенда из Данте)

В последнем круге ада перед нами
Во мгле поверхность озера блистала
Под ледяными, твердыми слоями.

На эти льды безвредно бы упала,
Как пух, громада каменной вершины,
Не раздробив их вечного кристалла.

И как лягушки, вынырнув из тины,
Среди болот виднеются порою, —
Так в озере той сумрачной долины

Бесчисленные грешники толпою,
Согнувшиеся, голые сидели
Под ледяной, прозрачною корою.

От холода их губы посинели,
И слезы на ланитах замерзали,
И не было кровинки в бледном теле.

Их мутный взор поник в такой печали,
Что мысль моя от страха цепенеет,
Когда я вспомню, как они дрожали, —

И солнца луч с тех пор меня не греет.
Но вот земная ось уж недалеко:
Скользит нога, в лицо мне стужей веет...

Тогда увидел я во мгле глубоко
Двух грешников; безумьем пораженный,
Один схватил другого и жестоко

Впился зубами в череп раздробленный
И грыз его, и вытекал струями
Из черной раны мозг окровавленный.

И я спросил дрожащими устами,
Кого он пожирает; подымая
Свой обагренный лик и волосами

Несчастной жертвы губы вытирая,
Он отвечал: «Я призрак Уголино,
А эта тень — Руджьер; земля родная

Злодея прокляла... Он был причиной
Всех мук моих: он заточил в оковы
Меня с детьми, гонимого судьбиной.

Тюремный свод давил, как гроб свинцовый;
Сквозь щель его не раз на тверди ясной
Я видел, как рождался месяц новый —

Когда тот сон приснился мне ужасный:
Собаки волка старого травили;
Руджьер их плетью гнал, и зверь несчастный

С толпой волчат своих по серой пыли
Влачил кровавый след, и он свалился,
И гончие клыки в него вонзили.

Услышав плач детей, я пробудился:
Во сне, полны предчувственной тоскою,
Они молили хлеба, и теснился

Мне в грудь невольный ужас пред бедою.
Ужель в тебе нет искры сожаленья?
О, если ты не плачешь надо мною,

Над чем же плачешь ты!.. Среди томленья
Тот час, когда нам пищу приносили,
Давно прошел; ни звука, ни движенья...

В немых стенах — все тихо, как в могиле.
Вдруг тяжкий молот грянул за дверями...
Я понял все: то вход тюрьмы забили.

И пристально безумными очами
Взглянул я на детей; передо мною
Они рыдали тихими слезами.

Но я молчал, поникнув головою;
Мой Анзельмуччио мне с лаской милой
Шептал: «„О, как ты смотришь, что с тобою?...”»

Но я молчал, и мне так тяжело было,
Что я не мог ни плакать, ни молиться.
Так первый день прошел, и наступило

Второе утро; кроткая денница
Блеснула вновь, и, в трепетном мерцанье
Узнав их бледные, худые лица,

Я руки грыз, чтоб заглушить страданье.
Но дети кинулись ко мне, рыдая,
И я затих. Мы провели в молчанье

Еще два дня... Земля, земля немая,
О для чего ты нас не поглотила!..
К ногам моим упал, ослабевая,

Мой бедный Гаддо, простонав уныло:
„Отец, о, где ты, сжался надо мною!..
И смерть его мученья прекратила.

Как сын за сыном падал чередой,
Я видел сам своими же очами,
И вот один, один под вечной мглой

Над мертвыми, холодными телами —
Я звал детей; потом в изнеможенье
Я ощупью, бессильными руками,

Когда в глазах уже померкло зренье,
Искал их трупов, ужасом томимый,
Но голод, голод победил мученье!..»

И он умолк, и вновь, неутомимый,
Схватил зубами череп в дикой злости
И грыз его, палач неутомимый:
Так алчный пес грызет и гложет кости.

1885

ДОН КИХОТ

Шлем — надтреснутое блюдо,
Щит — картонный, панцирь жалкий...
В стременах висят, качаясь,
Ноги тощие, как палки.

Но зато как много детской
Доброты в улыбке нежной,
И в лице худом и бледном —
Сколько веры безмятежной.

Для него хромая кляча —
Конь могучий Россинанта,
Эти мельничные крылья —
Руки мощного гиганта.

Видит он в таверне грязной
Роскошь царского чертога,
Слышит в дудке свинопаса
Звук серебряного рога.

Санхо Панца едет рядом;
Гордый вид его серьезен:
Как прилично копьеносцу,
Он величествен и грозен.

В красной юбке, в пятнах дегтя,
Там, над кучами навоза —
Эта царственная дама —
Дульцинея де Тобозо...

Страстно, с юношеским жаром
Он толпе крестьян голодных
Вместо хлеба рассыпает
Перлы мыслей благородных:

«Люди добрые, ликуйте, —
Наступает праздник вечный:
Мир не солнцем озарится,
А любовью бесконечной...

Будут все равны; друг друга
Перестанут ненавидеть;

Ни алькады, ни бароны
Не посмеют вас обидеть.

Пойте, братья, гимн победный!
Этот меч несет свободу,
Справедливость и возмездье
Угнетенному народу!»

Из приходской школы дети
Выбегают, бросив книжки,
И хохочут, и кидают
Грязью в рыцаря мальчишки.

Аплодируя, как зритель,
Жирный лавочник смеется;
На крыльце своем трактирщик
Весь от хохота трясется.

И почтенный патер смотрит,
Изумлением объятый,
И громит безумье века
Он латинскою цитатой.

Из окна глядит цирюльник,
Он прервал свою работу,
И с восторгом машет бритвой,
И кричит он Дон Кихоту:

«Благороднейший из смертных,
Я желаю вам успеха!..»
И не в силах кончить фразы,
Задышается от смеха.

Все довольны, все смеются
С гордым видом превосходства.
И никто в нем не заметит
Красоты и благородства.

Он не чувствует, не видит
Ни насмешек, ни презренья:
Кроткий лик его — так светел,
Очи — полны вдохновенья.

Смейтесь, люди, но быть может,
Вы когда-нибудь поймете,
Что возвышенно и свято
В этом жалком Дон Кихоте:

Святы в нем — любовь и вера,
Этой верою согреты
Все великие безумцы,
Все пророки и поэты!

1887

АЛЬБАТРОС

(Из Бодлера)

Во время плаванья, когда толпе матросов
Случается поймать над бездною морей
Огромных белых птиц, могучих альбатросов,
Беспечных спутников отважных кораблей, —

На доски их кладут: и вот, изнемогая,
Труслив и неуклюж, как два больших весла,
Влачит недавний царь заоблачного края
По грязной палубе два трепетных крыла.

Лазури гордый сын, что бури обгоняет,
Он стал уродливым и жалким, и смешным,
Зажженной трубкою матрос его пугает
И дразнит с хохотом, прикинувшись хромым.

Поэт, как альбатрос, отважно, без усилия,
Пока он — в небесах, витает в бурной мгле;
Но исполинские, невидимые крылья
В толпе ему ходить мешают по земле.

1885

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Я знаю: грозный час великого крушения
Сметет развалину веков —
Уродливую жизнь больного поколения
С ее распатанных основ, —
И новая земля, и новые народы
Тогда увидят пред собой
Не тронутый никем, — один лишь мир природы
С его немеркнувшей красой.
Таков же, как теперь, он был, он есть и будет,
Он вечно юн, как божество;
И ни одной черты никто в нем не осудит
И не изменит ничего.
Величественный зал для радостного пира,
Для пира будущих людей,
Он медлит празднеством любви, добра и мира
Лишь в ожидании гостей:
Разостланы ковры лугов необозримых;
На вековом граните гор
Покоится в лучах лампад неугасимых
Небес сапфировый шатер;
И тень из опахал из перьев тучек нежных
Дрожит на зеркале волны,
И блещет алебастр магнолий белоснежных,
И розы нектаром полны,
И это все — для них: все это лишь убранство
Для торжества грядущих дней,
Где трапезою — мир, чертогами — пространство
Земли, и неба, и морей.
И вот зачем полна природа для поэта,
На лоне кроткой тишины,
Едва понятного, но сладкого обета
Неумирающей весны.
И вот зачем цветы кадят свое куренье
Во мгле росистых вечеров,
И вот о чем гремит серебряное пенье
Неумолкающих валов.

СИМВОЛЫ

(Песни и поэмы)

Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis...
(Goethe. «Faust», II Teile).

Все преходящее
Есть только Символ...
(Гете. «Фауст», II часть).

...И став Павел среди Ареопага, сказал: «Мужи Афиняне, по всему вижу, что вы благочестивы.

Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано: *Неведомому Богу*. Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам».

(Деяния Апостолов. XVII, 22, 23).

БОГ

О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю...
Пусть мученья мне грозят, —
Благодарю за этот миг,
За все, что сердцем я постиг,
О чем мне звезды говорят...
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, — в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.
Я Бога жаждал — и не знал;
Еще не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал, —
Я сердцем чувствовал Тебя.
И ты открылся мне: Ты — мир.
Ты — все. Ты — небо и вода,
Ты — голос бури, Ты — эфир,
Ты — мысль поэта, Ты — звезда...
Пока живу — Тебе молюсь,
Тебя люблю, дышу Тобой,
Когда умру — с Тобой сольюсь,

Как звезды с утренней зарей;
Хочу, чтоб жизнь моя была
Тебе немолчная хвала,
Тебя за полночь и зарю,
За жизнь и смерть — благодарю!.

<1890>

ПРОРОК ИСАИЯ

Господь мне говорит: «Довольно Я смотрел,
Как над свободою глумились лицемеры,
Как человек ярмо позорное терпел:

Не от вина, не от сикеры —

Он от страданий опьянел.

Князья народу говорили:

„Пади пред нами ниц!“ и он лежал в пыли,

Они, смеясь, ему на шею наступили,

И по хребту его властители прошли.

Но Я приду, Я покараю

Того, кто слабого гнетет.

Князья Ваала, как помет,

Я ваши трупы разбросаю!

Вы все передо Мной рассеетесь, как прах.

Что для Меня ваш скиптр надменный!

Вы — капля из ведра, пылинка на весах

У Повелителя вселенной!

Земля о мщенье вопиет.

И ни корона, ни порфира —

Ничто от казни не спасет,

Когда тяжелая секира

На корень дерева падет.

О, скоро Я войду, войду в мое точило,

Чтоб гроздь спелые ногами растоптать,

И в ярости князей и сильных попить,

Чтоб кровь их алая Мне ризы омочила,

Я царства разобью, как глиняный сосуд,

И пышные дворцы крапивой порастут.

И поселится змей в покинутых чертогах,

Там будет выть шакал и страус яйца класть,

И вырастет ковыль на мраморных порогах:

Так пред лицом Моим падет земная власть!

Утешься, Мой народ, Мой первенец любимый,
Как мать свое дитя не может разлюбить,
Тебя, измученный, гонимый,
Я не могу покинуть и забыть.
Я внял смиренному моленью,
Я вас от огненных лучей
Покрою скинией Моей,
Покрою сладостною тенью.
Мое святилище — не в дальних небесах,
А здесь — в душе твоей, скорбями удрученной,
И одинокой, и смущенной,
В смиренных и простых, но любящих сердцах.
Как нежная голубка осеняет
Неоперившихся птенцов,
Моя десница покрывает
Больных, и нищих, и рабов.
Она спасет их от ненастья
И питает от сосцов
Неиссякаемого счастья.
Мир, мир Моей земле!.. Кропите, небеса,
Отраду тихую весеннего покоя.
Я к вам сойду, как дождь, как светлая роса
Среди полуденного зноя».

1887

ОДИНОЧЕСТВО

Поверь мне: люди не поймут
Твоей души до дна!..
Как полон влагою сосуд, —
Она тоской полна.

Когда ты с другом плачешь, — знай
Сумеешь, может быть,
Лишь две-три капли через край
Той чаши перелить.

Но вечно дремлет в тишине
Вдали от всех друзей, —
Что там, на дне, на самом дне
Больной души твоей.

Чужое сердце — мир чужой,
И нет к нему пути!
В него и любящей душой
Не можем мы войти.

И что-то есть, что глубоко
Горит в твоих глазах,
И от меня — так далеко, —
Как звезды — в небесах...

В своей тюрьме, — в себе самом —
Ты, бедный человек,
В любви, и в дружбе, и во всем
Один, один навек!..

1890

Что ты можешь? В безумной борьбе
Человек не достигнет свободы:
Покорись же, о дух мой, судьбе
И неведомым силам природы!
Если надо, — смирись и живи:
Об одном только помни, страдая, —
Ненадолго — страдания твои,
Ненадолго — и радость земная.
Если надо — покорно вернись,
Умирая, к небесной отчизне,
И у смерти, у жизни учись —
Не бояться ни смерти, ни жизни!

<1891>

ВОЛНЫ

О, если б жить, как вы живете, волны,
Свободные, бесстрашие храня,
И холодом, и вечным блеском полны!..
Неправда ль, вы — счастливее меня?
Не знаете, что счастье — ненадолго...
На вольную, холодную красу
Гляжу с тоской: всю жизнь любви и долга

Святую цепь покорно я несу.
Зачем ваш смех так радостен и молод?
Зачем я цепь тяжелую несу?
О, дайте мне невозмутимый холод
И вольный смех, и вечную красу!..
Смирение!.. Как трудно жить под игом!
Уйти бы к вам и с вами отдохнуть,
И лишь одним, одним упиться мигом,
Потом навек безропотно уснуть!..
Ни женщине, ни Богу, ни отчизне,
О, никому отчета не давать,
И только жить для радости, для жизни
И в пене брызг на солнце умирать!..
Но нет во мне глубокого бесстрастья:
И родину, и Бога я люблю,
Любою мою любовь, во имя счастья
Все горькое покорно я терплю.
Мне страшен долг, любовь моя тревожна.
Чтоб вольно жить — увы! — я слишком слаб...
О, неужель свобода невозможна,
И человек до самой смерти — раб?

<1891>

МАРК АВРЕЛИЙ

Века, разрушившие Рим,
Тебя не тронув, пролетели
Над изваянием твоим,
Бессмертный Марк Аврелий!

В благословенной тишине
Доныне ты, как триумфатор,
Сидишь на бронзовом коне,
Философ-император.

И в складках падает с плеча
Простая риза, не порфира.
И нет в руке его меча, —
Он провозвестник мира.

Невозмутим его покой,
И все в нем просто и велико.

Но веет грустью неземной
От царственного лика.

В тяжелый век он жил, как мы,
Он жил во дни борьбы мятежной,
И надвигающейся тьмы,
И грусти безнадежной.

Он знал: погибнет Рим отцов.
Но пред толпой не лицемерил.
Чем меньше верил он в богов, —
Тем больше в правду верил.

Владея миром, никого
Он даже словом не обидел,
За Рим, не веря в торжество,
Он умер и предвидел,

Что Риму не воскреснуть вновь,
Но отдал все, что было в жизни —
Свою последнюю любовь,
Последний вздох отчизне.

В душе, правдивой и простой,
Навеки чуждой ослепленья,
Была не вера, а покой
Великого смиренья.

Он, исполняя долг, страдал
Без вдохновенья, без отрады,
И за добро не ожидал
И не хотел награды.

Теперь стоит он, одинок,
Под голубыми небесами
На Капитолии, как бог,
И ясными очами

Глядит на будущее, вдаль:
Он сбросил дольней жизни тягость.
В лице — спокойная печаль
И неземная благость.

1891
Рим

ВОЗВРАЩЕНИЕ

О березы, даль немая,
Грустные поля...
Это ты, — моя родная,
Бедная земля!

Непокорный сын к чужбине,
К воле я ушел,
Но и там в моей кручине
Я тебя нашел.

Там у моря голубого,
У чужих людей
Полюбил тебя я снова
И еще сильней.

Нет! Не может об отчизне
Сердце позабыть,
Край родной, мне мало жизни,
Чтоб тебя любить!..

Теплый вечер догорает
Полный тихих грез,
Но заря не умирает
Меж ветвей берез.

Милый край, с улыбкой ясной
Я умру, как жил,
Только б знать, что не напрасно
Я тебя любил!

1891

НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

Немая вилла спит под пенье волн мятежных...
Здесь грустью дышит все — и небо, и земля,
И сень плакучих ив, и маргариток нежных
Безмолвные поля...

Сквозь сон журчат струи в тени кустов лавровых,
И стаи пчел гудят в заросших цветниках,

И острый кипарис над кущей роз пунцовых
Чернеет в небесах...
Зато, незримые, цветут пышнее розы,
Таинственнее льет фонтан в тени ветвей
Невидимые слезы,
И плачет соловей...
Его уже давно, давно никто не слышит,
И окна ставнями закрыты много лет...
Меж тем как все крутом глубоким счастьем дышит,
Счастливых нет!
Зато в тени аллей живет воспоминанье
И сладостная грусть умчавшихся годов, —
Как чайной розы теплое дыханье,
Как музыка валов...

1889

Мисгор

ХРИСТОС, АНГЕЛЫ И ДУША

(Мистерия XIII века)

I

А н г е л ы

Как нищий с сумкой бедной,
Куда идешь, Христос,
Ты, горестный и бледный,
Один в юдоли слез?

Х р и с т о с

Иду я в мир унылый
К возлюбленной моей,
Назвав невестой милой,
Я сердце отдал ей.
Она меня любила,
10 Но, клятвы не храня,
Невеста изменила,
Покинула меня.
И все о ней тоскую,
И все ее люблю,
Люблю я дочь земную

Избранницу мою.
Я дал ей дух свободный,
Ее одну любя,
Я сделал благородной,
20 Похожей на себя.
Я дал ей плоть в рабыни
И волю для борьбы,
Она же стала ныне
Рабой своей рабы.
Она — во власти тела
И, Господа забыв,
Дары мои презрела,
Отвергла мой призыв.

А н г е л ы

Но той, кто всех дороже,
30 Кого ты так любил,
Сказать ли нам, о Боже,
Что ты ее простил?

Х р и с т о с

Скорей несите вести
Возлюбленной моей,
Что я простил невесте,
Что я грущу о ней!
Зачем же длить разлуку?
Скажите, чтоб пришла,
Чтоб милого на муку,
40 На смерть не обрекла.
И брачные одежды
Я возвращу ей вновь,
И все мои надежды,
И всю мою любовь!

II

А н г е л ы

Душа в оковах тела
И смерти, и греха,
Ты Господа презрела,
Отвергла Жениха.
Поднять не смеешь вежды,

50 Не можешь встать с земли,
Разорваны одежды,
Чело твое — в пыли.

Д у ш а

Изгнанницею рая
Живу я во грехе,
Скорбя и вспоминая
О милом Женихе.
И тщетно, умирая
В пороке и во зле,
Покинутого рая
60 Ищу я на земле.

А н г е л ы

Омой слезами очи,
С надеждой подымись,
Скорей из мрака ночи
Ты к Господу вернись.
Тебя Он примет снова,
Забудь печаль и страх,
Не скажет Он ни слова,
Не вспомнит о грехах.

Д у ш а

О где же Он?.. Далеко
70 От Бога моего
Я плачу одиноко,
Умру я без Него...
Скажите мне, скажите,
Видал ли кто-нибудь,
Где Милый, укажите
К Возлюбленному путь!

А н г е л ы

Мы видели: распятый,
Один на высоте
Голгофы, тьмой объятой,
80 Страдал Он на кресте.
В тоске изнемогая,
Но все еще любя,
Спаситель, умирая,
Молился за тебя...

Душа

Я плакать буду вечно.
За мир Он пролил кровь,
Любил так бесконечно
И умер за любовь!..
В любви — какая сила!..
90 Любовь, о для чего,
Безумная, убила
Ты Бога моего?

1890

* * *

Томимый грустью непонятной,
Всегда чужой в толпе людей,
Лишь там, в природе благодатной,
Я сердцем чище и добрей.
Мне счастья, Господи, не надо!
Но я пришел, чтоб здесь дышать
Твоих лесов живой прохладой
И листьям шепчущим внимать.
Пусть росы падают на землю
Слезами чистыми зари...
Твоим глаголам, Боже, внемлю:
Открыто сердце, — говори!

1890

СМЕХ БОГОВ

Легок, светел, как блаженный
Олимпийский смех богов,
Многошумный, неизменный
Смех бесчисленных валов!

Страшен был их гимн победный
В бурной тьме, когда по ним
Одиссей, скиталец бедный,
Мчался, ужасом томим.

И, покрытый черной тиной,
Как обломок корабля,
Царь был выброшен пучиной,
Нелюдимая земля, —

На пески твоей пустыни,
И среди холодных скал
С благодарностью Афине
Он молитвы воссылал...

В Провиденье веры полный,
Ты не видишь, Одиссей,
Как смеются эти волны
Над молитвою твоей.

Многошумный, неизменный
Смех бесчисленных валов —
Легок, светел, как блаженный
Олимпийский смех богов.

1889

На Черном море

ГИМН КРАСОТЕ

Слава, Киприда, тебе, —
Нам — в беспощадной борьбе
Жизнь красотой озарившая,
 Пеной рожденная,
 Мир победившая,
 Непобежденная!
Из волны зеленой вышла ты, стыдливая,
 И воздушна, как мечта,
Тела юного сверкала нагота
 Горделивая!
 Укротительница бурь,
Улеглась у ног твоих стихия злобная, —
 Нектару подобная,
Вкруг тебя кипела, искрилась лазурь...
 Как от розы — благовоние, —
 Так от тела твоего
 Веет силы торжество,
 Счастье и гармония!..

Все ты наполняешь, волны и эфир,
И, как пахарь в ниву — семена несметные,
Ты бросаешь в мир
Солнца искромётные!..
Ступишь — пред тобою хаос умирится,
Взглянешь — и ликует вся земная тварь,
Сам Тучегонитель, Громовержец-царь
Пред тобой склоняется..
Все тебе подвластно, все — земля и твердь:
Ты одной улыбкой нежною,
Безмятежною
Побеждаешь Смерть!

Слава, Киприда, тебе, —
Нам — в беспощадной борьбе
Жизнь красотой озарившая,
Пеной рожденная,
Мир победившая,
Непобежденная!..

1889

На Черном море

ВОРОН

Поэма Эдгара Поэ

Погруженный в скорбь немую и усталый, в ночь глухую,
Раз, когда поник в дремоте я над книгой одного
Из забытых миром знаний, книгой, полной обаяний, —
Стук донесся, стук неожиданный в двери дома моего:
«Это путник постучался в двери дома моего
Только путник — больше ничего».

В декабре — я помню — было это полночью унылой.
В очаге под пеплом угли разгорались иногда.
Груды книг не утоляли ни на миг моей печали —
Об утраченной Леноре, той, чье имя навсегда —
В сонме ангелов — Ленора, той, чье имя навсегда
В этом мире стерлось — без следа.

От дыханья ночи бурной занавески шелк пурпурный
Шелестел, и непонятный страх рождался от всего.
Думал, сердце успокою, все еще твердил порою:
«Это гость стучится робко в двери дома моего,
Запоздалый гость стучится в двери дома моего,
Только гость — и больше ничего!»

И когда преодолело сердце страх, я молвил смело:
«Вы простите мне, обидеть не хотел я никого;
Я на миг уснул тревожно: слишком тихо, осторожно, —
Слишком тихо вы стучались в двери дома моего...»
И открыл тогда я настежь двери дома моего —
Мрак ночной, — и больше ничего.

Все, что дух мой волновало, все, что снилось и смущало,
До сих пор не посещало в этом мире никого.
И ни голоса, ни знака — из таинственного мрака...
Вдруг «Ленора!» — прозвучало близ жилища моего...
Сам шепнул я это имя, и проснулось от него
Только эхо — больше ничего.

Но душа моя горела, притворил я дверь несмело.
Стук опять раздался громче; я подумал: «Ничего,
Это стук в окне случайный, никакой здесь нету тайны:
Посмотрю и успокою трепет сердца моего,
Успокою на мгновенье трепет сердца моего.
Это ветер, — больше ничего».

Я открыл окно, и странный гость полночный,
гость неожиданный,
Ворон царственный влетает; я привета от него
Не дождался. Но отважно, — как хозяин, гордо, важно
Полетел он прямо к двери, к двери дома моего,
И вспорхнул на бюст Паллады, сел так тихо на него,
Тихо сел — и больше ничего.

Как ни грустно, как ни больно, — улыбнулся я невольно
И сказал: «Твое коварство победим мы без труда,
Но тебя, мой гость зловеший, Ворон древний, Ворон
вещий,
К нам с пределов вечной Ночи прилетающий сюда,
Как зовут в стране, откуда прилетаешь ты сюда?»
И ответил Ворон: «Никогда».

Говорит так ясно птица, не могу я надивиться,
Но казалось, что надежда ей навек была чужда.
Тот не жди себе отрады, в чьем доме на бюст Паллады
Сядет Ворон над дверями; от несчастья никуда, —
Тот, кто Ворона увидел, — не спасется никуда,
Ворона, чье имя: «Никогда».

Говорил он это слово так печально, так сурово,
Что, казалось, в нем всю душу изливал; и вот, когда,
Недвижим, на изваянье он сидел в немом молчанье,
Я шепнул: «Как счастье, дружба улетели навсегда,
Улетит и эта птица завтра утром навсегда».
И ответил Ворон: «Никогда».

И сказал я, вздрогнув снова: «Верно, молвить это слово
Научил его хозяин в дни тяжелые, когда
Он преследуем был Роком, и в несчастье одиноком,
Вместо песни лебединой, в эти долгие года
Для него был стон единый в эти грустные года —
Никогда, — уж больше никогда!»

Так я думал и невольно улыбнулся, как ни больно.
Повернул тихонько кресло к бюсту бледному, туда,
Где был Ворон, погрузился в бархат кресел и забылся.
«Страшный Ворон, мой ужасный гость, — подумал
я тогда, —
Страшный древний Ворон, горе возвещающий всегда,
Что же значит крик твой: „Никогда“?»

Угадать стараюсь тщетно; смотрит Ворон безответно.
Свой горящий взор мне в сердце заронил он навсегда.
И в раздумье над загадкой, я поник в дремоте сладкой
Головой на бархат, лампой озаренный. Никогда
На лиловый бархат кресел, как в счастливые года,
Ей уж не склоняться — никогда!

И казалось мне: струило дым незримое кадило,
Прилетели Серафимы, шелестели иногда
Их шаги, как дуновение: «Это Бог мне шлет забвенье!
Пей же сладкое забвенье, пей, чтоб в сердце навсегда
Об утраченной Леноре стерлась память — навсегда!..»
И сказал мне Ворон: «Никогда».

«Я молю, пророк зловещий, птица ты иль демон вещий,
Злой ли Дух тебя из Ночи или вихрь занес сюда
Из пустыни мертвой, вечной, безнадежной,
бесконечной, —
Будет ли, молю, скажи мне, будет ли хоть там, куда
Снизойдем мы после смерти, — сердцу отдых навсегда?»
И ответил Ворон: «Никогда».

«Я молю, пророк зловещий, птица ты иль демон вещий,
Заклинаю небом, Богом, отвечай, в тот день, когда
Я Эдем увижу дальней, обниму ль душой печальной
Душу светлую Леноры, той, чье имя навсегда
В сонме ангелов — Ленора, лучезарной навсегда?»
И ответил Ворон: «Никогда».

«Прочь! — воскликнул я, вставая, — демон ты иль
птица злая.
Прочь! — вернись в пределы Ночи, чтобы больше никогда
Ни одно из перьев черных не напомнило позорных,
Лживых слов твоих! Оставь же бюст Паллады навсегда,
Из души моей твой образ я исторгну навсегда!»
И ответил Ворон: «Никогда».

И сидит, сидит с тех пор он там, над дверью, черный Ворон,
С бюста бледного Паллады не исчезнет никуда.
У него такие очи, как у злого Духа Ночи,
Сном обьятого; и лампа тень бросает. Навсегда
К этой тени черной птицы пригвожденный навсегда, —
Не воспрянет дух мой — никогда!

1890

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

1891—1895

Посвящается С. Н. Р.

ДЕТИ НОЧИ

Устремляя наши очи
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ждем, придет ли наш пророк.
Мы неведомое чуем,
И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем
О несозданных мирах.
Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.
Погребенных воскресенье
И, среди глубокой тьмы,
Петуха ночное пенье,
Холод утра — это мы.
Наши гимны — наши стоны;
Мы для новой красоты
Нарушаем все законы,
Преступаем все черты.
Мы — соблазн неуголенных,
Мы — посмешище людей,
Искра в пепле оскорбленных
И потухших алтарей.
Мы — над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждем,
Свет увидим и, как тени,
Мы в лучах его умрем.

1894

Pallanza

ПОЭТ

Сладок мне венец забвенья темный.
Посреди ликующих глупцов
Я иду, отверженный, бездомный
И бедней последних бедняков.

Но душа не хочет примиренья
И не знает, что такое страх.
К людям в ней — великое презренье,
И любовь, любовь в моих очах.

Я люблю безумную свободу:
Выше храмов, тюрем и дворцов,
Мчится дух мой к дальнему восходу,
В царство ветра, солнца и орлов.

А внизу меж тем, как призрак темный,
Посреди ликующих глупцов
Я иду, отверженный, бездомный
И бедней последних бедняков.

1894

ЛЕДА

I

«Я — Леда, я — белая Леда, я — мать красоты,
Я сонные воды люблю и ночные цветы.

Каждый вечер, жена соблазненная,
Я ложусь у пруда, там, где пахнет водой, —

В душной тьме грозовой,
Вся преступная, вся обнаженная, —
Там, где сырость, и нега, и зной,
Там, где пахнет водой и купавами,
Влажными, бледными травами
И таинственным илом в пруду, —

Там я жду.

Вся преступная, вся обнаженная,
Изнеможенная,
В сырость теплую, в мягкие травы ложусь
И горю, и томлюсь.

В душевной тьме грозовой,
Там, где пахнет водой,
Жду — и в страстном бессилии
Я бледнее, прозрачнее сломанной лилии.
Там я жду, а в пруду только звезды блестят,
И в тиши камыши шелестят, шелестят.

II

Вот и крик, и шум пронзительный,
Словно плеск могучих рук:
Это — Лебедь ослепительный,
Белый Лебедь — мой супруг!
С грозной нежностью змеиною
Он, обвив меня, ласкал
Тонкой шеей лебединою, —
Влажных губ моих искал,
Крылья воду бьют,
Грозен темный пруд, —
На спине его щетиною
Перья бледные встают, —
Так он горд своей победою.
Где я, что с мной, — не ведаю;
Это — смерть, но не боюсь,
Вся бледнее,
Страстно млея,
Как в ночной грозе лилея,
Ласкам бога предаюсь.
Где я, что со мной, — не ведаю». —
Все покрыто тьмой,
Только над водой —
Белый Лебедь с белой Ледою.

III

И вот рождается Елена,
С невинной прелестью лица,
Но вся — коварство, вся — измена,
Белее, чем морская пена, —
Из лебединого яйца.
И слышен вопль Гекубы в Трое
И Андромахи вечный стон:
Сразились боги и герои,

И пал священный Илион.
А ты, Елена, клятвы мира
И долг нарушив, — ты чиста:
Тебя прославит песнь Омира,
Затем, что вся надежда мира —
Дочь белой Леды — Красота.

28 июля 1894

ТЕМНЫЙ АНГЕЛ

О темный ангел одиночества,
Ты веешь вновь
И шепчешь вновь свои пророчества:
«Не верь в любовь.

Узнал ли голос мой таинственный?
О милый мой,
Я — ангел детства, друг единственный,
Всегда — с тобой.

Мой взор глубок, хотя не радостен,
Но не горюй:
Он будет холоден и сладостен,
Мой поцелуй.

Он веет вечною разлукою, —
И в тишине
Тебя, как мать, я убаюкаю:
Ко мне, ко мне!»

И совершаются пророчества:
Темно вокруг.
О страшный ангел одиночества,
Последний друг,

Полны могильной безмятежностью
Твои шаги.
Кого люблю с бессмертной нежностью,
И те — враги!

19 августа 1895

Роцино

ИЗГНАННИКИ

Есть радость в том, чтоб люди ненавидели,
Добро считали злом,
И мимо шли, и слез твоих не видели,
Назвав тебя врагом.

Есть радость в том, чтоб вечно быть изгнанником
И, как волна морей,
Как туча в небе, одиноким странником,
И не иметь друзей.

Блаженны вы, бездомные, томимые
Печалью неземной,
Блаженны вы, презренные, гонимые
Счастливою толпой.

Прекрасна только жертва неизвестная:
Как тень хочу пройти,
И сладостна да будет ноша крестная
Мне на земном пути.

О, верь — твое сокровище нетленное
Не здесь, а в небесах,
В твоём стыде — величье сокровенное,
Восторг в твоих слезах.

Умри, как жил, — лелея грезы нежные,
Не слыша дольних бурь,
И серафимов крылья белоснежные
Умчат тебя в лазурь.

18 июня 1893

ПАРКИ

Будь что будет — все равно.
Парки дряхлые, прядите
Жизни спутанные нити,
Ты шуми, веретено.

Все наскучило давно
Трем богиням, вещим пряхам:
Было прахом, будет прахом, —
Ты шуми, веретено.

Нити вечные судьбы
Тянут Парки из кудели,
Без начала и без цели.
Не склоняют их мольбы,

Не пленяет красота:
Головой они качают,
Правду горькую вещают
Их поблеклые уста.

Мы же лгать обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.

Лишь уста открою,— лгу,
Я рассечь узлов не смею,
А распутать не умею,
Покориться не могу.

Лгу, чтоб верить, чтобы жить,
И во лжи моей тоскую.
Пусть же петлю роковую,
Жизни спутанную нить,

Цепи рабства и любви,
Все, пред чем я полон страхом,
Рассекут единым взмахом,
Парка, ножницы твои!

1892

СМЕХ

Эту заповедь в сердце своем напиши:
Больше Бога, добра и себя самого
Жизнь люби, — выше нет на земле ничего.

Смей желать. Если хочешь — иди, согреси,
Но да будет бесстрашен, как подвиг, твой грех.
В муках радостный смех сохрани до конца:
Нет ни в жизни, ни в смерти прекрасней венца,
Чем последний, бесстрастный, ликующий смех,
 Смех детей и богов,
 Выше зла, выше бурь,
 Этот смех, как лазурь —
 Выше всех облаков.

Есть одна только вечная заповедь — жить
В красоте, в красоте, несмотря ни на что,
Ужас мира поняв, как не понял никто,
Беспредельную скорбь беспредельно любить.

1894

Паланца

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

О, Винчи, ты во всем — единый:
Ты победил старинный плен.
Какою мудростью змеиной
Твой страшный лик запечатлен!

Уже, как мы, разнообразный,
Сомненьем дерзким ты велик,
Ты в глубочайшие соблазны
Всего, что двойственно, проник.

И у тебя во мгле иконы
С улыбкой Сфинкса смотрят вдаль
Полуязыческие жены, —
И не безгрешна их печаль:

Они и девственны и страстны;
С прозрачной бледностью чела,
Они кошунственно прекрасны:
Они познали прелесть Зла.

С блестящих плеч упали ризы,
По пояс грудь обнажена,

И златоокой Мона-Лизы
Усмешка тайною полна.

Все дерзновение свободы,
Вся мудрость вещая в устах,
И то, о чем лепечут воды
И ветер полночи в листьях.

Пророк, иль демон, иль кудесник,
Загадку вечную храня,
О, Леонардо, ты — предвестник
Еще неведомого дня.

Смотрите вы, больные дети
Больных и сумрачных веков:
Во мраке будущих столетий
Он, непонятен и суров,—

Ко всем земным страстям бесстрастный,
Таким останется навек —
Богов презревший, самовластный,
Богopodobный человек.

1894
Милан

ГОЛУБОЕ НЕБО

Я людям чужд, и мало верю
Я добродетели земной:
Иною мерой жизнь я мерю,
Иной бесцельной красотой.

Я только верю в голубую
Недосыгаемую твердь,
Всегда единую, простую
И непонятную, как смерть.
Над всем, что любит и страдает,
Дрожит, как лист в дыханье бурь,
Улыбкой вечною сияет
Неумолимая лазурь.

О небо, дай мне быть прекрасным,
К земле сходящим с высоты,
И лучезарным, и бесстрастным,
И всеобъемлющим, как ты.

1894

СКУКА

Страшней, чем горе, эта скука.
Где ты, последний терн венца,
Освобождающая мука
Давно желанного конца?

Приди, открой великолепье
Иных миров моим очам:
Я сброшу тело, как отрепье,
И праху прах мой я отдам.

С ее бессмысленным мученьем,
С ее томительной игрой,
Невыносимым оскорбленьем
Вся жизнь мне кажется порой.

Хочу простить ее, но знаю,
Уродства жизни не прощу,
И горечь слез моих глотаю,
И умираю, и молчу.

Сентябрь 1894

МИКЕЛАНДЖЕЛО

Тебе навеки сердце благодарно,
С тех пор как я, раздумием томим,
Бродил у волн мутно-зеленых Арно,

По галереям сумрачным твоим,
Флоренция! И статуи немые
За мной следили: подходил я к ним

Благоговейно. Стены вековые
Твоих дворцов объаты были сном,
И мраморные люди, как живые,

- 10 Стояли в нишах каменных крутом:
Здесь был Челлини, полный жаждой славы,
Боккаччио с приветливым лицом,

Макиавелли, друг царей лукавый,
И нежная Петрарки голова,
И выходец из Ада величавый,

И тот, кого прославила молва,
Не разгадав,— да Винчи, дивной тайной
Исполненный, на древнего волхва

Похожий и во всем необычайный.

- 20 Как счастлив был, храня смущенный вид,
Я — гость меж ними робкий и случайный.

И, попирая пыль священных плит,
Как юноша, исполненный тревоги,
На мудрого наставника глядит, —

Так я глядел на них: и были строги
Их лица бледные, и предо мной,
Великие, бесстрастные, как боги,

Они сияли вечной красотой.

- Но больше всех меж древними мужами
30 Я возлюбил того, кто головой

Поник на грудь, подавленный мечтами,
И опытный в добре, как и во зле,
Взирал на мир усталыми очами:

Напечатлела дума на чёле
Такую скорбь и отвращенье к жизни,
Каких с тех пор не видел на земле

Я никогда, и к собственной отчизне
Презренье было горькое в устах,
Подобное печальной укоризне.

40 И я заметил в жилистых руках,
В уродливых морщинах, в повороте
Широких плеч, в нахмуренных бровях —

Твое упорство вечное в работе,
Твой гнев, создатель Страшного Суда,
Твой беспощадный дух, Буонарроти.

И скукою бесцельного труда,
И глупостью людского возмущенный,
Ты не вкушал покоя никогда.

Усиьем тяжким воли напряженной
50 За миром мир ты создавал, как Бог,
Мучительными снами удрученный,

Нетерпелив, угрюм и одинок.
Но в исполинских глыбах изваяний,
Подобных бреду, ты всю жизнь не мог

Осуществить чудовищных мечтаний
И, красоту безмерную любя,
Порой не успевал кончать созданий.

Упорный камень молотом дробя,
Испытывал лишь ярость, утоленья
60 Не знал вовек, — и были у тебя

Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.
Являют нам могучие творенья

Страданий человеческих предел.
Одной судьбы ты понял неизбежность
Для злых и добрых: плод великих дел —

Ты чувствовал покой и безнадежность
И проклинал, падая к ногам Христа,
Земной любви обманчивую нежность,

70 Искусство проклинал, но пока уста,
Без веры, Бога в муках призывали, —
Душа была угрюма и пуста.

И Бог не утолил твоей печали,
И от людей спасенья ты не ждал:
Уста навек с презреньем замолчали.

Ты больше не молился, не роптал,
Ожесточен в страданье одиноком,
Ты, ни во что не веря, погибал.

80 И вот стоишь, не побежденный роком,
Ты предо мной, склоняя гордый лик,
В отчаянье спокойном и глубоком,

Как демон, — безобразен и велик.

1892

Флоренция

ПРИЗНАНИЕ

Не утешай, оставь мою печаль
Нетронутой, великой и безгласной,
Обоим нам порой свободы жаль,
Но цепь любви порвать хотим напрасно.

Я чувствую, что так любить нельзя,
Как я люблю, что так любить безумно,
И страшно мне, как будто смерть, грозя,
Над нами веет близко и бесшумно...

Но я еще сильнее тебя люблю,
И бесконечно я тебя жалею, —
До ужаса сливаю жизнь мою,
Сливаю душу я с душой твоею.

И без тебя я не умею жить.
Мы отдали друг другу слишком много,
И я прошу, как милости у Бога,
Чтоб научил Он сердце не любить.

Но как порой любовь ни проклиная —
И жизнь, и смерть с тобой я разделяю.
Не знаешь ты, как я тебя люблю,
Быть может, я и сам еще не знаю.

Но слов не надо: сердце так полно,
Что можем только тихими слезами
Мы выплакать, что людям не дано
Ни рассказать, ни облегчить словами.

6 июля 1894

Ольгино

ЛЮБОВЬ-ВРАЖДА

Мы любим и любви не ценим,
И жаждем оба новизны,
Но мы друг другу не изменим,
Мгновенной прихотью полны.
Порой, стремясь к свободе прежней,
Мы думаем, что цепь порвем,
Но каждый раз все безнадежней
Мы наше рабство сознаем.
И не хотим конца предвидеть,
И не умеем вместе жить, —
Ни всей душой возненавидеть,
Ни беспрдельно полюбить.
О, эти вечные упреки!
О, эта хитрая вражда!
Тоскуя — оба одиноки,
Враждуя — близки навсегда.
В борьбе с тобой изнемогая
И все ж мучительно любя,
Я только чувствую, родная,
Что жизни нет, где нет тебя.
С каким коварством и обманом
Всю жизнь друг с другом спор ведем,
И каждый хочет быть тираном,
Никто не хочет быть рабом.
Меж тем, забыться не давая,
Она растет всегда, везде,
Как смерть, могучая, слепая
Любовь, подобная вражде.
Когда другой сойдет в могилу,
Тогда поймет один из нас
Любви божественную силу —
В тот страшный час, последний час!

<1892>

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Он твердо шел прямой дорогой,
Ни перед кем не лицемерил,
И, безупречен в жизни строгой,
В богов толпы он свято верил.

И вдруг с улыбкою безумной
Ты все разрушила, смеясь;
Грозой блистательной и шумной
Над тихой жизнью пронеслась.

То верит он слепой надежде,
То вновь боязнь его тревожит,
И он не хочет жить как прежде
И за тобой идти не может.

Ты для него непостижима
В твоей загадочной красе.
А он весь век непогрешимо
Живет и думает как все.

Его душа — без вдохновенья:
С благоразумьем неразлучен,
Он чужд борьбы и разрушенья,
Он добродетелен и скучен.

Кто обвинит тебя сурово?
Ты плод запретный сорвала
И край священного покрова
Пред недостойным подняла.

Так этот мир был лучезарен,
Так были сладки эти звуки,
Что, может быть, за смерть и муки
Он будет вечно благодарен.

1892

НЕДОЛГОВЕЧНАЯ

Нет, ей не жить на этом свете:
Она увянет, как цветок,
Что распустился на рассвете
И до зари дожить не мог.

Оставь ее! Печальной жизни
Она не знает, но грустит:
Иной, неведомой отчизне
Ее душа принадлежит.

Она лишь ласточкой залетной
Издалека примчалась к нам, —
И вновь вернется беззаботно
К своим родимым небесам.

<1893>

ПРОКЛЯТИЕ ЛЮБВИ

С усилием тяжким и бесплодным
Я цепь любви хочу разбить.
О, если б вновь мне быть свободным,
О, если б мог я не любить!

Душа полна стыда и страха,
Влачится в прахе и крови,
Очисти душу мне от праха,
Избавь, о Боже, от любви!

Ужель непобедима жалость?
Напрасно Бога я молю:
Все безнадежнее усталость,
Все бесконечнее люблю.

И нет свободы, нет прощенья.
Мы все рабами рождены,
Мы все на смерть и на мученья
И на любовь обречены.

1895

ОДИНОЧЕСТВО В ЛЮБВИ

Темнеет. В городе чужом
Друг против друга мы сидим,
В холодном сумраке ночном,
Страдаем оба и молчим.

И оба поняли давно,
Как речь бессильна и мертва:
Чем сердце бедное полно,
Того не выразят слова.

Не виноват никто ни в чем:
Кто гордость победить не мог,
Тот будет вечно одинок,
Кто любит, должен быть рабом.

Стремясь к блаженству и добру,
Влача томительные дни,
Мы все — одни, всегда — одни:
Я жил один, один умру.

На стеклах бледного окна
Потух вечерний полусвет.
Любить научит смерть одна
Все то, к чему возврата нет.

Умолкнет гордость и вражда,
Забуду все, что я терплю,
И безнадежно полюблю,
Тебя утратив навсегда.

Темнеет. Скоро будет ночь.
Друг против друга мы сидим,
Никто не может нам помочь, —
Страдаем оба и молчим.

1892

Киев

МОЛЧАНИЕ

Как часто выразить любовь мою хочу,
Но ничего сказать я не умею,
Я только радуюсь, страдаю и молчу:
Как будто стыдно мне — я говорить не смею.

И в близости ко мне живой души твоей
Так все таинственно, так все необычайно, —
Что слишком страшною Божественною тайной
Мне кажется любовь, чтоб говорить о ней.

В нас чувства лучшие стыдливы и безмолвны,
И все священное объемлет тишина:
Пока шумятверху сверкающие волны,
Безмолвствует морская глубина.

1892

НЕУЛОВИМОЕ

Всю жизнь искать я буду страстно,
И не найду, и не пойму,
Зачем люблю Его напрасно,
Зачем нет имени Ему.

Оно — в моей высокой мысли,
Оно — в тени плакучих ив,
Что над гробницею повисли,
Оно — в тиши родимых нив.

В словах любви, и в шуме сосен
И наяву, и в грезах сна,
В тебе, торжественная осень,
В тебе, печальная весна!

В страницах древних книг, в лазури,
В согретом матерью гнезде,
В молитвах детских дней и в буре,
Оно — везде, Оно — нигде.

Недостижимо, но сияет.
Едва найду, едва коснусь,

Неуловимо ускользает,
И я один, и я томлюсь.

И встаю порой мятежно:
Хочу забыть, хочу уйти,
И вновь тоскую безнадежно, —
И знаю, нет к Нему пути.

1893

DE PROFUNDIS

(Из дневника)

...В те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доньше и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть.

[Ев<ангелие> Марка, гл. XIII. 19, 20].

I

УСТАЛОСТЬ

Мне самого себя не жаль.
Я принимаю все дары Твои, о Боже,
Но кажется порой, что радость и печаль,
И жизнь, и смерть — одно и то же.

Спокойно жить, спокойно умереть —
Моя последняя отрада.
Не стоит ни о чем жалеть,
И ни на что надеяться не надо.

Ни мук, ни наслаждений нет.
Обман — свобода и любовь, и жалость.
В душе — бесцельной жизни след —
Одна тяжелая усталость.

II

DE PROFUNDIS

Из преисподней вопию
Я, жалом смерти уязвленный:

Росу небесную Твою
Пошли в мой дух ожесточенный.
Люблю я смрад земных утех,
Когда в устах к Тебе моления —
Люблю я зло, люблю я грех,
Люблю я дерзость преступленья.
Мой Враг глумится надо мной:
«Нет Бога: жар молитв бесплоден».
Паду ли ниц перед Тобой,
Он молвит: «Встань и будь свободен».
Бегу ли вновь к Твоей любви, —
Он искушает, горд и злобен:
«Дерзай, познания плод сорви,
Ты будешь силой мне подобен».
Спаси, спаси меня! Я жду,
Я верю, видишь, верю чуду,
Не замолчу, не отойду
И в дверь Твою стучаться буду.
Во мне горит желаньем кровь,
Во мне таится семя тленья.
О, дай мне чистую любовь,
О, дай мне слезы умиленья,
И окаянного прости,
Очисти душу мне страданьем —
И разум темный просвети
Ты немерцающим сияньем.

1892

ПУСТАЯ ЧАША

Отцы и деды, в играх шумных
Все истощили вы до дна,
Не берегли в пирах безумных
Вы драгоценного вина.

Но хмель прошел, слепой отваги
Потух огонь, и кубок пуст.
И вашим детям каплей влаги
Не омочить горящих уст.

Последним ароматом чаши, —
Лишь тенью тени мы живем,

И в страхе думаем о том,
Чем будут жить потомки наши.

1 августа 1894

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Следы забот, как иглы терний,
Оставил в сердце скорбный день.
Гори же, тихий свет вечерний,
Привет тебе, ночная тень!

Я жду с улыбкою блаженной,
Я рад тому, что жизнь пройдет,
Что все прекрасное — мгновенно,
Что все великое умрет.

Покой печальный и бесстрастье —
Удел того, кто мир постиг:
На миг — любовь, на миг и счастье,
Но сердцу — вечность этот миг.

Без упования, без тревоги
От капли нектара вкушай,
И прежде, чем отнимут боги,
Ты кубок жизни покидай.

Любовь умрет, как луч заката.
Но память прошлое хранит,
И все, к чему уж нет возврата,
Душе навек принадлежит.

Да будет легким расставанье:
Ты мне, о солнце, подари
Еще последнее лобзанье,
Еще последний луч зари.

Я слышу в листьях слабый лепет,
Я слышу в море шепот струй:
Вот он — последний жизни трепет,
Любви последний поцелуй, —

И ты зашло, мое светило.
Тебя увижу ли я вновь?
Прости же все, что сердцу мило,
Прости, о солнце и любовь!

16 августа 1892

В ЛУННОМ СВЕТЕ

Дремлют полною луной
Озаренные поляны.
Бродят белые туманы
Над болотною травой.

Мертвых веток черный ворох,
Бледных листьев слабый лепет,
Каждый вздох и каждый шорох
Пробуждает в сердце трепет.

Ночь, под ярким блеском лунным
Холодеющая, спит,
И аккордом тихоструйным
Ветерок не пролетит.

Неразгаданная тайна
В чаще леса, и повсюду —
Тишина необычайна...
Верю сказке, верю чуду.

<1893>

ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО

С улыбкою бесстрастия
Ты жизнь благослови:
Не нужно нам для счастья
Ни славы, ни любви.

Но почки благовонные
Нужны, — и небеса,

И дымкой опушенные
Прозрачные леса.

И пусть все будет молодо.
И зыбь волны, порой,
Как трепетное золото
Сверкает чешуей,

Как в детстве, все невиданным
Покажется тогда
И снова неожиданным —
И небо, и вода,

Над первыми цветочками
Жужжанье первых пчел,
И с клейкими листочками
Березы тонкий ствол.

С младенчества любезное,
Нам дорого — пойми —
Одно лишь бесполезное,
Забывтое людьми.

Вся мудрость в том, чтоб радостно
Во славу Бога петь.
Равно да будет сладостно
И жить, и умереть.

1893

МАРТ

Больной, усталый лед,
Больной и талый снег..
И все течет, течет..
Как весел вешний бег
Могучих, мутных вод!
И плачет дряхлый снег,
И умирает лед.
А воздух полон нег,
И колокол поет.
От стрел весны падет

Тюрьма свободных рек,
Упрямых зим оплот, —
Больной и темный лед,
Усталый, талый снег..
И колокол поет,
Что жив мой Бог вовек,
Что Смерть сама умрет!

Март 1894

ПРОСТОЕ СЕРДЦЕ

Блажен, в чьем сердце мир глубокий,
Кто верит в Бога и людей,
Кто никогда, от зла далекий,
Ни лгал пред совестью своей.

Он не один под небесами:
На каждый дружеский привет
Природа всеми голосами
С любовью шлет ему ответ...

Но Божьих звезд любовный взор,
Улыбка неба голубого
Для сердца темного и злого —
Живой, мучительный укор.

<1892>

ЦВЕТЫ

Не рви, не рви цветов, но к ним чело склони.
Лелеет их весна и радует свобода.
Не разрушай того, что создает Природа:
Прими их чистый дар, их аромат вдохни.

Они живут, как ты, но зло им недоступно.
О, радуйся тому, что осквернить не мог
Доныне на земле рукой своей преступной
Ты хоть один еще забытый уголок.

Слова людских молитв и суетны, и жалки.
Из ваших же сердец, не ведающих зла,
О, дочери земли, смиренные фиалки,
Возносится к Творцу безмолвная хвала!

1893

ОСЕНЬЮ В ЛЕТНЕМ САДУ

В аллее нежной и туманной,
Шурша осеннюю листвою,
Дитя букет собирает странный,
С улыбкой жизни молодой...

Все ближе тень октябрьской ночи,
Все ярче мертвенный букет.
Но радуется живые очи
Увядающих листьев пышный цвет...

Чем бледный вечер неутешней,
Тем смех ребенка веселей,
Подобный пеню птиц вешней
В холодном сумраке аллей.

Находит в увяданье сладость
Его блаженная пора:
Ему паденье листьев — радость,
Ему и смерть еще — игра!..

1894

КРАТКАЯ ПЕСНЯ

Порой умолкнет завыванье
Косматых ведьм, декабрьских вьюг,
И солнца бледное сиянье
Сквозь тучи робко вспыхнет вдруг...

Тогда мой сад гостеприимней,
Он полон чуткой тишины,
И в краткой песне птички зимней
Есть обещание весны!..

26 декабря 1893

МАТЬ

С еще бессильными крылами
Я видел птенчика во ржи,
Меж голубыми васильками,
У непротопанной межи.

Над ним и надо мной витала,
Боялась мать не за себя
И от него не улетала,
Тоскуя, плача и любя.

Пред этим маленьким твореньем
Я понял благодать Высших Сил
И в сердце, с тихим умилением,
Тебя, Любовь, благословил.

1892

НИВА

На солнце выхожу из тени молчаливой,
По влажной колее неведомой тропы,
Туда, где в полдень серп звенит над желтой нивой
И золотом блестят тяжелые снопы.

Благослови, Господь, святое дело жизни,
Их жатву мирную, — тебе угодный труд!
Жнецы родных полей когда-нибудь поймут,
Что не чужой и ты, певец, в своей отчизне.

Не праздна жизнь твоя, не лгут твои уста:
Как жатва Господом дарованного хлеба,
Святое на земле благословенье Неба
И вечных слов твоих живая красота.

Как в полдень свежести отрадной дуновенье
На лик согбенного, усталого жнеца —
За бескорыстный труд и на главу певца
Пошли, о Господи, Твое благословенье!

16 августа 1892

СЧАСТЬЯ НЕТ

Под куполом бесстрастно молчаливым
Святых небес, где все лазурь и свет,
Нам кажется, что можно быть счастливым,
А счастья нет.

Мы каждое мгновение умираем,
Но все звучит таинственный обет,
И до конца мы верим и желаем;
А счастья нет.

И в ужасе, и в холоде могилы
Нас манит жизнь и солнца милый свет,
Их разлюбить мы не имеем силы,
А счастья нет.

Свою печаль боимся мы измерить.
С предчувствием неотвратимых бед,
Мы не хотим и не должны мы верить,
Что счастья нет!

*9 мая 1893
С.-Петербург*

СТАЛЬ

Гляжу с улыбкой на обломок
Могучей стали, — и меня
Быть сильным учишь ты, потомок
Воды, железа и огня!

Твоя краса — необычайна,
О, темно-голубая сталь...
Твоя мерцающая тайна
Отраднa сердцу, как печаль.

А между тем твое сиянье
Нежней, чем в поле вешний цвет:
На нем и детских уст дыханье
Оставить может легкий след.

О, сердце! стали будь подобно —
Нежней цветов и тверже скал, —

Восстань на силу черни злобной,
Прими таинственный закал,

Не бойся ни врага, ни друга,
Ни мертвой скуки, ни борьбы,
Неуязвимо и упруго
Под страшным молотом Судьбы.

Дерзай же, полное отваги,
Живую двойственность храня,
Бесстрастный, мудрый холод влаги
И пыл мятежного огня.

28 сентября 1894

УСПОКОЕННЫЕ

Успокоенные Тени,
Те, что любящими были,
Бродят жалобной толпой
Там, где волны полны лени,
Там, над урной мертвой пыли,
Там, над Летой гробовой.

Успокоенные Тучи,
Те, что днем, в дыханье бури,
Были мраком и огнем, —
Там, вдали, где лес дремучий,
Спят в безжизненной лазури
В слабом отблеске ночном.

Успокоенные Думы,
Те, что прежде были страстью,
Возмущеньем и борьбой, —
Стали кротки и угрюмы,
Не стремятся больше к счастью,
Полны мертвой тишиной.

1893

СЛЕПАЯ

Боюсь, боюсь тебя, слепая
С очами белыми, о дочь
Проклятой совести, нагая
И нестыдящаяся Ночь!

Покрова нет и нет обмана.
И после всех дневных обид
Зари мучительной горит
Незаживающая рана.

1895

НОЯБРЬ

Бледный месяц — на ущербе.
Воздух — звонок, мертв и чист.
И на голой, зябкой вербе
Шелестит увядший лист.

Замерзает, тяжелеет
В бездне тихого пруда,
И чернеет и густеет
Неподвижная вода.

Бледный месяц на ущербе
Умирающий лежит,
И на голой черной вербе
Луч холодный не дрожит.

Блещет небо, догорая,
Как волшебная земля,
Как потерянного рая
Недоступные поля.

24 ноября 1894

НИРВАНА

И вновь, как в первый день созданья,
Лазурь небесная тиха,

Как будто в мире нет страдания,
Как будто в сердце нет греха.

Не надо мне любви и славы:
В молчанье утренних полей
Дышу, как дышат эти травы...
Ни прошлых, ни грядущих дней

Я не хочу пытаться и числить,
Я только чувствую опять,
Какое счастье — не мыслить,
Какая нега — не желать!

Июль 1895

ТИШИНА

Бури лишь в юности сердце пленяют,
Но пролетают:
Сила ничтожна их дикая,
И после них остается одна
Правда великая,
Ненарушимая —
В сердце — покой, в небесах — тишина,

Ибо лазурь
Вечно — безмолвная,
Недостижимая,
Так же, как истина, полная,
Выше всех бурь.

Бог — не в словах, не в молитвах,
Не в смертоносном огне,
Не в разрушение и битвах,
Бог — в тишине.

Небо и сердце полны тишиной:
Глубже, чем все мимолетные звуки,
Глубже, чем радость и муки,
В сердце безбурном,
В небе лазурном —
Вечный покой.

3 сентября 1892

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

Я уйду из глубоких аллей
И от виллы, где дышит в тени колоннады
 Дух Эллады,
От счастливых людей,
Прочь от жизни усталой,
Я уйду в эти скалы,
Где лишь мох, солнцем выжженный, чахнет,
Где свободнее ветра порыв и сильней
Меж изглоданных влагой, колючих камней
Море солью и свежестью пахнет.

Наша радость и горе,
Все, что стоит любить, все, чем можно страдать
И что люди словами умеют сказать, —
 Пред тобою ничтожно, о море!
Забываю друзей и прощаю врагу,
И полно мое сердце такого бесстрастья,
Что любить на земле никого не могу,
И не страшно мне смерти, не надо мне счастья.

Между 1891 и 1895

НА ОЗЕРЕ КОМО

Кому страдание знакомо,
Того ты сладко усыпишь,
Тому понятна будет, Комо,
Твоя безветренная тишь,
И по воде из церкви дальней,
В селенье бедных рыбаков,
«*Ave Maria*» — стон печальный,
Вечерний звон колоколов...
Здесь горы в зелени пушистой
Уютно заслонили даль,
Чтобы волной своей тенистой
Ты убаюкало печаль.
И обещанье так прекрасно,
Так мил обманчивый привет,
Что вот опять я жду напрасно,
Чего, я знаю, в мире нет.

1894

ГРИНДЕЛЬВАЛЬД

Букет альпийских роз мне по пути срывая,
В скалах меня ведет мой мальчик-проводник,
И, радуясь тому, что бездна — мне родная,
Я с трепетом над ней и с жадностью поник.

О, бледный Зильбергорн на бледном небосклоне,
О, сладкогласная мелодия, звонков —
Там где-то далеко чуть видимых на склоне
По злачной мураве пасущихся коров!

Уже в долинах зной, уже повсюду лето,
А здесь еще апрель, сады еще стоят
Как будто бы в снегу, от яблонного цвета,
И вишни только что надели свой наряд.

Здесь одиночеству душа безумно рада,
А в воздухе кругом такая тишина,
Такая тишина, и вечная прохлада,
И мед пахучих трав, и горная весна!

О, если б от людей уйти сюда навеки
И, смерти не боясь, лететь вперед, вперед,
Как эти вольные, бушующие реки,
Как эти травы жить, блестеть как этот лед.

Но мы не созданы для радости беспечной,
Как туча в небесах, как ветер и вода:
Душа должна любить и покоряться вечно, —
Она свободною не будет никогда!

<1892>

ПАРФЕНОН

Мне будет вечно дорог день,
Когда вступил я, Пропилеи,
Под вашу мраморную сень,
Что пены волн морских белее,
Когда, священный Парфенон,
Я увидел в лазури чистой

Впервые мрамор золотистый
Твоих божественных колонн,
Твой камень, солнцем весь облитый,
Прозрачный, теплый и живой,
Как тело юной Афродиты,
Рожденной пеною морской.
Здесь было все душе родное,
И Саламин, и Геликон,
И это море голубое
Меж белых, девственных колонн.
С тех пор душе моей святыня,
О скудной Аттики земля, —
Твоя печальная пустыня,
Твои сожженные поля!

1892

Ионическое море

НАДЕЖДА

Надежда милая, нельзя тебя убить!
Ты кажешься порой мне страшною химерой,
И все-таки я полн беспомощною верой.
Несчастная! как я, должна ты лгать, чтоб жить.

Ты в рубище зимой встречалась мне порою
На снежных улицах, в мерцанье фонаря;
Как изгнанная дочь великого царя,
С очами гордыми, с протянутой рукою.

И каждый раз, глупец, я брал тебя домой,
И посиневшие от холода, в тревоге,
Отогревал в руках твои босые ноги;
И рад был, что ты вновь смеешься надо мной.

На золотых кудрях еще снежинки тают,
Но мой очаг горит, наполнен мой бокал...
Мне кажется, что я давно тебя искал...
И легкою чредой мгновенья улетают.

Я знаю, что меня ты к бездне приведешь,
Но сердцу надо быть счастливым хоть ошибкой,

Я знаю, что ты — смерть, я знаю, что ты — ложь,
И все-таки тебя я слушаю с улыбкой.

Уйди, оставь меня! Что значит эта власть?
Но нет, ты не уйдешь — до вечного порога.
Я проклинал любовь, и проклинал я Бога,
А не могу тебя, безумную, проклясть.

25 сентября 1894

СТАРОСТЬ

Чем больше я живу — тем глубже тайна жизни,
Тем призрачнее мир, страшней себе я сам,
Тем больше я стремлюсь к покинутой отчизне —
К моим безмолвным небесам.

Чем больше я живу — тем скорбь моя сильнее,
И неотзывчивей на голос дальних бурь,
И смерть моей душе все ближе и яснее,
Как вечная лазурь.

Мне юности не жаль: прекрасней солнца мая,
Мой золотой сентябрь, твой блеск и тишина.
Я не боюсь тебя, приди ко мне, святая,
О, Старость, лучшая весна!

Тобой обвеянный, я снова буду молод
Под светлым инеем безгрешной седины,
Как только укротит во мне твой мудрый холод
И боль, и бред, и жар весны!

1 января 1894

РОДНИК

Где ствол сосны гнилой над кручей
Корнями мшистыми поник,
Бежит холодный и певучий
Неиссякаемый родник.

Я видел: на песке размытом
Тяжелогогий сонный вол,

Оставив грубый след копытом,
В струи кощунственно вошел.

И вдруг источник помутился,
И в нём померкли небеса,
Но скоро вновь он покатился
Волною чистой, как слеза.

Смотри, — он царственно ответил
На зло добром, — учись, поэт:
Как он, будь щедр, глубок и светел
И помни, что награды нет.

1893

СЕЯТЕЛЬ

Над холмами полосую
Побелел восток вдали,
Дышат сыростью ночною
Глыбы вспаханной земли.

Видишь, мерными шагами
Ходит сеятель в полях.
Тишина, как в Божьем храме,
На земле и в небесах.

Все кругом священным страхом,
Как пред таинством, полно,
И руки спокойным взмахом
Рассеивает он зерно.

И для труженика снова
Грудь земли родить должна,
Жатву хлеба золотого
Из погибшего зерна,

Созидаю жизнь из смерти,
Пред лицом святых небес,
О, молитесь же и верьте:
Это — чудо из чудес!

12 августа 1892

НИЩИЙ

Вижу ль в скорбных лицах муку,
Мимо ль нищего иду
И в протянутую руку
Лепту жалкую кладу, —

За беспечною толпою
Тороплюсь, потупив взгляд,
Словно в чем-то пред тобою
Я глубоко виноват.

Ты молил меня напрасно,
Брат мой, именем Христа!
Сердце мертвое бесстрастно,
И молчат мои уста.

С безнадежною тоскою
И с неверьем подаю
Я не братскою рукою
Лепту скудную мою.

Лучше б гнев и возмущенье!
Ты же, кротко осеня
Лик крестом, благословенье
Призываешь на меня.

Пред собою лгать обидно:
Не люблю я никого, —
Только страшно, только стыдно
За себя и за него!

10 мая 1893

ИОВ

Библейская поэма

I

...И непорочного Иова струпьями лютой проказы
Бог поразил от подошвы ноги и по самое темя.
Иов сидел далеко за оградой селенья на пепле.

Острую взял он себе черепицу скоблить свои раны.
Молвит жена ему: «Все еще тверд ты в своем благочестье?
Встань и Творца похули, чтоб тебе умереть». Но смиренно
Иов жене отвечает: «Я доброе принял от Бога,
Должно и злое принять: да исполнится воля Господня!»

Мудрый Софар, Елифаз из Темани, Вилдат из Савхеи
10 Вместе сошлись, чтобы сетовать с ним, утешая страдальца.

Очи подняв, издали не узнали несчастного друга.
Жалобный голос возвысили, ризы свои разодрали,
Стали рыдать, неутешные, пыль над главами бросая.
С Иовом рядом семь дней и ночей просидели в молчанье:
Слова никто не сказал, оттого что страдание было
Слишком велико. И первый открыл он уста и промолвил:

II

И о в

Да будет проклятым навек
Тот день, как я рожден для смерти и печали,
Да будет проклятой и ночь, когда сказали:
20 «Зачался человек».
Теперь я плачу и тоскую:
Зачем сосал я грудь родную,
Зачем не умер я: лежал бы в тишине,
Дремал — и было бы спокойно мне.
И почивал бы я с великими царями,
С могучими владыками земли, —
Победоносными вождями,
Что войны некогда вели,
Копили золото и строили чертоги...
30 Я был бы там, где нет тревоги,
Где больше нет вражды земной,
Где равен малому великий,
Вкушают узники покой
И раб свободен от владыки...
На что мне жизнь, на что мне свет?
Как знойным полднем изнуренный,
Тоскуя, тени ждет работник утомленный,
Я смерти жду, — а смерти нет.
О, если б на меня простер Ты, Боже, руку
40 И больше страхом не томил, —

Чтоб кончить сразу жизнь и муку,
Одним ударом поразил.

Е л и ф а з

Ужель ты праведней Отца вселенной,
Ужель на суд Его зовешь?
Зачем же с речью дерзновенной
Ты против Бога восстаешь?
Безумец тот, кто не склоняет
Во прах главы перед Творцом.
Когда и небеса нечисты пред лицом
50 Всевышнего, когда не доверяет
Он даже ангелам Своим, —
То как же чистым быть пред Ним
Тому, кто рвется на свободу,
В темницу плоти заключен,
Тому, кто женщиной рожден
И беззаконье пьет, как воду?

И о в

О да, над бездной Бог грядет.
Столпы земли передвигает,
Печать на звезды налагает,
60 Прикажет, — солнце не взойдет.
Он пронесется, — не замечу,
Захочет взять, — кто запретит?
Он спросит, — как ему отвечу,
Накажет, — кто меня простит?
Пред взором мудрости Господней
Открыты тайны преисподней,
И херувимы, падши ниц,
Не открывая в страхе лиц,
Трепещут у Его подножья,
70 И полон мир Его чудес,
И все величие небес —
От дуновенья Духа Божья.
Жив мой Создатель, жив Господь,
Мой Бог, суда меня лишивший,
Мне душу скорбью омрачивший:
Его нельзя мне побороть.
Но пусть страдаю, неутешный, —
Я вашей лжи не потерплю,
И правоты моей безгрешной,

80 Пока я жив, не уступлю.
Голодных я кормил, я утолял печали,
Я утешал больных, для сирот был отец,
И чресла бедняков меня благословляли,
Согретые руном моих овец.
За щедрость в дни былые славил
По всей земле меня народ.
В тени вечерней у ворот
Мое седалище я ставил.
И юноши ко мне, и старцы, приходя,
90 В благоговении молчали,
И слов моих смиренно ждали,
Как благодатного дождя.
За что же ныне я в позоре,
Людьми отвергнутый, живу,
На знаю, где в слезах и горе
Склонить бездомную главу.
В пыли, со струпами на почернелой коже,
Сижу и думаю: меня утешит ложе.
Но Бог виденьями путает и во сне.
100 И ночью холодно в разорванных одеждах,
Во мне страдает дух, и плоть болит во мне,
Тень смерти — на усталых веждах.
И все-таки я прав, я чист перед Тобой,
Не ведаю, Господь, за что терплю мученье.
Земля, ты кровь мою невинную не скрой, —
Да вопиет она о мщенье!

В и л д а т

Скажи, ты видел ли, чтоб Бог вознаграждал
Людей жестоких и лукавых,
Чтоб Он поддерживал неправых
110 И непорочных отвергал?
О нет, — в шатре у беззаконных
Померкнет радостный очаг,
Он восстановит угнетенных,
И будет к праведному благ,
И суд рабам Своим дарует.
Но кары Божьей не минует
Творящий темные дела:
Когда в броне он бесполезной
Уйдет от палицы железной,
120 Настигнет медная стрела:

За грех твой скорбь вошла в обитель
И за вину твоих детей
Рукою любящей Своей
Тебя карает Вседержитель.
Терпи, смирайся и молчи.

И о в

- Все утешения напрасны,
О бесполезные врачи!
Шатры злодеев — безопасны,
Дома грабителей полны
130 Благословенной тишины.
Я знаю: правды нет, и все ж о ней тоскую,
Без правды жить я не хочу,
Лишь только вспомню — негодую
И содрогаюсь, и ропщу.
Не буду я молчать, не буду покоряться,
Невинен я, — и пусть меня накажет Бог.
О, если б с Ним я только мог,
Как равный с равным, состязаться!
Но нет возмездья, нет суда.
140 Ужель Он праведных не любит,
И злых, и добрых вместе губит?
Зачем, о Господи, не ведает труда
И богатеет нечестивый?
Зачем обильный плод ему приносят нивы,
И множатся в полях его стада?
Зачем преступные живут среди веселий,
Пируют, смерти не боясь?
Их дети прыгают, смеясь,
Под звук тимпана и свирели.
150 Господь забыл Своих рабов,
Он не поможет угнетенным,
Он не утешит бедняков, —
Он землю отдал беззаконным.
И отторгают от сосцов
Младенцев плачущих, живут под кровом неба
Нагие без одежд, голодные без хлеба.
Меж тем, как должен быть злодей
Соломенкой, Господь, в живой руке Твоей,
Былинкой, ветром уносимой, —
160 Он жизнь кончает, невинный.
«Его потомству Бог возмездье бережет», —

Так кто-нибудь из вас мне скажет.
Но пусть и сам злодей от мести Божьей пьет,
Пускай Господь самих грабителей накажет,
А до детей и до грядущих бед
Им после смерти — дела нет.
Скопилось в мире слишком много
Неотомщаемых обид, —
И это видят очи Бога,
170 Он это терпит и молчит!

С о ф а р

Не говори, что Бог несправедлив,
Но люди Вечного постигнуть не умеют.
Лишь сердцем мудрые, гордыню укротив,
Пред Ним благоговеют, —
Затем, что свят Его закон,
И в сонме ангелов небесных
Он страшным для очей телесных
Великолепьем окружен.
И если б отнял Он на миг Свое дыханье,
180 И сердце обратил к Себе Господь, —
Погиб бы человек и всякое созданье,
И возвратилась бы во прах живая плоть.
Ты сам избрал свою дорогу:
На бремя жизни не ропщи.
Будь добрым для себя, не угождая Богу,
И за добро свое награды не ищи.
Мы по земле пройдем, как тени,
Учись у древних мудрецов,
Учись у прошлых поколений,
190 У наших дедов и отцов.
А мы — вчерашние и ничего не знаем,
Во всем ничтожные — во благе и во зле,
Мы, не достигнув на земле
Ни мудрости, ни счастья, — умираем.

И о в

О, если б мог судьбой я поменяться с вами,
Не так же ли, как вы, главой бы я кивал,
Старался бы помочь в страданиях словами,
Движеньем губ вас утешал.
Но тот, чье сердце в счастье дремлет,
200 Понять чужую скорбь не может никогда.

Кричу: обида! Бог не внимлет,
 Я вопию, — и нет суда.
 И что мы — для Него? Зачем подстерегает,
 Зачем испытывает нас
 Он каждый день и каждый час,
 И мстит, и горечью нам душу пресыщает?
 Не Ты ль образовал, скрепил костями плоть,
 И жизнь не Сам ли Ты вдохнул в меня, Господь,
 Не Ты ли надо мной трудился, как ваятель?
 210 За что невинного губить?
 Ужели хочешь истребить
 Ты дело рук Твоих, Создатель?
 И в нескончаемой борьбе
 Зачем меня врагом поставил Ты Себе?
 Кого преследуешь? Как ураган — пылинку,
 Меня похитит смерть. Я слаб и одинок.
 Не гонишь ли, Господь, Ты сорванный листок,
 Не сокрушаешь ли увядшую былинку?
 Кто знает, доживу ль до завтрашнего дня.
 220 Вот скоро я умру, — поищешь, — нет меня.
 Уйду — и не вернусь — в страну могильной сени,
 В страну безмолвия и ужаса, и тени.
 Когда могучий ствол повалит дровосек,
 Еще надежда есть, что вновь зазеленеет
 Полузасохший пенёк и даст живой побег,
 Как только брызнет дождь и сыростью повеет;
 А если человек с лица земли исчез, —
 Он не вернется вновь, из гроба не воспрянет,
 Во прахе ляжет и не встанет
 230 Он до скончания небес.
 О, если у Тебя могущество и благодать,
 Господь, что значит грех людей,
 Зачем бы не простить и осуждений тягость
 Не снять с души моей?
 Ответ же, выслушай, Владыка, оправданье,
 Иль лучше, — нет, оставь, оставь меня, забудь,
 Чтоб мне опомниться, перевести дыханье,
 Не мучай, отступи и дай мне отдохнуть!

III

240 Смертному Бог отвечал несказанным глаголом из бури.
 Иов лежал пред лицом Иеговы в прахе и пепле:

«Вот я ничтожен, о Господи! Мне ли с Тобою бороться?

Руку мою на уста полагаю, умолкнув навеки».

Но против воли, меж тем как лежал он во прахе

и пепле, —

Ненасыщенное правдою сердце его возмущалось.

Бог возвратил ему прежнее счастье, богатство умножил.

Новые дети на празднике светлом опять пировали.

Овцы, быки и верблюды в долинах паслись безмятежных.

Умер он в старости, долгими днями вполне насыщенный,

И до колена четвертого внуков и правнуков видел.

250 Только в морщинах лица его вечная дума

таилась,

Только и в радости взор омрачен был неведомой

скорбью:

Тщетно за всех угнетенных алкала душа его правды, —

Правды Господь никому никогда на земле не откроет.

1892

ИЗ «СОБРАНИЯ СТИХОВ» (1904),
«СОБРАНИЯ СТИХОВ» (1910)
и «ПОЛНОГО СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ» (1912)

Так жизнь ничтожеством страшна,
И даже не борьбой, не мукой,
А только бесконечной скукой
И тихим ужасом полна,
Что кажется — я не живу,
И сердце перестало биться,
И это только наяву
Мне все одно и то же снится.
И если там, где буду я,
Господь меня, как здесь, накажет —
То будет смерть, как жизнь моя,
И смерть мне нового не скажет.

3 июля 1900

ДВОЙНАЯ БЕЗДНА

Не плачь о неземной отчизне
И помни, — более того,
Что есть в твоей мгновенной жизни,
Не будет в смерти ничего.

И жизнь, как смерть, необычайна...
Есть в мире здешнем — мир иной.
Есть ужас тот же, та же тайна —
И в свете дня, как в тьме ночной.

И смерть и жизнь — родные бездны:
Они подобны и равны,

Друг другу чужды и любезны,
Одна в другой отражены.

Одна другую углубляет,
Как зеркало, а человек
Их соединяет, разделяет
Своею волею навек.

И зло, и благо, — тайна гроба
И тайна жизни — два пути —
Ведут к единой цели оба.
И все равно, куда идти.

Будь мудр, — иного нет исхода.
Кто цепь последнюю расторг,
Тот знает, что в цепях свобода
И что в мучении — восторг.

Ты сам — свой Бог, ты сам свой ближний,
О, будь же собственным Творцом,
Будь бездной верхней, бездной нижней,
Своим началом и концом.

Между 1895 и 1899

ТРУБНЫЙ ГЛАС

Под землею слышен ропот,
Тихий шелест, шорох, шепот.
Слышен в небе трубный глас:
— Брат, вставай же, будят нас.
— Нет, темно еще повсюду,
Спать хочу и спать я буду,
Не мешай же мне, молчи,
В стену гроба не стучи.
— Не заснешь теперь, уж поздно.
Зов раздался слишком грозно,
И встанут вблизи, вдали,
Из разверзшейся земли,
Как из матерней утробы,
Мертвецы, покинув гробы.
— Не могу и не хочу,

Я закрыл глаза, молчу,
Не поверю я обману,
Я не встану, я не встану.
Брат, мне стыдно — весь я пыль,
Пыль и тлен, и смрад, и гниль.
— Брат, мы Бога не обманем,
Все проснемся, все мы встанем,
Все пойдем на Страшный суд.
Вот престол уже несут.
Херувимы, серафимы.
Вот наш царь дориносимый.
О, вставай же — рад не рад,
Все равно ты встанешь, брат.

27 мая 1901

МОЛИТВА О КРЫЛЬЯХ

Ниц простертые, унылые,
Безнадежные, бескрылые,
В покаянии, в слезах, —
Мы лежим во прахе прах,
Мы не смеем, не желаем,
И не верим, и не знаем,
И не любим ничего.
Боже, дай нам избавленья,
Дай свободы и стремленья,
Дай веселья Твоего.
О, спаси нас от бессилья,
Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья духа Твоего!

<1902>

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Глядим, глядим все в ту же сторону,
За мшистый дол, за топкий лес,
Вослед прокаркавшему ворону,
На край темнеющих небес.
Давно ли ты, громада косная

В освобождающей войне,
Как Божья туча громоносная,
Вставала в буре и в огне?

О, Русь! И вот опять закована,
И безглагольна, и пуста,
Какой ты чарой зачарована,
Каким проклятьем проклята?

А все ж тоска неодолимая
К тебе влечет: прими, прости.
Не ты ль одна у нас, родимая,
Нам больше некуда идти.

Так, во грехе тобой зачатые,
Должны с тобою погибать
Мы, дети, матерью проклятые
И проклинаящие мать.

28/15 сентября 1909
Веймар

СТАРИННЫЕ ОКТАВЫ

(Octaves du passe)

ПЕСНЯ ПЕРВАЯ

I

Хотел бы я начать без предисловья,
Но критики на поле брани ждут,
Как вороны, добычи для злословья,
Слетаются на каждый новый труд
И каркают. Пошли им Бог здоровья.
Я их люблю, хотя в их толк и суд
Не верю: все им только брани повод...
Пусть вьется над Пегасом жадный овод.

II

Обол — Харону: сразу дань плачу
Врагам моим. В отваге безрассудной
Писать роман октавами хочу.

От стройности, от музыки их чудной
Я без ума; поэму заключу,
В стесненные границы меры трудной.
Попробуем, — хоть вольный наш язык
К тройным цепям октавы не привык.

III

Чем цель трудней — тем больше нам отрады:
Коль женщина сама желает пасть,
Победе слишком легкой мы не рады.
Зато над сердцем непокорным власть,
Сопротивление, холод и преграды
Рождают в нас мучительную страсть:
Так не для всех доступна, величава,
Подобно гордой женщине, — октава.

IV

Уж я давно мечтал о ней: резец
Ваятеля пленяет мрамор твердый.
Поборемся же с рифмой, наконец,
Чтоб победить язык простой и гордый.
Твою печаль баюкают, певец,
Тройных созвучий полные аккорды,
И мысль они, как волны, вдалеку несут,
Одна другой, звуча, передают.

V

Но чтобы труд был легок и приятен,
Я должен знать, что есть в толпе людей
Душа, которой близок и понятен
Я с Музою отвергнутой моей.
Да будет же союз наш благодатен,
Читатель мой: для двух или трех друзей
Бесхитростный дневник пишу, не повесть.
Зову на суд я жизнь мою и совесть.

VI

И не боюсь оружие дать врагу:
Не все ли мы у смерти, — у преддверья

Верховного Суда? — я не солгу,
В словах моих не будет лицемерья:
Что видел я, что знаю, как могу,
Без гордости, стыда иль недоверья,
Тому, кто хочет слышать, расскажу, —
Живым — живое сердце обнажу.

VII

Тревоги страстной, бурной и весенней
Я не люблю: душа моя полна
И ясностью, и тишиной осенней...
О, вечная, святая тишина:
Час от часу светлей и вдохновенней
Мне прошлой темной жизни глубина:
Там, в сумраках, горит воспоминанье,
Как тихое, вечернее сиянье.

VIII

От шума дня, от клеветы людской,
От глупых ссор полемики журнальной
Я уношусь к младенчеству душой —
Туда, туда, к заре первоначальной.
Уж кроткая Богиня надо мной
Поникла вновь с улыбкою печальной,
И я, как в небо, в очи ей смотрю,
О чистых днях, о детстве говорю.

IX

От Невского с его толпою чинной
Я ухожу к Неве, прозрачным льдом
Окованной: люблю гранит пустынный
И Летний сад в безмолвии ночном.
Мне памятен печальный и старинный,
Там, рядом с мостом, двухэтажный дом:
Во дни Петра вельможею построен,
Он — неуклюж, и мрачен, и спокоен.

X

Свидетель грустный юных лет моих,
Вдали от жизни, суеты и грома

Столичного, по-прежнему он тих.
Там сердцу мелочь каждая знакома:
Узор обоев в комнатах больших,
Подъезд стеклянный, двор и окна дома.
Не радостный, но милый мне приют,
Где бледные видения встают.

XI

Забытые молитвы, сказки няни
С улыбкою твержу я наизусть,
Там, в детстве, счастья было мало, — пусть!
Как сумрак лунный, даль воспоминаний
В поэзию, в пленительную грусть
Все обращает — радость и мученье:
В душе моей — великое прощенье.

XII

Чиновником усердным был отец,
В делах, в бумагах канцелярских меру
Земных трудов свершил и наконец,
Чрез все ступени трудную карьеру
Пройдя, упорной воли образец,
Был опытен, знал жизнь, людей и веру,
Ничем не сокрушимую, питал
В практический суровый идеал.

XIII

Любил семью, — для нас он жил на свете;
Был сердцем добр, но деловит и строг.
Когда порой к нему являлись дети,
Он с ними быть как с равными не мог.
Я помню дым сигары в кабинете,
Прикосновение желтых бритых щек,
Холодный поцелуй, — вся нежность наша —
В словах «bonjour» иль «bonne nuit¹, папаша».

XIV

И скукою томительной царил
В семье казенный дух, порядок вечный.

¹ Здравствуйте, спокойной ночи (фр.).

Он все копил, он все для нас копил,
Но наших игр и болтовни беспечной,
И хохота, и шума не любил,
Подозревая в нежности сердечной
Лишь баловства избыток иль причуд,
Смотря на жизнь как на печальный труд.

XV

Не тратилось на нас копейки лишней.
Коль дети мимо кабинета шли,
Как можно незаметней и неслышной
Старались проскользнуть; от всех вдали,
Хранимые лишь волею Всевышней,
Мы в куче десять человек росли,
Покинутые немке и природе,
Как овощи в забытом огороде.

XVI

Володя, Саша, Надя... без конца, —
И в этом мертвом доме мы друг друга
Любили мало; чтоб звонком отца
Не потревожить, так же как прислуга,
Мы приходили с черного крыльца.
А между тем, не ведая досуга,
Здоровья не щадя, отец служил
И все копил, он все для нас копил.

XVII

Под бременем запасов гнулись полки
В березовых шкапах — меха, фарфор,
Белье, игрушки, лакомства для елки.
Зайдешь, бывало, в пыльный коридор,
Во внутренность шкапов глядишь сквозь щелки,
И то, чего не видишь, манит взор,
И чувствуешь в восторге молчаливом,
То миндалем пахнет, то черносливом.

XVIII

Я с ключницей всегда ходить был рад
В таинственный подвал, где кладовая.

Здесь тоже длинные шкапы стоят;
На мрачных сводах — плесень вековая,
Мешков с картофелем и банок ряд...
Трещит тихонько свечка, догорая,
И мышь из-под огромного куля
На нас глядит, усами шевеля.

XIX

И только раз в году на именинах
Вся роскошь вдруг являлась на столе.
Сидели дамы в пышных кринолинах
И старички — ряд лиц, как в полумгле
На старомодных, выцветших картинах...
И в мараскинном трепетном желе
Свеча, приятным пламенем краснея,
Мерцала — тонких поваров затея.

XX

Но важный вид гостей пугал меня...
Холодных блюд — остатков именинной
Трапезы нам хватало на три дня.
Все приходило вновь в порядок чинный:
Сестра сидела, скучный вид храня,
С учительницей музыки в гостиной, —
Навстречу ранним пасмурным лучам
Был слышен звук однообразных гамм.

XXI

Унылый знак привычек экономных, —
Торжественная мебель — вся в чехлах.
Но чудилась мне тайна в нишах темных,
В двух гипсовых амурах, в зеркалах,
В чуланах низких, в комнатах огромных,
Все навевало непонятный страх;
И скучную казенную квартиру
Уподоблял я сказочному миру.

XXII

Мне жития угодников святых
Рассказывала няня, как с бесами

Они боролись в пустынях глухих.
Почтенная старушка в бедном хламе
Меж душегреек в сундуках своих
Хранила четки, ладонку с мощами
И крестика афонского янтарь.
Я узнавал, как люди жили встарь;

XXIII

Как некое заклятие трикраты
Монах над черным камнем произнес
И в воздухе рассыпался проклятый,
Подобно стае воронов, утес;
Я слушал няню, трепетом объятый
И любопытством, полный чудных грез,
От ужаса я «Отче наш» в кровати
Твердил всю ночь в мерцании лампадки.

XXIV

Познал я негу безотчетных грез,
Познал я грусть, — чуть вышел из пеленок.
Рождало все мучительный вопрос
В душе моей; запуганный ребенок,
Всегда один, в холодном доме рос
Я без любви, угрюмый, как волчонок,
Боясь лица и голоса людей,
Дичился братьев, бегал от гостей

XXV

И ждал чудес в тревоге непрестанной:
Порой не мог заснуть и весь дрожал,
Все кто-то длинный, длинный и туманный,
Чернее мрака в комнате стоял...
Мне ужас веял в душу несказанный,
И громко звал я няню и кричал.
И старшие, вокруг моей постели,
То на меня сердились, то жалели.

XXVI

И лакомств мне давала мать, отец
Шутил; его насмешливые речи

Я слушал молча, бледный, как мертвец.
И приносили в спальню лампы, свечи:
«Вон там, в углу... смотрите!..» —
Наконец Он исчезал; но жду я новой встречи
С Неведомым и знаю, что опять
Его пред смертью должен увидеть.

XXVII

С тех пор доныне в бурях и в покое,
Бегу ли я в толпу или под сень
Дубрав пустынных, — чую роковое
Всегда, везде, — и в самый светлый день.
То древнее, безумное, ночное
Присутствует в душе моей, как тень,
Как ужаса непобедимый трепет,
Как вещей Парки неотвязный лепет.

XXVIII

Но, на прогулку с нянею спеша,
В знакомой лавке у Цепного моста
Я покупал себе на два гроша
Коврижки белой, твердой, как береста,
И, утреннею свежестью дыша,
Опять на мир смотрел легко и просто;
И для меня был счастья венец
Малиновый прозрачный леденец.

XXIX

В суровом доме, мрачном, как могила,
Во мне лишь ты, родимая, спасла
Живую душу, и святая сила
Твоей любви от холода и зла,
От гибели ребенка защитила;
Ты ангелом-хранителем была,
Многострадальной нежностью твоею
Мне все дано, что в жизни я имею.

XXX

Отец сердился, вредным баловством
Считал любовь; бывало, ты укладкой

Меня спешила осенить крестом,
Склонясь в лампадном свете над кроватью,
И засыпал я безмятежным сном
При шепоте твоей молитвы сладкой,
Но чувствовал сквозь поцелуй любви
Я жалобы безмолвные твои.

XXXI

Однажды, денег взяв Бог весть откуда,
Она тайком осмелилась купить
Игрушку мне, чудесного верблюда;
Отец увидел, стал ее бранить.
Внутри была бисквитов сладких груды:
И жадности не мог я победить, —
За мать страдая, молча, — как убитый,
Я с горькими слезами ел бисквиты.

XXXII

Когда на службе был отец с утра,
Мать в кабинет за стол меня пускала.
Я помню дел казенных нумера,
Сургуч, портрет старинный генерала,
Из хризолита ручку для пера,
Из камня цвета млечного опала
Коробочку для марок, нож, бювар,
Карандаши и ящик для сигар:

XXXIII

Предметы жадных, робких наслаждений!..
Но как-то раз я рукавом свалил
Чернильницу с головкою оленьей:
Ни жив ни мертв, смотрю, как потопил
(Что мне казалось верхом преступлений)
Зеленое сукно поток чернил.
Вдруг — голоса, шаги отца в передней;
Вот, думаю, пришел мой час последний.

XXXIV

Я убежал, чтоб грозного лица
Не увидеть; и начались упреки,

Неумолимый гневный крик отца,
На трату денег вечные намеки,
И оправдания мамы без конца.
Я понимал, что грубы и жестоки
Его слова, и слышал я мольбы,
Усилия беспомощной борьбы...

XXXV

В них — долгих лет покорная усталость —
Хотя бы мог я розог ожидать, —
Лишь простоял в углу за эту шалость:
Спасла меня заступничеством мать.
Я чувствовал мучительную жалость,
Семейных драм не в силах угадать, —
За маму, тихий и покорный с виду,
Я затаил в душе моей обиду.

XXXVI

И с нею вместе я жалел себя:
Под одеялом спрятавшись в кровати,
Молился я, родная, за тебя,
Твой поцелуй в бреду и лихорадке,
Твое дыхание чувствовал, любя:
Так жгучие те слезы были сладки,
Что, все прощая, думал об отце
Я с радостной улыбкой на лице.

XXXVII

Он не чины, не ордена, не ленты
Наградой трудов своих считал:
В невидимо растущие проценты,
В незыблемый и вечный капитал,
В святыню денежных бумаг и ренты,
Как в добродетель, веру он питал,
Хотя и не был скуп, но слишком долго
Для денег портил жизнь из чувства долга.

XXXVIII

Чиновник с детства до седых волос,
Житейский ум, суровый и негибкий,

Не думая о счастье, молча нес
Он бремя скучной жизни без улыбки,
Без малодушья ропота и слез,
Не ведая ни страсти, ни ошибки.
И добродетельная жизнь была —
Как в серых мутных окнах — дождь и мгла.

XXXIX

Крутом в семье царила безмятежность:
Детей обилие — Божья благодать, —
Приличная супружеская нежность.
За нас отец готов был жизнь отдать...
Но, вечных мук предвидя неизбежность,
Уже давно им покорилась мать:
В хозяйстве, в кухне, в детской мелочами
Ее он мучил целыми годами.

XL

Без горечи не проходило дня.
Но с мужеством отчаянья, ревниво,
Последний в жизни уголок храня,
То хитростью, то лаской боязливой
Она с отцом боролась за меня.
Он уступал с враждою молчаливой,
Но дружба наша крепла, и вдвоем
Мы жили в тихом уголке своем.

XLI

С ним долгий путь она прошла не даром:
Я помню мамы вечную мигрень,
В лице уже больном, хотя не старом,
Унылую, страдальческую тень...
Я целовал ей руки с детским жаром, —
Духи я помню, — белую сирень...
И пальцы были тонким цветом кожи
На руки девственных Мадонн похожи...

XLII

О, только бы опять увидеть вас
И после долгих, долгих дней разлуки

Поцеловать еще единый раз,
Давно в могиле сложенные руки!
Когда придет и мой последний час, —
Ужели там, где нет ни зла, ни муки, —
Ужель напрасно я, горя, жду, —
Что к вам опять устами припаду?

XLIII

Отец по службе ездил за границу,
На попеченье старой немки дом
С детьми покинув; и старушка в Ниццу
Писала аккуратно обо всем.
Порой от мамы нежную страницу
С отцовским кратким деловым письмом
И с ящиком конфет мы получали,
И забывал я о моей печали.

XLIV

Бывало, с горстью лакомых конфет,
С растрепанным арабских сказок томом
Садился я туда, где ярче свет
Знакомой лампы на столе знакомом,
И большего, казалось, счастья нет,
Чем шоколад с благоуханным ромом.
Был сумерек уютный тихий час;
В стекле шумел голубоватый газ.

XLV

Я до сих пор люблю, Шехеразада,
Твоих султанов, евнухов и жен,
Скитаньями волшебными Синдбада
И лампой Аладдиновой пленен.
Порой — увы! — среди чудес Багдада
Я, лакомством и книгой увлечен,
Мать забывал, как забывают дети, —
Как будто не было ее на свете,

XLVI

И только в горе вспоминал опять.
Из Ревеля почтенная старушка

Умела так хозяйством управлять,
Чтоб лишняя не тратилась полушка:
Случится ль детям что-нибудь сломать,
В буфете ль чая пропадет осьмушка, —
Она весь дом бранила без конца,
Предвидя строгий выговор отца.

XLVII

Я помню туфли, темные капоты,
Седые букли, круглые очки,
Чепец, морщины, полные заботы,
И ночью трепет старческой руки,
Когда она записывала счета
И все твердила: «Рубль за башмаки...
Картофель десять, масло три копейки...»
И цифру к цифре ставила в линейки.

XIVIII

Старушки тень я видел на стене
Огромную, поднять не смея взгляда:
И магией порой казались мне
Все эти банки, шпильки и помада,
Щипцы на свечке в трепетном огне, —
От них знакомый едкий запах чада:
Она седую жиденькую прядь
Привыкла на ночь в букли завивать.

XLIX

До старости была она кокеткой:
И, сморщившись давно и пожелтев, —
Хотя у нас бывали гости редко, —
С лукавством трогательным старых дев
Шиньон свой древний, с новой черной сеткой,
На голову дрожащую надев,
Еще пришиллит красненькую ленту,
И как бедняжка рада комплименту!

L

Душа моя печальна и светла,
И жалко мне моей старушки дряхлой.

Священна жизнь, хотя бы то была
Невидимая жизнь былинки чахлой.
Мы любим, славя громкие дела,
Чтоб от людей великих кровью пахло, —
Но подвиг есть и в серых скучных днях,
В невидимых презренных мелочах.

LI

Старушки взгляд всегда был жив и зорок:
К нам девушкой молоденькой вошла
И поседела, сгорбилась, лет сорок
С детьми возилась, жизнь им отдала.
Ей каждый грош чужой был свят и дорог...
Амалии Христьяновне — хвала:
Она свершила подвиг без награды,
Как мало в жизни было ей отрады!

LII

Как много скуки, горестных минут,
Людских обид, и холода, и злости!
И вот она забыта, и гниют
В неведомой могиле на погосте,
Найдя последний отдых и приют,
Измученные старческие кости...
Как по земле — теней людских тьмы тем,
И ты прошла, — Бог весть куда, зачем...

LIII

Увы, что значит эта жизнь? Над нею,
Как над загадкой темною, стою,
Мучительней, чем над судьбой твоею,
Герой бессмертный, — душу предаю
Вопросам горьким, отвечать не смею...
Неведомых героев я пою.
Простых людей, о, Муза, помоги мне
Восславить миру в сладкозвучном гимне.

LIV

Да будут же стихи мои полны
Гармонией спокойной и унылой.

Ничтожество могильной тишины
Мгновенный шум великих дел покрыло:
Последний будет первым, — все равны.
Как то поют, что в Древнем Риме было, —
В торжественных октавах я пою
Амалию Христьяновну мою.

LV

Старушка Эмма у нее гостила
В очках и тоже в буклях, как сестра.
Я помню всех, кого взяла могила,
Как будто видел лица их вчера.
Амалия Христьяновна любила,
С ней наслаждаясь кофеем с утра
И ревельскими кильками в жестянках, —
Посплетничать о кухне и служанках.

LVI

Был муж ее предобрый старичок
В ермолке, с трубкой; кофту, вместо шубы,
Он надевал и длинный сюртучок,
С улыбкой детской морщил рот беззубый.
Пусть мелочи ненужных этих строк
Осудит век наш деловой и грубый, —
Но я люблю на прозе давних лет
Поэзии вечерний полусвет...

LVII

На Островах мы лето проводили:
Вокруг дворца я помню древний сад,
Куда гулять мы с нянею ходили, —
Оранжереи, клумбы и фасад
Двух флигелей в казенном важном стиле,
Дорических колонн высокий ряд,
Террасу, двор и палисадник тощий,
И жидкие елагинские рощи.

LVIII

Там детскую почувствовал любовь
Я к нашей бедной северной природе.

Я с прошлогодней ласточкою вновь
Здоровался и бегал на свободе,
И с радостным волнением морковь
И огурцы сажал на огороде,
Ходил с тяжелой лейкою на пруд:
Блаженством новым мне казался труд.

LIX

В двух грядках все заботы земледелья
Я находил, про целый мир забыв...
О, где же ты, безумного веселья
Давно уже неведомый порыв,
И суета, и хохот новоселья.
«Milch trinken, Kinder!»¹ — форточку открыв,
За шалость детям погрозив сначала,
Амалия Христьяновна кричала.

LX

И ласточек, летевших через двор,
Был вешний крик пронзителен и молод...
Я помню первый чай на даче, сор
Раскупоренных ящиков и холод
Сквозного ветра, длинный коридор
И после игр счастливый, детский голод,
И теплый хлеб с холодным молоком
В зеленых чашках с тонким ободком —

LXI

Позолоченным: их любили дети, —
Особенная прелесть в них была.
В сосновом, пахнущем смолой, буфете
Стоял сервиз для дачного стола.
С тех пор забыл я многое на свете —
Любовь, обиды, важные дела,
Но, кажется, до смерти помнить буду
Ту милую зеленую посуду.

LXII

И связан с ней был чудный летний сон,
Всегда один и тот же, мимолетней,

¹ Пить молоко, дети! (Нем.)

Чем облачные тени, озарен
Таинственным лучом, — и беззаботней
Я ничего не знаю: дальний звон,
Как будто тихий благовест субботний...
Большая комната, — где солнца нет,
Но внутренний прозрачно-мягкий свет...

LXIII

Гляжу на свет, не удивляясь чуду,
И не могу насытить жадный взор...
На длинных полках вижу я посуду, —
Пронизанный сиянием фарфор,
И золотой, и разноцветный, всюду —
На чашках белых тоненьких — узор...
Я — как в раю, — такая в сердце сладость
И чистота, и неземная радость.

LXIV

Той радостью душа еще полна,
Когда проснусь, бывало: я беспечен
И тих весь день под обаяньем сна.
Хотя для сердца памятен и вечен,
Как молодость, как первая весна, —
О, милый сон, ты был недолговечен
И в темные порочные года
Уже не повторялся никогда.

LXV

Я полюбил Эмара, Жюля Верна,
И Робинзон в те дни был мой кумир.
Я темными колодцами — безмерна
Их глубина — сходил в подземный мир,
И быстрота была неимоверна,
Когда помчался в бомбе чрез эфир
Я на Луну; мечтой любимой стали
Мне корабли подводные из стали.

LXVI

Я находил в елагинских полях
Пустынные и дикие Пампасы;

Блуждал — в приюте воробьев — в кустах
Черемухи, как Немо, Гаттерасы
Иль Робинзоны в девственных лесах.
Я ждал порой меж тощих пальм террасы
Среди безумных и блаженных игр,
Что промелькнет гиппопотам иль тигр.

LXVII

Я не забуду в темном переплете
Разорванных библиотечных книг.
Фантазия в младенческом полете
Не ведала покоя ни на миг:
Я жил в волненье вечном и заботе, —
Мне в каждой яме чудился тайник
И ход подземный в глубине сарая.
Как я мечтал, дрожа и замирая,

LXVIII

Как жаждал я открытья новых стран!
Готов принять был дачников семейных
За краснокожих, пруд — за океан,
И часто, полный грез благоговейных,
Заглядывал в таинственный чулан
С осколками горшков оранжерейных,
И, на чердак зайдя иль сеновал,
Америку, казалось, открывал.

LXIX

Я с братьями ходить любил по крыше,
Чтоб сапогами не греметь, — в чулках.
Я в ужасе просил их: «Тише, тише, —
Амалия Христьяновна!..» В ушах
Был ветра свист, и мне хотелось выше.
У спутников на лицах видел страх, —
Но сам душою, страху недоступной,
Я наслаждался волею преступной.

LXX

За погребом был гладкий, как стекло,
И сонный пруд; на нем плескались утки;

Плакучей ивы старое дупло,
Где свесились корнями незабудки,
Потопленное, мохом обросло;
Играют в тине желтые малютки —
Семья утят, и чертит легкий круг
По влаге быстрый водяной паук.

LXXI

Я с книгой так садился меж ветвями,
Чтоб за спиной конюшни были, дом
И клумбы, мне противные, с цветами,
И, видя только чашу ив крутом
И дремлющую воду под ногами,
Воображал себя в лесу глухом:
Так страстно мне хотелось, чтобы диким
Был Божий мир, пустынным и великим.

LXXII

И, каждой смелой веткой дорожа,
Я возмущался, что по глупой моде
Акации стригут или, служа
Казенному обычаю в природе, —
Метут в лесу тропинки сторожа.
Стремясь туда, где нет людей, к свободе, —
Прибив доску меж двух ветвей к сосне,
Я гнездышко устроил в вышине.

LXXIII

И каждый день взлезал к нему, как белка.
За длинною просекою вдали
Виднелася Елагинская Стрелка,
На бледном тихом взморье корабли;
Нева желтела там, где было мелко...
Как по дорожкам дачники ползли,
Я наблюдал с презреньем, горд и весел,
И голый сук казался мягче кресел.

LXXIV

Идет лакей придворный по пятам
Седой и чинной фрейлины-старушки...
Здесь модные духи приезжих дам —

И запах первых листьев на опушке,
И разговор французский — пополам
С таинственным пророчеством кукушки,
И смешанное с дымом папирос
Вечернее дыхание бледных роз...

LXXV

В оранжереи, к плотничьей артели
Я уходил: там острая пила
Визжала, стружки белые летели,
И с дерева янтарная смола,
Как будто кровь из раны в нежном теле,
Сияющими каплями текла;
Мне нравился их ярославский говор,
Когда шутил с работниками повар,

LXXVI

Спеша на ледник с блюдом через двор;
И брал от них рукою неискусной
Я долото, рубанок иль топор,
Из котелка любил я запах вкусный,
И щи, и ложек липовых узор;
При звуке песни их живой и грустной
Кого-то вдруг мне становилось жаль:
Я сердцем чуял русскую печаль...

LXXVII

Мы под дворцом Елагинским в подвале
Однажды дверь открытую нашли:
Мышей летучих тени ужасали,
Когда мы в темный коридор вошли;
Казалось нам, что лабиринт едва ли
Ведет не к сердцу матери-земли.
Затрепетав, упал от спички серной
На плесень влажных сводов луч неверный.

LXXVIII

Не долетает шум дневной сюда;
Столетним мохом кирпичи покрыты,

Сочится с низких потолков вода;
Сквозь щель, сияньем голубым облиты,
Роняя на пол слезы иногда,
Неровные белеют сталактиты
В могильном сне...
Как солнцу я был рад,
Из глубины подземной выйдя в сад.

LXXIX

Вдыхая запах влажный и тяжелый
Медовых трав, через гнилой забор
Перескочив, отважный и веселый,
В кустах малины крадусь я, как вор;
Над парником с жужжаньем вьются пчелы,
И, как рубин, висит, чаруя взор,
Под свежими пахучими листьями
Смородина прозрачными кистями.

LXXX

С младенчества людей пленяет грех:
Я с жадностью незрелый ем крыжовник,
Затем что плод запретный слаще всех
Плодов земных; царапает шиповник
Лицо мое, и, возбуждая смех
Напрасно пугало твое, садовник,
Как символ добродетели, стоит,
Храня торжественный и глупый вид.

LXXXI

Елагин пуст, — вдали умолк коляски
Последний гул, и белой ночи свет
Там, над заливом, полон тихой ласки,
Как неземной таинственный привет, —
Все мягкие болезненные краски...
Далекой тони черный силуэт,
Кой-где меж дач овес и тощий клевер...
Тебя я помню, бедный милый Север!

LXXXII

Когда сквозь дым полуденных лучей
С утесов Капри вижу даль морскую,

О сумраке березовых аллей
Я с нежностью задумчивой тоскую:
Люблю унынье северных полей
И бледную природу городскую,
И сосен тень, и с милой кашкой луг,
Люблю тебя, Елагин, старый друг.

LXXXIII

Но скоро дни забот пришли на смену
Веселым дням, и в мрачный старый дом
Вернулся вновь я к духоте и плену.
И в комнате перед моим окном
Неумолимую глухую стену
Доныне помню: вид ее знаком
До самых мелких трещинок и пятен,
Казенный желтый цвет был неприятен.

LXXXIV

Разносчицы вдали я слышать мог
Певучий голос: «Ягода морошка».
Небес едва был виден уголок
Над крышами, где пробиралась кошка
И трубочист; со сливками горшок
Кухарка ставит в ящик за окошко;
И как воркует пара голубей,
Я слышу в тихой комнате моей.

LXXXV

Когда же Летний сад увидел снова,
Я оценил свободу летних дней.
С презрением, не говоря ни слова,
Со злобою смотрел я на детей,
Играющих у дедушки-Крылова,
И, всем чужой, один в толпе людей,
Старался няню, гордый и пугливый,
Я увести к аллее молчаливой.

LXXXVI

В сквозной тени трепещущих берез
На мраморную нимфу или фавна

Смотрел я, полный нелюдимых грез;
И статуя Тиберия забавна, —
Меня смешил его отбитый нос,
Замазкою приклеенный недавно.
Сентябрь дубы и клены позлащал,
Крик ворона ненастье предвещал...

LXXXVII

Стучится дождь однообразно в стекла.
К экзаменам готовлюсь я давно,
Зевая, год рожденья Фемистокла
Твержу уныло и смотрю в окно:
В грязи шагая, охтинка промокла...
И сердце скукой мертвою полно.
Решить не в силах трудную задачу,
Над грифельной доской едва не плачу.

LXXXVIII

Но вот пришел великий грозный час:
Вступая в храм классической науки,
Чтобы держать экзамен в первый класс,
Я полон дикой робости и муки.
Смотрю в тетрадь, не подымая глаз,
Лицо в чернилах у меня и руки,
И под диктовку в слове «осенять»
Не знаю, что поставить — е иль ъ

LXXXIX

Я помню место на второй скамейке,
Под картою Австралии, для книг
Мой пыльный ящик, карандаш, линейки,
Казенной формы узкий воротник,
Мучительный для детской тонкой шейки.
Спряжение глаголов я постиг
С большим трудом; и вот я — в новом мире,
Где божество — директор в вицмундире.

XC

От слез дрожал неверный голосок,
Когда твердил я: *lupus... conspicavit...*

In rure pascebatur...¹ и не мог
Припомнить дальше; единицу ставит
Мне золотушный немец-педагог.
Томительная скука сердце давит:
Потратили мы чуть не целый год,
Чтобы понять отличие *quin* и *quod*²;

ХСІ

А говорить по-русски не умели.
И, в сокровенный смысл частицы *ut*³
Стараясь вникнуть, с каждым днем глупели.
Гимнастика ума — полезный труд,
Направленный к одной великой цели:
Нам выправку казенную дадут
Для русского чиновничьего строя,
Бумаг, служебных дел и геморроя.

ХСІІ

Так укрощали в молодых сердцах
Вольнолюбивых мыслей дух зловредный;
Теперь уже о девственных лесах,
О странствиях далеких мальчик бедный
Не помышлял: потухла жизнь в очах.
В мундир затянут, худенький и бледный,
По петербургской слякоти пешком
Я возвращался в наш холодный дом.

ХСІІІ

Манить ребенка воля перестала:
Царил над нами дух военных рот.
Как в тонких стенках твоего кристалла,
Гомункул, умный маленький урод,
Душа без жизни в детях жить устала...
Болезненный и худосочный род —
К молчанию, к терпенью предназначен,
Чуть не с пеленок деловит и мрачен.

¹ Волк... заметил... пасшихся на скале... (*лат.*).

² Почему и что, чтобы (*лат.*).

³ Как, когда, чтобы, о если бы (*лат.*).

XCIV

В тот час, как темной грифельной доски
И словарей коснулся луч последний
Туманного заката, и тоски
Напев был полон в комнате соседней
Старухи няни, штопавшей чулки, —
Далекий шум послышался в передней...
Мне было скучно, и на груды книг
Я головой усталою поник...

XCV

Вдруг голос мамы, шорох платья милый,
Ее шагов знакомый легкий звук...
Я побледнел и алгебры постылой
Учебник на пол выронил из рук.
Не от любви с неудержимой силой
Забилось сердце, — это был испуг;
Я в классицизме, в мертвом книжном хламе
Так одичал, что позабыл о маме

XCVI

За год разлуки: как утрюмый зверь,
Со злобою смотрел на злые лица
Учителей; казалась теперь
Мне падежей неправильных таблица
Важней любви... От матери за дверь
Я спрятался; как пойманная птица,
Дрожал в углу, безмолвие храня, —
И вдруг она увидела меня...

XCVII

Но я уж сам к ней бросился в объятья,
Про все забыв, — сестер не слышал крик
И не видал, как прибежали братья,
Закрыв глаза, к ее груди приник,
Вдыхая тонкий, нежный запах платья...
То был блаженства незабвенный миг.
Она меня ласкала: «Мальчик бедный,
Какой ты худенький, какой ты бледный!»

ХСVIII

Под взорами возлюбленных очей
Я воскресал от холода и скуки,
От этих долгих безнадежных дней;
Пугливый, все еще боясь разлуки,
Не веря счастьем, прижимался к ней:
Она глаза мне целовала, руки
И волосы, и согревала вновь
Меня, как солнце, вечная любовь.

ХСIX

И, улыбаясь, плакали мы оба,
И все, в чем сердце бедное могло
Окаменеть — ожесточенье, злоба
И мертвенная скука — все прошло:
Так не боится зимнего сугроба,
Почуяв жизни первое тепло,
Когда ручей поет и блещет звонкий, —
На трепетном стебле подснежник тонкий.

С

Не мог расторгнуть наших вольных уз
Дух строгости, порядок жизни чинный,
И тайно креп наш дружеский союз:
Ловил я звук шагов ее в гостиной;
Бывало, рода женского на us
Она со мной твердила список длинный,
И находил поэзию при ней
Я в правилах кубических корней.

CI

Под сладостной защитой и покровом,
Когда ласкался к маме при отце,
Я видел ревность на его суровом
Завистливо нахмуренном лице.
Я был пленен улыбкой, каждым словом,
И бриллиантом на ее кольце,
И шелестом одежды, и духами,
И девственными, юными руками.

СII

На завтрак белый рябчика кусок,
Обсахаренный вкусный померанец,
Любимую конфету, пирожок
Она тихонько прятала мне в ранец;
Когда я в классе вынимал платок
С ее духами, вспыхивал румянец
Любви стыдливой на моих щеках,
Сияла гордость детская в очах.

СIII

Я чувствовал ее очарованье
Среди учебных книг и словарей,
Как робкое весны благоуханье
В холодной мгле осенних мрачных дней,
И по ночам любимых уст дыханье
Над детскою кроваткою моей:
Так ласк ее недремлющая сила
Меня теплом и светом окружила.

СIV

Коль в сердце, полном горечи и зла,
Доныне есть поэзия живая, —
Твоя любовь во мне ее зажгла.
Ты слышишь ли меня, о, тень родная?
Пусть не нужна тебе моя хвала,
Но счастлив я, о прошлом вспоминая, —
И вот неведомую песнь мою
Тебе, как эти слезы, отдаю.

CV

Когда стремлюсь я к неземной отчизне,
Слабея, грешный, на земном пути,
Я внемлю тихой нежной укоризне...
Не отвергай меня, молю, прости, —
Как ты дитя свое хранила в жизни,
Так пред Судом Верховным защити,
Отчаяньем и долгою разлукой
Измученное сердце убаюкай.

CVI

Слетаешь ты, незримая, ко мне,
Как сладкого покоя дуновенье,
Как дальний звук в полночной тишине...
Я чувствую твоё благословенье
И к моему лицу, как бы во сне,
Твоих бесплотных рук прикосновенье...
О милая, над бездною храня,
Любовью вечною спаси меня!

CVII

У волка есть нора, у птиц жилища, —
Лишь у тебя, служитель красоты, —
Нет на земле родного пепелища:
Один среди холодной пустоты,
Я собираю с тихого кладбища
Воспоминаний бледные цветы,
И в душу веет запахом могилы
Сквозь аромат их девственный и милый...

CVIII

Давно привык я будущих скорбей
Угадывать нелживые приметы;
Жизнь с каждым днем становится мрачней.
Ни славою, ни дружбой не согреты,
Лишь памятью невозвратимых дней
Питаемся мы, жалкие поэты,
Как собственною лапою медведь,
Чтоб с голода зимой не умереть.

CIX

Пою, свирель на тихий лад настроя:
До подвигов нам с Музой дела нет.
Я говорю, увидев тень героя:
«Не заслоняй мне солнца вечный свет!»
От мировых скорбей ищу покоя
И ухожу я в прозу давних лет,
Как Диоген — в циническую бочку...
Но здесь для рифмы я поставлю точку.

СХ

Кто б ни был ты, о мой случайный друг, —
Студент ли в келье сумрачной и дымной,
Чиновник ли с бумагами вокрут,
Курсистка, барин ли гостеприимный,
Питомец ли классических наук, —
Не требую любви твоей взаимной, —
Но мне близка теперь душа твоя,
Но ты мне друг, ты человек, как я.

СХІ

Ты так же горьким опытом наказан...
Минутной благосклонности твоей
Я самой чистой радостью обязан:
Ты дальше всех, ты ближе всех друзей,
И я с тобой свободной дружбой связан.
Теперь, прощаясь с Музою моей,
Забудь вражду, прости, читатель, скуку:
Мы — люди, мы — несчастны — дай мне руку!

СХІІ

Тебе на суд я отдаю себя:
Один ли ты иль в многолюдном свете,
Хлопочешь ли, для славы жизнь губя
Или для денег, — вспомни о завете
Того, кто, детство милое любя,
Учил нас: «Будьте просты вы, как дети».
Как ни был бы ты зол и мудр, и стар, —
Подумай, жизнь — прекрасный Божий дар;

СХІІІ

Смягчись на миг в борьбе ожесточенной,
На прошлое с улыбкою взгляни:
Не правда ли, там, солнцем озаренный,
Есть уголок родимый, есть они,
Мой брат, как я, познаньем отягченный,
Неведенья безоблачные дни!
От суеты и злобы на минуту
Вернись душою к тихому приюту, —

СХІV

И пусть морщины скуки и труда
Разгладятся!.. Как сон недолговечный,
Те дни прошли... Ты лучше был тогда,
Доверчивый, свободный и беспечный.
Ужели больше нет от них следа,
От этих дум, от простоты сердечной?..
О, только бы ты пожалел о них, —
И дела нет мне до врагов моих.

СХV

Пусть хмурит брови Аристарх журнальный:
В печальном сердце — тихо и светло;
Въезжаю в гавань, — кончен путь мой дальний.
О, друг, утешься, подыми чело
С улыбкою спокойной и печальной,
Прощая Богу смерть и людям зло:
В сиянье солнца есть еще отрада...
Ты улыбнулся, — вот моя награда!

ПЕСНЯ ВТОРАЯ

I

Уже никто не вденет ногу в стремя, —
Ты одряхлел, классический Пегас,
Тебе подсекло крылья злое Время:
Влачишься ты по улицам у нас,
Где давит сердце вечной скуки бремя,
Где в мутной снежной тьме чуть брезжит газ,
Где нет ни воли, ни любви, ни солнца, —
Хромою клячей бедного чухонца...

II

От рифмы я отвык, и мне начать
Вторую песнь трудней, чем сдвинуть гору.
Но если час пришел — нельзя молчать:
Слетающих видений внемя хору,
Их голосам я должен отвечать;
И как цветник в полуденную пору —

Жужжаньем пчел, как берег — шумом волн,
Созвучьями недаром слух мой полн.

III

Их музыка подобна поцелую:
И рифма с рифмой — нежная чета
Сливаются в гармонию живую;
Так ищут уст влюбленные уста.
Я близость бога сладостного чую:
Когда душа уныла и пуста, —
Поэзия — от всех скорбей лекарство.
Уйдем же к ней мы в призрачное царство!

IV

Там нет ни зла людского, ни добра,
Там даже смерти не страшна угроза.
Луна порой в немые вечера
На стеклах бледные цветы мороза
Вдруг оживит: что значит их игра
Бесцельная?.. Холодной жизни проза,
Гори, гори и ты в стихе моем,
Как этот лед, таинственным огнем!

V

О, юность бедная моя, как мало
Ты вольных игр и счастья мне дала:
Классической премудрости начало,
Словарь латинский, холод, скука, мгла...
Как часто я бранил тебя, бывало;
Но все прошло, — теперь не помню зла:
Не до конца сумели в пыльной гряде
Нелепых книг тебя испортить люди.

VI

За сладостный, невинный жар в крови,
За первые неопытные грезы,
За детское предчувствие любви
Среди унынья, холода и прозы,
За маленькие радости твои,

За одинокие, немые слезы,
О, молодость, за красоту твою
Тебя люблю, тебе я гимн пою!

VII

Врата несуществующего рая,
Ненаступивших радостей залог,
Благословлю обман твой, умирая.
Я никогда проклясть тебя не мог,
О горькая, о жалкая, святая,
Тебя непобедимой создал Бог:
В тебе есть холод, девственная нега
И чистота нетронутого снега...

VIII

Однажды мы весною в первый раз
Открыли окна слишком рано, в марте;
Пахнул к нам свежий воздух в душный класс;
На стенах с пятнами чернил, на парте,
Изрезанной ножами в скучный час
Закона Божьего, на пестрой карте
Америки луч солнечный блестел,
В листах грамматик ветер шелестел.

IX

Я думаю, Армидин сад, и ты бы
Нам более счастливых не дал грез,
Чем грязный двор, где льда седого глыбы
Кололи дворники; не запах роз,
А москательных лавок, мяса, рыбы —
Зефир весенний с рынка нам принес...
А воробьи на крышах стайей шумной
Чирикали от радости безумной.

X

Смотрели жадно мы на красный дом,
Влюбившись сразу в барышню-соседку.
К окну подходит — видно за стеклом, —
Чтобы крупы насыпать птице в клетку.

Тетради, книги наши под столом:
Как мотылек, попавший детям в сетку,
Трепещет сердце, и волнует кровь
Мне глупая и милая любовь.

XI

Пусть наглухо опять окно закрыли:
Проснувшись вдруг от мертвенного сна,
Сквозь мутное стекло под слоем пыли,
Глядим, — душа надеждою полна,
Мгновенно всю грамматику забыли.
Ты победила, вечная весна!
Так молодость в тюрьме находит радость
И горечь жизни превращает в сладость...

XII

Мне эта улица мила с тех пор:
В галантерейной маленькой лавчонке
Доныне все еще пленяет взор
И те же чувства будят, как в ребенке, —
Знакомых ситцев пестренький узор,
Духи, помада, зеркальца, гребенки
И волны подвенечной кисеи —
Соблазны юной прачки и швеи.

XIII

Душа волненьем сладким вновь объята,
Когда по тем местам я прохожу;
Как тихий свет унылого заката,
Я в улице безмолвной нахожу
Следы тех дней, которым нет возврата...
И сам не знаю, чем в них дорожу;
Но жизнь крутом — холодная пустыня,
Лишь в прошлом все — отрада и святыня.

XIV

Люблю я запах елки в Рождество,
Когда она таинственно и жарко
Горит, и все мы ждем Бог весть чего...

Пускай беду пророчит злая Парка, —
Я верю в елку, верю в торжество,
По-прежнему от Бога жду подарка.
Как елка, ты — в огнях, ночная твердь.
Ужель подарок Бога — только смерть?

XV

Все мимолетно — радости и мука,
Но вечное проклятие богов —
Не смерть, не старость, не болезнь, а скука,
Немая скука долгих вечеров,
Скучать с приличным видом есть наука
Важнейшая для умных и глупцов:
Подруги наши — страсть, любовь иль злоба,
А скука — вечная жена до гроба.

XVI

О, темная владычица людей,
Как рано я узнал твои морщины,
Недвижный взор твоих слепых очей,
Лицо мертвее серой паутины
И тихий лепет злых твоих речей!..
Но оживлять унылые картины
Не буду вновь: уж я сказал о том,
Чем был наш мрачный и холодный дом.

XVII

Все важно в нем и сонно, и прилично.
Отец любил детей, но издали:
Он каждую субботу педантично,
Просматривая баллы, за нули
Нотации читать умел отлично.
Без дружбы, вечно ссорясь, мы росли
Все вместе, кучей, как в тени древесной
Семья грибов: нам было слишком тесно..

XVIII

Сергеем мы ходили в тот же класс.
Напоминая бойкую лисичку,

Зрачки зеленоватых быстрых глаз
Лукаво щурить он имел привычку;
Лицо в веснушках помню как сейчас,
Пронырливый и острый носик; кличку
Всеми давал он метко; был актер
И дипломат, насмешлив и хитер.

XIX

А неуклюжий Саша, молчаливый,
С лицом румяным и тупым, в очках, —
Как медвежонок, дикий и ленивый;
В монахи собирался он, в делах
Земных не видя толку; горделивый
Тот замысел погиб, и стал монах —
Немало в жизни всяких превращений —
Чиновником особых поручений.

XX

Благоразумен, важен, как старик,
Был Коля гимназистом идеальным;
Премудрость всех учебников постиг.
С лицом худым, бескровным и печальным,
Питая страсть, как первый ученик,
К пятеркам с плюсом и листам похвальным,
Смиряться он умел, терпеть и ждать
И всякому начальству угождать.

XXI

Но иногда, романтик добродушный,
Про все забыв, каких-то ведьм и фей,
И рыцарей, и замок их воздушный
Чертил пером в тиши воскресных дней,
Воображенью странному послушный,
Он на полях латинских словарей,
Влюбленный в этот мир необычайный:
Он верил в сны, пророчества и тайны...

XXII

У нас в крови — неугасимый жар
Мистического бреда; это — сходство

Семейное, опасный людям дар,
Наследственный недуг иль превосходство,
Под пеплом жизни тлеющий пожар, —
Не ведаю — талант или уродство...
Вольнолюбивый, непокорный дух,
Доныне в нас огонь твой не потух.

XXIII

Обычный в жизни путь ему неведом,
Противен будничный и тесный крут.
Был Костя, старший брат мой, правоведом;
Но поступил он, возмущившись вдруг,
И полный нигилизма модным бредом,
На факультет естественных наук:
Не следуя отцовскому примеру,
Он погубил блестящую карьеру.

XXIV

Самонадеян и умен, и горд,
Наш мертвый дом, чиновничий и серый,
Он презирал: настойчив, волей тверд,
В добре и зле без удержу, без меры,
От микроскопов ждал он и реторт
Неведомых чудес и новой веры.
Любила мать его; с отцом всегда
Была у Кости тайная вражда.

XXV

Мне помнится под колбою стеклянной
Спиртовой лампочки дрожащий блеск
И жидкости опаловой, туманной
В прозрачных стенках легкий звон и плеск,
Волшебной искры голубой и странной
На гальванической машине треск...
В густой тени большого кабинета
Желтели кости пыльного скелета.

XXVI

Мне объяснял фанатик молодой
Открытья, чудеса лабораторий,

Неясные мелькали предо мной
Отрывки дерзновеннейших теорий;
Показывал он в капле водяной
Друг друга пожиравших инфузорий,
И слушал я, потупив робкий взор,
Про Дарвинов естественный подбор.

XXVII

Я чувствовал, что он не прав во многом:
Краснея, запинаясь я, дрожал,
Ребяческим и неумелым слогом
На доводы науки возражал,
Когда, смеясь над чертом и над Богом,
Он все, во что я верил, разрушал...
Хотя и страшно было мне и больно, —
Запретный плод прельщал меня невольно.

XXVIII

И любопытство жадное влекло
К опасности на крайние ступени,
И в первый раз на детское чело
Уже недетских дум ложились тени:
Пленяет душу человека зло.
Как некогда Адаму в райской сени —
«Вкуси и будешь Богом», — мудрый Змей
Коварный дал совет душе моей.

XXIX

В столовой раз за чаем мы сидели;
Здесь маятник медлительных часов,
Влачившихся без отдыха, без цели,
Вкус тех же булок, звуки тех же слов
И тусклые обои надоели
Знакомым видом желтеньких цветов.
На ужин экономно разогреты
Унылые вчерашние котлеты.

XXX

Из всех углов ползет ночная тень,
Цедится струйка жиденького чая

Сквозь ситечко; смотреть и думать — лень,
Царит безмолвье, мысли удручая...
У матери — всегдашняя мигрень.
И лампа бледная горит, сучая,
И силы нет дремоты превозмочь, —
Скорей бы сон бесчувственный и ночь.

XXXI

Вдруг настезь дверь, — и дрогнул воздух сонный,
И старший брат с улыбкой на устах
Вошел и, нашей скукой изумленный,
Тотчас притих; румянец на щеках
Еще горит, морозом оживленный,
Пылинки снега тают в волосах:
Он с улицы принес душистый холод,
Глаза блестят, — он радостен и молод.

XXXII

Отец спросил: «Откуда?» — «Из суда, —
Присяжные Засулич оправдали!»
«Как? ту, что в Трепова стреляла?» — «Да». —
«Не может быть!..» — «Такой восторг был в зале,
Какого не бывало никогда:
Мы полную победу одержали!»
Отец сердито молвил: «Что за вздор!»
И вспыхнул вдруг ожесточенный спор.

XXXIII

И шепотом беспомощных молений
Напрасно мама хочет их унять:
То спор был вечный, распря поколений, —
Не уступают оба ни на пядь,
Не слушают друг друга: «Убеждений
Вы права не имеете стеснять!» —
Кричит студент; они вскочили оба, —
В очах старинная слепая злоба.

XXXIV

«Наука доказала...» — «Чушь и гиль —
Твоя наука... Вечные основы

Религии...» — «Основы ваши — гниль!
Пред истиною все они готовы
Рассыпаться, как мертвый прах и пыль...
Нам Спенсер дал для жизни принцип новый!» —
«А Бог?...» — «Нет Бога!» — «Спенсер твой — дурак!»
Дошли до Бога, — это скверный знак.

XXXV

Теперь конец уж ясен бедной маме, —
Ей скажет муж: «Во всем — твоя вина.
Детей избаловала!» В этой драме
Немою жертвой быть обречена,
Печальными и кроткими глазами,
Беспомощного ужаса полна,
Глядит на них и вся мольбою дышит:
Никто ее не видит и не слышит.

XXXVI

«Прочь, негодяй, из дома моего!...» —
Кричит отец, бледнея. «Ради Бога,
Не будь к нему жесток, прости его,
Ну, хоть меня ты пожалей немного!» —
«Нет, не просите, мама, — ничего —
Не надо! — Костя ей кричит с порога, —
Я рад уйти: мне воля дорога,
Не будет больше здесь моя нога!

XXXVII

Вам оскорблять себя я не позволю...»
И он дверями хлопнул. Мать жалел,
Но думал я, что Костя выбрал долю
Завидную: как был он горд и смел!
И за героем я рвался на волю,
Я сам дрожал от злобы и горел:
Душа была смятением объята;
Я разделить хотел бы участь брата.

XXXVIII

И долго я в ту ночь не мог уснуть:
Все чудились мне тихие рыдания;
Предчувствием беды сжималась грудь.

Я встал; лишь уличных огней мерцанье
По комнате мне озаряло путь,
Когда среди глубокого молчанья,
Как вор, прокравшись в темный длинный зал,
Я разговор из спальни услышал:

XXXIX

«Он может повредить моей карьере...
Каков щенок, мальчишка, нигилист!» —
«Ну, денег дай ему по крайней мере:
Он вспыльчив, сердцем же он добр и чист...»
Я ухо приложил к закрытой двери
И в темноте внимал, дрожа, как лист,
И страшно было мне, стучали зубы:
Слова отца безжалостны и грубы.

XL

С тех пор прошли года, но помню то,
Что слышал там: осталось в сердце жало.
«Он — сын твой, не губи его, — за что?...» —
«Ведь я сказал: дам сорок в месяц». — «Мало». —
«А сколько ж?» — «Сто». — «Ну, пятьдесят...» —
«Нет, сто...»

Мольбою долгой, долгой и усталой,
Упрямой силою любви своей
Она боролась с ним из-за грошей.

XLI

Я слов уже не слышал — только звуки
Все тех же просьб: так падает вода
И точит твердый камень; лишь от скуки
Он делал ей уступку иногда.
Она ему в слезах целует руки,
Терпеньем побеждает, как всегда,
Смирением глубоким и притворством,
И жертв незримых медленным упорством.

XLII

Мы грешны все: я не сужу отца.
Но ужаса я полн и отвращения

К семейной пытке, к битве без конца,
Без отдыха, где нет врагу прощенья,
Где только бледность кроткого лица
Иль вздох невольный выдает мученья:
Внутри — убийство, а извне хранит
Законный брак благопристойный вид.

XLIII

Когда же утром мы при лампе встали
И за окном, сквозь мокрый снег и тень,
С предчувствием заботы и печали
Рождался вновь ненужный серый день,
За кофеем от няни мы узнали,
Что мать больна, что у нее мигрень:
И вещая тоска мне сердце сжала.
Три дня она в постели пролежала.

XLIV

И может быть, то первый приступ был
Болезни тяжелой, длившейся годами,
Неисцелимой; все же гневный пыл
Отца смягчен был долгими мольбами.
Хотя он ссоры с Костей не забыл,
Но поневоле, уступая маме,
Не одобряя баловства детей, —
Не сорок дал ему, а сто рублей.

XLV

И жизнь пошла чредой однообразной:
Зазубрины и пятнышки чернил
Все те же на моей скамейке грязной,
Родной язык коверкая, долбил
Я тот же вздор латыни безобразной,
И года три под мышками теснил
Все в том же месте мне мундирчик узкий,
На завтрак тот же сыр и хлеб французский.

XLVI

Лимониус, директор, глух и стар,
Софокла нам читал и Одиссею,

Нас усыплять имея редкий дар;
Но до сих пор пред ним благоговею,
Лишь вспомню, с крепким запахом сигар,
Я вицмундир перед скамьей моею
И тонкий пух седых его волос,
И в голубых очках багровый нос.

XLVII

Урок по спрятанной в рукав бумажке,
Бывало, всякий бойко отвечал.
При нем играли в карты мы и в шашки:
Нам добродушный немец все прощал;
Но вдруг за белый воротник рубашки
Неформенной, за галстук он кричал
С неожиданным пылом ярости безмерной
И тем внушал нам трепет суеверный.

XLVIII

Честнейший немец Кесслер — латинист,
Заросший волосами, бородатый,
На вид угрюм, но сердцем добр и чист, —
Как древние Катоны, Цинциннаты
И Сцеволы; большой идеалист,
Из года в год, отчаяньем объятый,
Всем существом грамматику любя,
Он нас терзал и не жалел себя.

XLIX

Ответов ждал со страхом и томленьем,
Краснея сам, смущаясь и дрожа:
Ему казалась личным оскорбленьем
Неправильная форма падежа,
Ему глагол с неверным удареньем
Из наших уст был как удар ножа.
Земному чуждый, пламенный фанатик,
Писал он ряд ученийших грамматик.

L

Читал Платона Бюрик — не педант,
Напротив, весельчак, но злейший в мире,

Весь белый, бритый, выхоленный франт,
В обрызганном духами вицмундире;
К жестоким шуткам он имел талант:
Того, кто знал урок, оставив в мире,
Он робкого лентяя выбирал
И долго с ним, как с мышью кот, играл.

LI

Несчастный мальчик, с мнимою отвагой,
К доске уже бледнея подходил;
Тот одобрял его, шутил с беднягой
И понемногу в дебри заводил,
Не торопясь; но покрывались влагой
Глаза его, он медленно цедил
Слова сквозь зубы и в дремоте сладкой
Ласкал тихонько подбородок гладкий.

LII

Как выступал на лбу ученика
Холодный пот, с улыбкой сладострастной
Следил, и мухой в лапках паука
Тот бился все еще в борьбе напрасной:
Томила жертву смертная тоска;
«Скорей бы нуль!» — мечтал уже несчастный,
В схоластике блуждая без руля,
А смерти нет, и нет ему нуля!

LIII

Но в старших классах алгебры учитель
Был хуже немцев — русский буквоед,
Попов, родной казенщины бюститель;
Храня военной выправки завет,
Незлобивый старательный мучитель,
Он страшен был душе моей, как бред...
В лице — подобье бледной мертвой маски —
Мерцали хитрые свиные глазки.

LIV

В нем было все противно: глупый нос
И на челе торжественном и плоском

Начальственная важность, цвет волос
Прилизанных и редких с желтым лоском;
Он — неуклюж, горбат, и хром, и кос, —
Казался жалким странным недоноском.
Всегда покорен и застенчив, раз
Я дерзким бунтом удивил наш класс.

LV

Мне от Попова слушать надоело —
«Ровней держитесь, выпрямите грудь!»
Я на скамью — неслыханное дело —
Сел, опершись локтем, чтоб отдохнуть,
И пуговиц, ему ответив смело,
На сюртуке дерзнул не застегнуть;
Он закричал, но я решил упрямо:
Умру, не застегну, не сяду прямо!

LVI

Лимониус с инспектором пришли,
И сторожа меня на новоселье
В сырой, холодный карцер повели
И заперли на ключ в позорной келье, —
Жилище крыс, но там, во тьме, в пыли,
Я чувствовал нежданное веселье:
Подвижником себя воображал
И в лихорадке сладостной дрожал.

LVII

Как жаждал сердцем правды я и мщенья!
Не все ль равно за что восстать — за мир
И все его обиды и мученья
Или за право расстегнуть мундир?
Тебя познал я, демон возмущенья:
Утратив сердца прежний детский мир,
Я чувствовал, — хотя был бунт напрасен, —
Что ты, Злой Дух, мой темный Бог — прекрасен!

LVIII

Тебе остался верен я с тех пор,
И, соблазненный ангелом суровым,

Не покорясь, всю жизнь веду я спор
Из-за несчастных пуговиц с Поповым:
Душа безумно рвется на простор.
За то, что я к мирам стремился новым,
За то, что рабства я терпеть не мог, —
Меня казнил Лимониус и Бог.

LIX

В те дни уж я томился у преддверья
Сомнений горьких, и когда наш поп,
Находчивый и полный лицемерья,
Доказывал, наморщив умный лоб,
Чтоб истребить в нас плевелы неверья,
Научною теорией потоп
Иль логикой — существованье Бога, —
Рождалась в сердце вещая тревога.

LX

И бес меня смущал: нас каждый день
Водили в церковь на Страстной неделе;
Напев дьячка внушал мне сон и лень:
Мы по казенным правилам говели;
И неуютною казалась тень,
Не дружески огни лампад блестели;
Рука творила знаменье креста,
Но мертвая душа была пуста.

LXI

Кошунственная мысль была упряма;
И чистая святая белизна
Просвирки нежной, запах фимиама,
Вкус теплого церковного вина,
И голубь, Дух Святой, на своде храма,
За царскими вратами глубина
Не веют в душу прежней сладкой тайной:
Рождает все лишь страх необычайный.

LXII

Но по привычке давней перед сном
Я начинал молитву, умиленный:

С подарком няни — сахарным яйцом
На алой ленте, с вербой запыленной,
Был образок так родствен и знаком...
Когда же вновь опомнюсь, пробужденный,
Как будто вдруг в душе потухнет свет,
И ужасает мысль, что Бога нет.

LXIII

Скребется мышь, страшат ночные звуки,
На улице умолк последний шум.
А я сижу во тьме, ломая руки,
И отогнать не в силах грешных дум:
С мятежным духом, дьяволом науки,
Изнемогая, борется мой ум,
И ангела-хранителя напрасно
На помощь я зову с надеждой страстной.

LXIV

Что избавление должно прийти,
Я чувствую, не ведая откуда.
Целуя образ, я молил: «Прости!
Не верю я и знаю — это худо,
Но ведь Тебе легко меня спасти:
О, дай мне знак, о, только сделай чудо,
Теперь, сейчас, до наступленья дня, —
Хоть маленькое чудо для меня!»

LXV

Миссионер для обращения Кости,
Ученый поп, был приглашен отцом:
Он приходил к нам по субботам в гости;
В лиловой рясе с золотым крестом.
Пить чай умел, в беседах, чуждых злости,
Лоб вытирая шелковым платком,
С баранками и сливками так вкусно
И Дарвина опровергал искусно.

LXVI

И спорам их о Боге без конца
Я с жадностью внимал, дохнуть не смея:

Доказывал он промысел Творца,
И, объясняя книги Моисея,
С приятной тихой важностью лица
Цитатами из книг ученых сея,
По поводу Адама говорил
Он о строенье черепа горилл.

LXVII

Но дерзкого неверья злое семя
В душе моей росло: я помню, раз
Наш батюшка в гимназии, в то время
К принятию Тайн Святых готовя класс,
Моих сомнений увеличил бремя:
Смутил меня о грешнике рассказ,
Вкусившем недостойно от Причастья:
Я слушал, полон жадного участия.

LXVIII

Как Тайнами Христовыми сожжен,
Язык его лукавый был раздвоен
И в трепетное жало превращен...
Я был, как этот грешник, недостойн;
В кощунственные мысли погружен,
Я ждал беды, угрюм и беспокоен,
И, веря, что меня накажет Бог,
Раскаяться хотел я и не мог.

LXIX

С непобедимым трепетом боязни
Об исповеди думал, и тоска
Мне грызла сердце, холод неприязни
Внушал один лишь вид духовника:
Я представлял весь ужас этой казни
И чувствовал, как вместо языка
Во рту моем шипело и дрожало
Змеиное раздвоенное жало.

LXX

Но вышло все так просто, без чудес,
Что я почти жалел о том, и с шумом

Весенних вод напев «Христос воскрес»
Теперь в молчанье слушал я угрюмом:
Веселый праздник для меня исчез, —
Уже ни пасха белая с изюмом,
Ни с розаном, нежны и горячи,
Не радовали сердце куличи.

LXXI

Я с нянею пошел на балаганы:
Здесь ныла флейта, и пищал фагот,
И с бубнами гудели барабаны.
До тошноты мне гадов был народ:
Фабричные с гармониками, пьяный
Их смех, яйцом пасхальным полный рот,
Самодовольство праздничного вида, —
Все для меня — уродство и обида.

LXXII

А в тучках — нежен золотой апрель.
Царицын Луг уж пылен был и жарок;
Скрипя колеса вертят карусель,
И к облакам ликующих кухарок
Возносит в небо пестрая качель:
В лазури цвет платков их желтых ярок...
И безобразье вечное людей
Рождает скорбь и злость в душе моей.

LXXIII

И благовест колоколов победный,
Как приговор таинственный, гудел...
Я в эти дни, к прискорбью мамы бедной,
Как будто в злой болезни, похудел:
По комнатам, как тень, слонялся, бледный
И нелюдимый, плохо спал и ел,
И спрашивала мать меня порою
В отчаянье: «Мой мальчик, что с тобою?..»

LXXIV

Но я молчал, стыдился дум моих,
Лишь изредка, не говоря ни слова,

К ней подходил, беспомощен и тих,
И маленьким, не думающим снова
Я делался от ласк ее простых,
Когда она, жалея, как больного,
И мудрое безмолвие храня,
С улыбкою баюкала меня.

LXXV

Спасителем моим Елагин милый
Был, как всегда: экзамены прошли,
И, как покойник, вставший из могилы,
Я свежестью дышал сырой земли,
От солнца шурился, больной и хилый,
Но радовали в море корабли,
Знакомый пруд, и ледник, и дорожка
Меж грядками душистого горошка.

LXXVI

Все трогало меня почти до слез —
С полупрозрачной зеленью опушка
И первый шелест молодых берез,
И вещая унылая кукушка,
И дряхлая подруга детских грез —
Родная ива, милая старушка,
И дачный вкус парного молока,
И теплые живые облака.

LXXVII

Катались мы на лодке с братом Сашей:
Покинув весла, зонтик дождевой
Мы ставили, как парус, в лодке нашей;
Казался купол неба над водой
Лазурной опрокинутою чашей,
И на пустынной отмели порой
С гниющим остовом ладьи рыбацкой
Картофель мы пекли в золе горячей.

LXXVIII

Закусывая парой огурцов
И слушая великое молчанье

Зеркальных вод и медленных коров
Протяжное унылое мычанье,
И в стеблях желтых водяных цветов
Ленивых струек слабое журчанье, —
Я все мои грамматики забыл,
Не думал, есть ли Бог, и счастлив был.

LXXIX

Скучать в домашней церкви за обедней
По праздникам в Елагинский дворец
Водили нас; я помню, в арке средней
Меж ангелами реял Бог Отец.
Но суетных мой ум был полон бредней,
Я думал: службе скоро ли конец?
Смотрел, как небо в перистых волокнах
Высоких туч блестит в открытых окнах.

LXXX

Крик ласточек сквозь пение псалмов,
Шумящие под свежим ветром клены,
Дыхание сиреневых кустов, —
Все манит прочь из церкви в сад зеленый,
И кажется мне страшным лик Христов
Сквозь зарево свечей во мгле иконы:
Любовью, чуждой Богу, мир любя,
Язычником я чувствовал себя.

LXXXI

И в этой церкви раз в толпе воскресной,
Среди девиц уродливых и дам,
Увидел профиль девушки прелестной,
Смотрел я жадно, волю дав очам:
Мне было все в ней тайною чудесной,
Подобной райским непонятым снам,
И я в благоговенье не заметил,
Цвет глаз ее был темен или светел.

LXXXII

Лишь смутно помню, что она была
Вся в белом кружеве; глубокой тенью

Ресниц и томной бледностью чела
Я изумлен и предан был смятенью:
Казалась мне, воздушна и бела,
Она принцессой Белою Сиренью,
Окутанною в сказочный туман.
Тайком невинный начался роман.

LXXXIII

И образ твой, елагинская фея,
Доныне сердцу памятен и мил;
Там, где к пруду спускается аллея,
За белым платьем иногда следил
И прятался я, подойти не смея;
Ни разу в жизни с ней не говорил,
Любви неопытную душу предал,
Хоть имени возлюбленной не ведал.

LXXXIV

Когда в затишье знойных вечеров
Гармоника кухарок собирала
В конюшню — царство важных кучеров,
И в облаках был нежный цвет коралла,
С толпою неуклюжих юнкеров
В крокет моя владычица играла
И бегала, смеялась громче всех:
Доныне в сердце — этот милый смех.

LXXXV

И, крадучись, как вор, в решетке сада
За дачей, где она жила, тайком
Я подходил, и было мне отрада
Смотреть на ветхий деревянный дом,
Хотя мешала пыльная ограда
Кустов колючих; к тем, кто с ней знаком,
Я завистью был жгучей пожираем,
И садик бедный мне казался раем.

LXXXVI

Но холод жизни ранний цвет убил,
И все, что было мне еще неясно,

Что я в душе лелеял и хранил,
Едва родившись, умерло безгласно, —
И никогда я больше не любил
Так пламенно, так нежно и напрасно,
Как в тех мечтах, погибших навсегда
Без имени, без звука, без следа...

LXXXVII

Мы в сердце вечную таим измену:
Уж привлекал внимание мое
Иной предмет: однажды прачку Лену
Я увидал, стиравшую белье:
Я помню мыла тающую пену,
Когда сквозь пар смотрел я на нее,
Румяную, с веснушками, с глазами
Почти без мысли, с голыми руками.

LXXXVIII

А в прачешной и в кухне был пожар
Сияния вечернего: блеснули
Ведро, кофейник, яркий самовар,
Зрачки кота, дремавшего на стуле,
И полымем объятые, как жар,
Кругом на полках медные кастрюли;
И Лена, вся здоровьем дыша,
Была в огне заката хороша.

LXXXIX

И весело мне было рядом с нею:
Под нежным солнцем в тонких завитках
Коротеньких волос я видел шею
И ямочки на розовых локтях.
Хотя любил я сказочную фею,
Но эта баба с утюгом в руках,
Богиня синьки, мыла и крахмала,
Мое воображение занимала.

XC

Зачем ты дал нам две души, Господь?
Друг друга ненавидя и страдая,

Напрасно в людях спорят дух и плоть,
Любовь небесная, любовь земная:
Одна другой не может побороть.
С Владыкой Тьмы враждует Ангел рая:
Кому из них я первенство отдам,
Кто победит меня, — не знаю сам.

ХСІ

Не смейся же, читатель благосклонный,
Что мы с тобой неожиданно перешли
От прачки Лены с барышней-Мадонной
К противоречьям неба и земли:
Один закон владеет непреклонный
Созвездьями, горящими вдали,
С их правильным восходом и закатом
И силой, движущей незримый атом.

ХСІІ

Так сразу я в двух женщин был влюблен:
Мне самому казалось это диким...
Уже тогда, с младенческих времен,
Лукавым духом, Янусом двуликим,
Неопытный мой ум был соблазнен,
И с этих пор я с ужасом великим
Всю жизнь внимал, как с Богом спорит бес,
Дух грешной плоти с ангелом небес.

ХСІІІ

Тот узел Гордиев чей меч разрубит?
О, если бы решить я только мог.
Кого душа моя сильнее любит,
Кто сердцу ближе: Демон или Бог!
Их двойственный соблазн меня погубит:
Я все еще стою меж двух дорог,
И с прачкой Леной борется богиня —
С кошунством вечным — вечная святыня.

ХСІV

Я осенью в тот год увидел Крым:
Казался край далекий сном волшебным.

Я не из тех, кому приятен дым
Отечества, и был всегда целебным
Мне путь далекий к небесам иным.
Отец мой ехал по делам служебным;
Его давно уже молила мать
Меня с собой на Южный берег взять.

ХСV

Из царства моха, кочек и рябины
Перелетел я в дремлющий аул
В уютной неге солнечной долины;
Мне яркий месяц в очи заглянул;
В тиши ночной таинственной пучины
Я полюбил многоголосый гул,
Смотрел, как в небе серебрится тополь
И при луне белеет Севастополь.

ХСVІ

Там, где шумят немолчные валы,
Где вознеслись над морем великаны —
Из черного базальта две скалы,
И стелются над пропастью туманы,
Где реют с хищным клекотом орлы,
Был некогда великий храм Дианы, —
Там ныне мрачный и глухой пустырь,
А рядом — крест и бедный монастырь.

ХСVІІ

В обители Георгия Святого
Здесь иноки нашли себе приют,
Но по ночам на мысе диком снова
Колонны храма белого встают —
Языческие призраки былого,
И волны гимн торжественный поют...
Там я бродил, и сердце грустью ныло,
А колокол вдали звучал уныло.

ХСVІІІ

О, боги древности, я чуял вас,
Когда в безмолвной и печальной тризне

Сюда ваш рой слетал в предзвездный час:
Казалось мне, — в иной далекой жизни
Я с вами здесь бывал уже не раз
И ныне вновь пришел к моей отчизне;
С виденьями богов наедине
И сладостно, и страшно было мне...

XCIX

Обвеян прелестью твоей, Эллада,
В какие был я думы погружен,
Чему душа была безумно рада,
Когда горел полдневный небосклон
И волн дышала вечная прохлада
На высоте меж греческих колонн
Той полукруглой маленькой веранды
Над рощами тенистой Ореанды.

C

Там я любил по целым дням мечтать:
В благоуханье мяты и шафрана
И в яркости твоей, морская гладь,
И в бледной дымке знойного тумана, —
Во всей природе южной — благодать
Великого языческого Пана.
О, древний бог, под сенью рощ твоих
Сложил я первый неумелый стих.

CI

Но долго я скрывал подруги тайной,
Стыдливой Музы, нежные грехи:
Хромой сонет о бледной розе чайной
Восторженной был полон чепухи.
Но, музыкою рифм необычайной
Я упивался: глупые стихи
Казались мне пределом совершенства,
И я над ними плакал от блаженства.

CII

Я Пушкину бесстыдно подражал,
Но, ослеплен туманом романтизма,

В «Онегине» я только рифм искал:
Нужна была мне сказочная призма —
Луна и пурпур зорь, и груды скал;
Мятежный Пушкин, полный байронизма
И пышных грез, мне нравился тогда,
Каким он был в двадцатые года.

СIII

Я пел коварных дев, красы Эдема
И соловья над розой при луне,
И лучшую из тайных роз гарема,
Тебя, которой бредил я во сне
И наяву, о, милая Зарема.
Стихи журчали, и казалось мне,
Что мой напев был полон неги райской,
Как лепет твой, фонтан Бахчисарайский!

СIV

Я не люблю родных моих, друзья
Мне чужды, брак — тяжелая обуза.
В томительной пустыне бытия
Гонимая отверженная Муза —
Единственная спутница моя.
И более надежного союза
Нет на земле: с младенчества храня,
Она, как мать, лелеяла меня.

CV

Не ведали мы с нею шумной славы,
Но в дни унынья ты была со мной,
Богиня кроткая, в тени дубравы
Или у вод, объятых тишиной,
Где сонные благоухают травы,
Ждала меня с улыбкой неземной,
Таинственную прелестью дышала
И ласкою невинной утешала.

CVI

И был в чертах прекрасного лица
Глубокий след божественной печали.

Лавровой тенью гордого венца
Твоей главы друзья не увенчали.
Ты слышала и брань и суд глупца,
Сообщников немногих мы встречали.
Но, совершая долг своим путем,
Всегда мы шли и до конца пойдем.

CVII

С тобой не страшен ночи мрак беззвездный:
Направь мои неверные стопы.
Над пропастью цветы тебе любезны,
Растущие не на путях толпы,
И ты ведешь меня по краю бездны
На узкие необщие тропы,
Откуда виден отблеск на вершинах
Зари, еще неведомой в долинах.

CVIII

Пусть годы память обо мне сотрут,
Слезой умильной юноши и девы
Не осветят мой незаметный труд,
Пусть не дано взошедшие посевы
Очам моим увидеть и замрут
Без отклика негромкие напевы:
Я сердцем чист, я делал все, что мог, —
Тебя, о, Муза, оправдает Бог.

CIX

Мы не нашли в сердцах людей ответа,
Но только бы он до конца горел,
Огонь, которым жизнь моя согрета, —
Недаром я любил, страдал и пел.
Благословен святой удел поэта,
Благословен изгнанников удел,
Мой угол бедный, тихая лампада —
Моих ночей и тайных слез отрада.

CX

Когда я с Музой начинал мой путь
И ждал победы, дерзостен и молод,

Как страшно было в Лете потонуть,
Как мучил славы ненасытный голод!
Но в тридцать лет ровнее дышит грудь,
Сулит покой нам Леты вечный холод:
Отрада есть в ее ночной волне, —
В молчании, в забвеньи, в тишине...

СXI

А может быть и то: под слоем пыли
Меж тех, чьи книги только мышь грызет,
Кого давно на чердаке забыли,
Историк важный и меня найдет
И песнь мою о стародавней были
С улыбкою внимательной прочтет,
И гордую в изгнании суровом
Помянет Музу нашу добрым словом.

СXII

Теперь с тобой прощаясь, мы почтим,
Богиня, ту, что тихо спит во гробе,
Кто ангелом-хранителем твоим
Была во мраке, холоде и злобе.
Возлюбленную тень благословим:
Вы были мне заступницами обе,
И верую, что в час последний вновь
Меня спасет великая любовь.

СXIII

Ты в горестный и страшный час, родная,
Придешь ко мне не с горестным лицом,
Не слабая, не жалкая, больная,
Такой, как ты была перед концом,
Но с девственной улыбкой, молодая,
С торжественно сияющим венцом,
Меня в преддверье новой жизни встретишь
И радостно на мой призыв ответишь.

СXIV

Сотрешь с чела в предсмертной тишине
Холодный пот моей последней муки.

Чтоб слаще мне спалось в могильном сне,
Баюкая, на любящие руки
Возьмешь меня и тихо скажешь мне:
«Не бойся же, — нет смерти, нет разлуки.
Тебе я песню прежнюю спою, —
Усни, мой мальчик, баюшки-баю».

СХV

Великого обета не нарушу:
О, мама, скоро я к тебе приду!
Как погибающий пловец — на сушу,
Стремлюсь к тебе и радуюсь, и жду:
Душа обнимет родственную душу,
В твоих чертах любимых я найду, —
Как разрешишь ты все земные узы, —
Черты моей богини — вечной Музы.

Середина — конец 1890-х годов

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

DIES IRAE¹

Люди, опомнитесь! Вот она — смерть!
Вот она, страшная, кроткая, вечная.
Тайна над вами — небесная твердь,
Тайна в сердцах ваших — жизнь бесконечная...

Ваше проклятье — бессмысленный труд,
Стадо слепое — толпа ваша грязная...
Скука, безумье, обжорство и блуд,
Жизнь ваша — смерть безобразная!..

В небе звучит громовая труба,
В темной земле мертвецы содрогаются,
Полные тлена зияют гроба,
Очи для вечного дня разверзаются.

Как же нам стать пред лицом Судии,
Солнцу подобного, грозно-великого?
Как же подымешь ты очи твои,
Полные мрака и ужаса дикого?

Люди, опомнитесь!.. Дети Отца,
Страшного Бога, судить вас грядущего,
Не отвращайте от Света лица,
Я заклинаю вас именем Сущего!..

Конец 1893

¹ День гнева (лат.).

ПРИРОДА

I

Когда под куполом огромного собора,
В таинственных лучах мерцающих лампад,
При песнопениях торжественного хора
Я недвижим стою, потупив робкий взгляд,
Очами строгими и полными укора
Угодники с икон так пристально глядят,
И над бесчисленной молящихся толпою
Струится фимиам душистою волною, —

Тогда я ужасом невольно поражен,
И горько плачу я, томимый угрызеньем,
Я сознаю опять, что к бездне приведен —
Дорогою греха, сердечным ослепленьем,
Воспоминания летят со всех сторон,
И голос совести гремит мне осужденьем,
И сердцу слабому так тесно, тяжело,
И страшно мне поднять поникшее чело.

II

Когда же дивный храм природы
В лучах торжественного дня
Свои блистающие своды, —
Обитель мира и свободы, —
Распростирает для меня.

Когда в эфире ночи ясной
Миров я вижу стройный хор,
Что в небе движутся согласно,
Толпой бессмертной и бесстрастной
Плывут в загадочный простор, —

Тогда в отрадном умиленье
Я слышу голос Божества,
Я сознаю в благоговенье
Свое с природой единенье, —
С ней связи древнего родства.

Равно заботливо и щедро
Питают влагой дождевой

Природы любящие недра
И ствол развесистого кедра,
И цвет былинки полевой.

Опять я в счастье верю твердо,
И сердце радости полно.
Сознание шепчет мне так гордо:
«Ты — звук всемирного аккорда,
Ты — цепи жизненной звено».

И вот стою под небесами
Я в умилении святом,
На все в природе, в Божьем храме,
Гляжу я светлыми очами
С высоко поднятым челом.

<1894>

СОЛНЦЕ И СЕРДЦЕ

Сердце мое — неизменно, как Солнце...
Верю я Солнцу и Сердцу.
Видишь — приходят, уходят
Зло и Добро,
Вечно меняясь, как тучи под Солнцем.
Ты же, о Солнце, великое Сердце, —
Выше, чем тучи, чем Зло и Добро, —
Ибо твоя олимпийская Мудрость
Вечно смеется над Злом и Добром.
Будь же, мой дух, лучезарным,
Темные тучи рассей,
Зло и Добро победи;
Радость — для Сердца, сиянье — для Солнца,
Вот их единый закон!

1894

STAVAT MATER¹

На Голгофе, Матерь Божья,
Ты стояла у подножья

¹ Стояла мать <скорбящая> (лат.).

Древа Крестного, где был
Распят Сын Твой, и, разящий,
Душу Матери скорбящей
Смертной муки меч пронзил.
Как Он умер, Сын Твой нежный,
Одинокий, безнадежный,
Очи видели Твои...

Не отринь меня, о Дева!
Дай и мне стоять у Древа,
Обагренного в крови,
Ибо видишь — сердце жаждет
Пострадать, как Сын Твой страждет.
Дева дев, родник любви,
Дай мне болью ран упиться,
Крестной мукой насладиться,
Мукой Сына Твоего;
Чтоб, огнем любви сгорая,
И томясь, и умирая,
Мне увидеть славу рая
В смерти Бога моего.

<1899>

ЧУЖБИНА-РОДИНА

Нам и родина — чужбина,
Всюду путь и всюду цель.
Нам неизвестная долина —
Как родная колыбель.
Шепчут горы, лаской полны:
«Спи спокойно, кончен путь!»
Шепчут медленные волны:
«Отдохни и позабудь!»

Рад забыть, да не забуду;
Рад уснуть, да не усну.
Не любя, любить я буду
И, прокляв, не прокляну:
Эти бледные березы,
И дождя ночные слезы,
И унылые поля...
О, проклятая, святая,

О, чужая и родная
Мать и мачеха земля!
1907

КАССАНДРА

Испепелил, Святая Дева,
Тебя напрасный Фэбов жар;
Был даром Божеского гнева
Тебе предзнанья грозный дар.

Ты видела в нетщетном страхе,
Как вьется роковая нить;
Ты знала все, но пальцев пряжи
Ты не могла остановить.

Провыла псица Аполлона:
«Огонь и меч!» — народ не внял,
И хладный пепел Илиона
Кассандру поздно оправдал.

Ты знала путь к заветным срокам,
И в блеске дня ты зрела ночь.
Но мщениё судеб пророкам:
Все знать — и ничего не мочь.

<1922>

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЬ

Склоняется солнце, кончается путь;
Ночлег недалеко — пора отдохнуть.

Хвала Тебе, Господи! Все, что Ты дал,
Я принял смиренно, — любил и страдал.

Страдать и любить я готов до конца
И знать, что за подвиг не будет венца.

Но жизнь непонятна, а смерть так проста;
Закройтесь же, очи, сомкнитесь, уста!

Не слаще ли сладкой надежды земной —
Прости меня, Господи! — вечный покой?

<1923>

Плавает лебедь в воде замерзающей,
Но уже с трудом;
Скоро сожмет ее лед мерцающий
Мертвым кольцом.
Выйдет на лед птица белая,
Будет скользить.
Глупая, бедная,
Не умеет ходить.

А звездная тайна полночная,
Как улыбка моя.
И падает лебедь беспомощно,
Как я, как я!

<1926>

ВДРУГ

Иногда бывает так скучно,
Что лучше бы на свет не смотреть,
Как в подземном склепе, душно,
И мысль одна: умереть!

Может быть, России не будет, —
Кто это понял до дна?
Разве душа забудет,
Разве забыть должна?

И вдруг все меняется чудно,
Сердце решает: «пусти!»
И легко все, что было так трудно,
И светла, как молитва, грусть

Кто сотрет главу Змия, —
Знаю, веря, любя.

Только из рук Господних, Россия,
Только из них мы примем тебя!

1928

СОННОЕ

Что это — утро, вечер?
Где это было, не знаю.
Слишком ласковый ветер,
Слишком подобное раю,
Все неземное — земное.
Только бывает во сне
Милое небо такое, —
Синее в звездном огне.
Тишь, глушь, бездорожье,
В алых маках межи.
Русское, русское — Божье
Поле зреющей ржи!
Господи, что это значит?
Жду, смотрю не дыша,
И от радости плачет,
Богу поет душа.

1928

ОДУВАНЧИКИ

«Блаженны нищие духом...»
Небо нагорное синее;
Верески смольным духом
Дышат в блаженной пустыне;
Белые овцы кротки,
Белые лилии свежи;
Геннезаретские лодки
Тянут по заводи мрежи.
Слушает мытарь, блудница,
Сонм рыбаков Галилейских;
Смутлы разбойничьи лица
У пастухов Идумейских.
Победоносны и грубы,

Слышатся с дальней дороги
Римские медные трубы...
А Равуни босоногий
Все повторяет: «Блаженны...»
С ветром слова улетают.
Бедные люди смиренны, —
Что это значит, не знают.
Слушают, не разумея;
Кто это, сердце не спросит.
Ветер с холмов Галилеи
Пух одуванчиков носит.
«Блаженны нищие духом...»
Кто это, люди не знают,
Но одуванчики пухом
Ноги Ему осыпают.

1928

Я НЕ БЫЛ СЧАСТЛИВ НИКОГДА

Я не был счастлив никогда,
Из чаши сладостной я не пил.
Так за годами шли года;
Огонь потух, остался пепел.

И в вечер поздний и туманный
Огня у пепла не прошу,
Лишь теплотой благоуханной,
Склонясь к нему лицом, дышу.

О, пусть же все несовершенно, —
Во всем — таинственная весть,
И Бога моего смиренно
Благодарю за все, что есть.

1929

ГЛАВНОЕ

Доброе, злое, ничтожное, славное, —
Может быть, это все пустяки,
А самое главное, самое главное,
То, что страшней даже смертной тоски, —

Грубость духа, грубость материи,
Грубость жизни, любви — всего;
Грубость зверихи родной, Эсэсэрии, —
Грубость, дикость — и в них торжество.

Может быть, все разрешится, развяжется?
Господи, воли не знаю Твоей,
Где же судить мне? А все-таки кажется,
Можно бы мир создать понежней!

<1930>

ПЯТАЯ

Бедность, Чужбина, Нemoщ и Старость,
Четверо, четверо, все вы со мной,
Все возвещаете вечную радость —
Горю земному предел неземной.

Темные сестры, древние девы,
Строгие судьи во зле и добре,
Сходитесь ночью, шепчетесь все вы,
Сестры, о пятой, о старшей Сестре.

Шепот ваш тише, все тише, любовней;
Ближе, все ближе звездная твердь.
Скоро скажу я с улыбкой сыновней:
Здравствуй, родимая Смерть!

<1930>

Гоголь и черт

исследование

Слышно страшное в судьбе наших поэтов

Гоголь.

Часть первая

ТВОРЧЕСТВО

I

«Как черта выставить дураком», — это, по собственному признанию Гоголя, было главной мыслью всей его жизни и всего творчества. «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом». (Письмо Шевыреву из Неаполя от 27 апреля 1847 года.)

В религиозном понимали Гоголя черт есть мистическая сущность и реальное существо, в котором сосредоточилось отрицание Бога, вечное зло.

Гоголь как художник при свете смеха исследует природу этой мистической сущности; как человек, оружием смеха борется с этим реальным существом: смех Гоголя — борьба человека с чертом.

Бог есть бесконечное — конец и начало сущего; черт — отрицание Бога, а следовательно, и отрицание бесконечного, отрицание всякого конца и начала; черт есть начатое и неоконченное, которое выдает себя за безначальное и бесконечное; черт — нуменальная середина сущего, отрицание всех глубин и вершин — вечная плоскость, вечная пошлость. Единственный предмет гоголевского творчества и есть черт именно в этом смысле, то есть как явление «бессмертной пошлости людской», созерцаемое за всеми условиями местными и временными — историческими народными, государственными, общественными — явление безусловного, вечного и всемирного зла; пошлость *sub specie aeterni* «под видом вечности».

«Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал

один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара — выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее, и которого точно нет у других писателей». (Из «Переписки с друзьями», XVIII, 3.) Зло видимо всем в великих нарушениях нравственного закона, в редких и необычайных злодействах, в потрясающих развязках трагедий; Гоголь первый увидел невидимое и самое страшное, вечное зло не в трагедии, а в отсутствии всего трагического, не в силе, а в бессилии, не в безумных крайностях, а в слишком благоразумной середине, не в остроте и глубине, а в тупости и плоскости, пошлости всех человеческих чувств и мыслей, не в самом великом, а в самом малом. Гоголь сделал для нравственных измерений то же, что Лейбниц для математики, — открыл как бы дифференциальное исчисление, бесконечно — великое значение бесконечно — малых величин добра и зла. Первый он понял, что черт и есть самое малое, которое, лишь вследствие нашей собственной малости, кажется великим, — самое слабое, которое, лишь вследствие нашей собственной слабости, кажется сильным. «Я называю вещи, — говорит он, — прямо по имени, «то есть черта называю прямо чертом, не даю ему великолепно-го костюма а la Байрон и знаю, что он ходит во фраке...» «Диавол выступил уже без маски в мир: он явился в своем собственном виде». Главная сила диавола — умение казаться не тем что он есть. Будучи серединой, он кажется одним из двух концов — бесконечностей мира, то Сыном-Плотью, восставшим на Отца и Духа, то Отцом и Духом, восставшим на Сына-Плоть; будучи тварью, он кажется творцом; будучи темным, кажется Денницею; будучи косным, кажется крылатым; будучи смешным, кажется смеющимся; смех Мефистофеля, гордость Каина, сила Прометея, мудрость Люцифера, свобода Сверхчеловека — вот различные в веках и народах «великолепные костюмы», маски этого вечного подражателя, приживальщика, обезьяны Бога. Гоголь первый увидел черта без маски, увидел подлинное лицо его, страшное не своей необычностью, а обыкновенностью, пошлостью; первый понял, что лицо черта есть не далекое, чуждое, странное, фантастическое, а самое близкое, знакомое, вообще реальное «человеческое, слишком человеческое» лицо, лицо толпы, лицо «как у всех», почти наше собственное лицо в те минуты, когда мы не смеем быть сами собой, и соглашаемся быть как все.

Два главных героя Гоголя — Хлестаков и Чичиков — суть два современных русские лица, две ипостаси вечного и всемирного зла — «бессмертной пошлости людской». По слову Пушкина, то были двух бесов изображенья.

Вдохновенный мечтатель Хлестаков и положительный делец Чичиков — за этими двумя противоположными лицами скрыто соединяющее их третье лицо, лицо черта «без маски», «во фраке», в «своем собственном виде», лицо нашего вечного двойника, который, показывая нам в себе наше собственное отражение, как в зеркале, говорит:

— Чему смеетесь? Над собой смеетесь!

II

«Вы эту скотину (черта) бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он щелкопер и весь состоит из надувания. Он точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить и поддаться назад — тут-то он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана, а в самом деле, он черт знает что. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: «Хвалился черт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньей не дал власти». Пугать, надувать, приводить в уныние — это его дело». Легко догадаться, кто именно этот «мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие, то есть в качестве ревизора, распекающий всех». В черновых заметках к «Мертвым душам» Гоголь пишет: «Весь город со всем вихрем сплетен; преобразование бездельности (то есть пошлости) жизни всего человечества в массу... Как низвести всемирную картину безделья во всех родах до сходства с городским бездельем и как городское безделье возвести до преобразования безделья мира». Итак, опять-таки, по собственному признанию Гоголя, в обоих величайших произведениях его — в «Ревизоре» и «Мертвых душах» картины русского провинциального города 20-х годов имеют, кроме явного, некоторый тайный смысл, вечный и всемирный, но «преобразующий», или, как мы теперь сказали бы, символический, ибо символ и значит «преобразование»: среди «безделья», пустоты, пошлости мира человеческого, не человек, а сам черт, «отец лжи», в образе Хлестакова или Чичикова, плетет свою вечную, всемирную «сплетню». «Я совершенно убедился в том, что сплетня плетется чертом,

а не человеком, — пишет Гоголь в частном письме по поводу частного дела. — Человек от праздности и сгруппа брякнет слово без смысла, которого бы и не хотел сказать (не так ли именно Бобчинский и Добчинский брякнули слово „ревизор“?). Это слово пойдет гулять; по поводу его другой отпустит в праздности другое; и мало-помалу сплетется сама собою история, без ведома всех. Настоящего автора ее безумно и отыскивать, потому что его не отыщешь... Не обвиняйте никого. Помните, что все на свете — обман, все кажется нам не тем, чем оно есть на самом деле... Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия ревизовать Тот, Кого ничем не подкупишь» (Письмо к N. F. из Москвы от 6 декабря 1849.) Не дан ли здесь полный, не только понятный всем, реальный, но и до сей поры никем, кажется, непонятый, мистический замысел «Ревизора»?

В Хлестакове, кроме реального человеческого лица, есть «призрак»: «это фантасмагорическое лицо, — говорит Гоголь, — которое, как лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой Бог знает куда». Герой «Шинели» Акакий Акакиевич, точно так же, как Хлестаков, только не при жизни, а после смерти своей, становится призраком-мертвецом, который у Калинкина моста пугает прохожих и стаскивает с них шинели. И герой «Записок сумасшедшего» становится лицом фантастическим, призрачным — «королем испанским Фердинандом VIII». У всех троих исходная точка одна и та же: это мелкие петербургские чиновники, обезличенные клеточки огромного государственного тела, бесконечно малые дробы бесконечно великого целого. Из этой-то исходной точки — почти совершенного поглощения живой человеческой личности мертвым безличным целым — устремляются они в пустоту, в пространство, и описывают три различные, но одинаково чудовищные параболы: один — во лжи, другой — в безумии, третий — в суеверной легенде. Во всех трех случаях, личность отомщает свое реальное отрицание; отказываясь от реального, мстит призрачным, фантастическим самоутверждением... Человек старается быть не тем, что есть, потому что не хочет, не может, не должен быть ничем. И в мертвом лице Акакия Акакиевича, и в сумасшедшем лице Поприщина, и в лживом лице Хлестакова, сквозь ложь, безумие и смерть, мелькает нечто истинное, бессмертное, сверхразумное, что есть во всякой человеческой личности и что кричит из нее к людям, к Богу: я — один, другого подобного мне никогда нигде не было и не будет, я сам для себя все. «Я, я, я!» — как в исступлении кричит Хлестаков...

В качестве реальной величины в государстве Хлестаков — ничтожество: «один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими». Собственный лакей его, дурак и плут Осип, презирает барина: «добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой». Он, однако, сын дворянина, старосветского помещика из глубины России. Но никакой связи со своим родом, народом, землею он не сохранил. Он весь до мозга костей петербургский безземельный «пролетарий», безродный, искусственный человек-гомункул, выскочивший из петровской Табели о рангах, как из алхимической склянки. Люди прошлого, подобные отцу его, для него — варвары, почти и не люди: «Они, пентюхи, и не знают, что такое значит „прикажете принять“». К ним, если придет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, в гостиную». Отрицание, впрочем, обоюдное: «Батюшка присылает ему денежки»; но если бы узнал он, как живет сынок в Петербурге: «делом не занимается — вместо того, чтобы в должность, а он идет гулять по проспекту, в картишки играет», то, по выражению Осипа, «не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, подняв рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня бы четыре ты почесывался».

Как личность умственная и нравственная, Хлестаков отнюдь не полное ничтожество. «Хлестаков, — определяет Гоголь, — есть человек ловкий, совершенный *comme il faut*, умный, даже пожалуй, добродетельный», — ну, конечно, не слишком умный и добродетельный, но зато и не слишком глупый и злой. У него самый обыкновенный ум, самая обыкновенная — общая, легкая, «светская совесть». В нем есть все, что теперь в ход пошло и что впоследствии окажется пошлым. «Одет по моде», и говорит, и думает, и чувствует по моде. «Он принадлежит к тому кругу, который, по-видимому, ничем не отличается от прочих молодых людей», — замечает Гоголь. Он как все: и ум, и душа, и слова, и лицо у него, как у всех. В нем, по глубокому определению опять-таки самого Гоголя, ничего не означено резко, то есть определенно, окончательно, до последнего предела, до конца. Сущность Хлестакова именно в этой неопределенности, неоконченности. «Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли» — не способен сосредоточить, довести до конца ни одну из своих мыслей, ни одно из своих чувств. Он, как выражается черт Ивана Карамазова, «потерял все свои концы и начала»; он — воплощенное отрицание всех концов и начал, воплощенная нравственная и умственная середина, посредственность.

Но главные силы, которые движут и управляют им, — не в общественной и не в умственной или нравственной личности,

а в безличном, бессознательном, стихийном существе его — в инстинктах. Тут прежде всего слепой животный инстинкт самосохранения — неимоверный волчий голод: «так хочется есть, как еще никогда не хотелось... Тьфу, даже тошнит...» Это не простой мужичий голод, который насыщается хлебом насущным, а благородный, господский. В праве на удовлетворение этого голода Хлестаков сознает себя в высшей степени баринном: «Ты растолкуй ему (хозяину гостиницы) серьезно, что мне нужно есть... Он думает, что как ему, мужику, ничего, если не поест день, так и другим то же. Вот новости!» Есть хочется, нужно есть — это уж нечто безусловное, бесконечное в существе Хлестакова, — во всяком случае это его естественный конец и начало, его первая и последняя правда.

Природа, наделив его такую потребностью, вооружила и особую силою для ее удовлетворения, — силою лжи, притворства, умения казаться не тем, что он есть. И эта сила у него опять-таки не в уме, не в воле, а в глубочайшем бессознательном инстинкте. Некоторые насекомые формою и окраскою тел с точностью до полного обмана даже человеческого зрения воспроизводят форму и окраску мертвых сучков, увядших листьев, камней и других предметов, пользуясь этим свойством, как оружием в борьбе за существование, дабы избегать врагов и ловить добычу. В Хлестакове заложено природою нечто подобное этой первозданной, естественной лжи или мимике лицедейства. В устах его ложь есть вечная «игра природы». Язык его лжет так же произвольно, неудержимо, как сердце бьется, легкие дышат. «Хлестаков лжет, — говорит Гоголь, — вовсе не холодно или фанфаронски-театрально! он лжет с чувством; в глазах его выражается наслаждение, получаемое им от этого. Это вообще лучшая и самая поэтическая минута его жизни — почти род вдохновения». Ложь Хлестакова имеет нечто общее с творческим вымыслом художника. Он опьяняет себя своею мечтою до полного самозабвения. Меньше всего думает о реальных целях, выгодах. Это ложь бескорыстная, — ложь для лжи, искусство для искусства. Ему в эту минуту ничего не надо от слушателей: только бы они поверили. Он лжет невинно, бесхитростно и первый сам себе верит, сам себя обманывает — в этом тайна его обаяния. Он лжет и чувствует: это хорошо, это правда. То, чего нет, для него, как для всякого художника, прекраснее и потому правдивее самой правды. Он весь горит и трепещет, как бы от священного восторга. Тут какая-то нега, сладострастие лжи. Если бы стали обличать его, он сначала просто не понял бы, а потом с чувством высшей поэтической правды и правоты презрел бы столь грубую, низ-

менную точку зрения. Беззащитно и беззлобно огорчился бы, как обиженный ребенок, как оскорбленный чернью поэт. Недаром утверждает Гоголь, что одно из главных свойств Хлестакова — «чистосердечие и простота». У этого гения лжи, как у всякого истинного гения, — почти детская простота и ясность. Тот Хлестаков, который берет взятки у обманутых им чиновников с такою бесстыдною наглостью, — уже совсем другой человек: поэт исчез, вдохновение потухло:

Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

С ложью связано в нем другое столь же первозданное, стихийное свойство. «У меня — признается он, — легкость в мыслях необыкновенная». Не только в мыслях, но и в чувствах, в действиях, в словах, даже в «тоненьком, худеньком теле», во всем существе его «необыкновенная легкость»: весь он точно «ветром подбит, едва земли касается — вот-вот вспорхнет и улетит. Для него и в нем самом нет ничего трудного, тяжелого и глубокого — никаких задержек, никаких преград между истинной и ложью, добром и злом, законным и преступным; он даже не преступает, а перелетает, благодаря этой своей окрыляющей легкости, через «все черты и все пределы». Величайшие мысли человечества, которые давят его целые века своею тяжестью, попадая в голову Хлестакова, становятся вдруг легче пуха. Вот, например, одна из главных мыслей XVII и XVIII веков, Монтэня, Гоббса, Жан-Жака Руссо — мысль о «естественном состоянии», о возврате человека в природу. Когда Хлестаков признается в любви жене Городничего, та отвечает ему с робким недоумением: «Но позвольте заметить, я в некотором роде... я замужем». — «Это ничего, — возражает Хлестаков. — Для любви нет различия: и Карамзин сказал: „Законы осуждают“. Мы удалимся под сень струй»... Это значит человеческие законы осуждают нашу свободную любовь, но мы уйдем от людей в природу, где царствуют иные вечные законы. От древнегреческой идиллии Дафниса и Хлои, которые тоже были счастливы «под сенью струй», до чувствительных романов XV века, до пастушеских сцен во вкусе Ватто, Бушэ, и через Карамзина до Хлестакова — какой невероятный путь прошла человеческая мысль и во что она превратилась! А вот и другая сторона этой же самой мысли о противоположности природы и человека, естественного и культурного состояния: «Деревня, впрочем, имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит

с Петербургом! Эх Петербург! что за жизнь, право!» Точно так же соблазны культуры понимает и лакей Осип: «Жизнь тонкая и политичная; кястры, собаки тебе танцуют, и все, что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности... Галантерейное, черт возьми, обхождение!»

Эпикурейское вольнодумство, возрожденная языческая мудрость, принцип: «Жизнью пользуйся, живущий!» — сокращается у Хлестакова в изречете новой положительной мудрости: «Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия». Как просто, как общедоступно! Это освобождение от всех нравственных уз не превратится ли впоследствии в ницшеанское, карамазовское: «Нет добра и зла, все позволено»? И здесь, и там — одно начало: крылья орла и крылья мошки борются содними и теми же законами всемирного тяготения.

Это — язычество; а вот и христианство — тоска по неземной отчизне, «идеализм» Хлестакова, — из письма его к приятелю Тряпичкину: «Прощай, душа Тряпичкин... Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться». Таков всеобъемлющий круг его созерцания: все, что имеет три измерения, приводит он к двум или к одному — к совершенной плоскости, пошлости, потому все это и в ход пошло, что так пошло. Он сокращает всякую мысль до последней степени краткости, облегчает ее до последней степени легкости, отбрасывает ее конец и начало, оставляя одну лишь бесконечную малую, самую срединную точку — и то, что было вершиною горного кряжа, становится пылинкою, носимую ветром по большой дороге. Нет такого благородного чувства, такой глубокой мысли, которые не могли бы, стершись, выветрившись, благодаря этому хлестаковскому гению сокращения, облегчения, сделаться серою пылью.

Дух его родствен духу времени. «Я литературой существую», — говорит Хлестаков, и это не ложь, а глубокое признание. Он друг не только Тряпичкина, Булгарина, Сенковского, Марлинского, но и самого Пушкина, камер-юнкера, которому в лице какого-нибудь модного великосветского хлыща, совершенного *comme il faut*, одного из бесчисленных однодневных приятелей Александра Сергеевича, «доброго малого», пожимает руку на придворных балах, со снисходительной развязностью: «Ну, что, брат?» — «Да так, брат, — отвечал, бывало, тот, — так как-то все»... «Большой оригинал!» И ведь уж, конечно, та сплетня, от которой Александр Сергеевич погиб, обошлась не без участия Ивана Александровича Хлестакова. Пушкин погиб, а Хлестаков процветает. Дух его сказывается не только в романтических

«кровавых незабудках» начала XIX века, но и в нашей современной декадентской резвости, в нашей ницшеанской дерзости, за которые здравый смысл, как старый барин, если бы узнал, в чем дело, не посмотрел бы на то, что ты декадент или ницшеанец, а, «поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня бы четыре ты почесывался». — «Я им всем поправлял стихи, — мог бы сказать Хлестаков и о новейших поэтах, — моих много есть сочинений уж и названий даже не помню». Стоит прислушаться к приятелю Тряпичкину: «Прощай, душа Тряпичкин... Скучно, брат, так жить, хочешь, наконец, пищи для души. Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться». Таков всеобъемлющий круг его созерцания: все, что имеет три измерения, приводит он к двум, к опереточной музыке, этому *Leit-Motiv'u* прошлого века, так назойливо заглушающему Бетховена и Вагнера, чтобы почувствовать бессмертного Хлестакова, которому пессимизм XIX столетия ничуть не помешал «срывать цветы удовольствия». «Я ведь тоже разные водевильчики»... Стоит зайти в любой театр, чтобы убедиться, что и в наши дни театральные дирекции говорят своему доброму приятелю, Ивану Александровичу: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец». И тут же в один вечер, кажется, все написал». Стоит заглянуть в любую сегодняшнюю газету, чтобы из мнений о пользе велосипедного спорта и свободы совести, о прелестях Кавальери и Венеры Милосской, из предсказаний погоды и будущности России, так и пахнуло на нас «необыкновенною легкостью в мыслях». Тут именно, в современной печати, в гласности, с каждым днем все растет и растет Хлестаков. Теперь скорее, чем когда-либо, мог бы он сказать, не хвастая: «Я литературой существую», и литература существует мною. И газетный листок, ужасается Гоголь, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые, видите, в виду всех чертит исходящая снизу нечистая сила, и мир это видит весь, и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! Эта исходящая снизу нечистая сила и есть, конечно, сила Хлестакова, который уже не только в литературе, но и на страницах всемирной истории от Парижа до Пекина, от Лондона до Трансвааля, пишет свои «водевильчики», сплетает свою сплетню.

И все растет, растет, как туманное видение, как фата морганна. «Выше, выше, *excelsior!*¹» — это бранный клич Хлестакова, клич современного прогресса. «Один раз я даже управлял де-

¹ Все выше! (*Лат.*)

партаментом». Это ложь? Едва ли. Может быть, он действительно с тех пор не раз управлял многими департаментами. Может быть, и в наши дни его упрасивают: «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять». — «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, так и быть, только уж у меня ни, ни, ни! уж у меня ухо остро! уж я»... «Меня сам государственный совет боится». Может быть, и в наши дни, когда вечно юный Хлестаков проходит через либеральнейший из департаментов, «просто землетрясение, все дрожит, трясется, как лист». И если не тридцать пять тысяч курьеров, то поезда-молнии, телеграфы, телефоны все еще служат ему. Кто из нас не слышал над собой его начальнического окрика: «О, я шутить не люблю, я им всем задам острастку!» Но выше, выше, excelsior!

Привидение растет, мыльный пузырь надувается, играя волшебной радугой. «Да что в самом деле? Я такой! Я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: „Я сам себя знаю, сам“». «Я везде, везде». Вот нуменальное слово, вот уже лицо черта почти без маски: он вне пространства и времени, он вездесущ и вечен. «Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш...» (поскальзывается и чуть-чуть не падает на пол, но с почтением поддерживается чиновниками).

До чего бы дошел он, если бы не поскользнулся? Назвал ли бы себя, как всякий самозванец, самодержцем? А может быть, в наши дни не удовольствовался бы и царственным, никаким вообще человеческим именем, и уже прямо назвал бы себя «сверхчеловеком», «человекобогом»: сказал бы то, что у Достоевского черт советует сказать Ивану Карамазову: «Где станет Бог — там уже место Божие; где стану я, там сейчас же будет первое место — и все позволено».

Ведь это Хлестаков почти и говорит, по крайней мере, хочет сказать, а если не умеет, то только потому, что слов таких еще нет: «Я сам себя знаю, сам... я, я, я»... От этого исступленного самоутверждения личности один только шаг до самообожествления, которое в больной голове Поприщина дает сумасшедший, но все еще сравнительно скромный вывод: «Я король испанский Фердинанд VIII», а в метафизической голове Ницше и нигилиста Кириллова, героя «Бесов» — уже окончательный, насколько более, величественный вывод: «Если нет Бога, то я — Бог!»

Недаром бедные чиновники уездного городка подавлены как бы сверхчеловеческим величием Хлестакова. Генерал это ведь для них и значит — почти сверхчеловек. «Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?» — «Я думаю, чуть ли не генерал». — «А я так думаю, что генерал-то

ему и в подметки не станет! А когда генерал, то уж разве сам генералиссимус!..» — «Вот это, Петр Иванович, человек-то! — заключает Бобчинский. — Вот оно, что значит человек!» А уничиженный Артемий Филиппович Земляника только лепечет, дрожа и бледнея: «Страшно, просто. А отчего — и сам не знаешь». И действительно, по сцене проносится как бы дыхание какого-то сверхъестественного ужаса.

Зрители смеются и не понимают страшного в смешном, не чувствуют, что они, может быть, обмануты еще больше, чем глупые чиновники. Никто не видит, как растет за Хлестакова исполинский призрак, тот, кому собственные страсти наши вечно служат, которого они поддерживают, как поскользнувшегося ревизора — чиновники, как великого Сатану — мелкие черти. Кажется, и доныне никто не увидел, не узнал его, хотя он уже является «в своем собственном виде», без маски или в самой прозрачной из масок, и бесстыдно смеется людям в глаза и кричит: «Это я, я сам! Я везде, везде!»

III

Ежели не зрители, то действующие лица чувствуют какую-то ошеломляющую сонную мглу, фантастическое марево чорта. «Со мной чудеса», — с лукавым простодушием говорит сам Хлестаков в письме к Тряпичкину. «Что за черт!» — недоумевает Городничий, протирая глаза, словно просыпаясь. И перед самую катастрофу, уже проснувшись: «До сих пор не могу придти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, то отнимет прежде разум». — «Уж как это случилось, — изумляется Артемий Филиппович, беспомощно расставив руки, — хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошелолил, черт попутал». — «Неестественная сила побудила, — объясняет почтмейстер душевное состояние, в котором находился, распечатывая письмо мнимого ревизора, — словно бес какой шепчет: „распечатай, распечатай, распечатай!“ И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей богу мороз. И руки дрожат, и все помутилось». — «Что ж он по-вашему такое?» — спрашивает Городничий о Хлестакове. — «Ни се, ни то, черт знает что такое!» — нечаянно определяете почтмейстер самую внутреннюю мистическую сущность духа Вечной Середины. Если бы не умчался Хлестаков на тройке своей, не рассеялся призраком в им же напущенном тумане, то Городничий мог бы спросить его, как в другой комедии Гоголя спрашивает плут плута: «Да ты кто?

черт ты? говори, кто ты?» И тот ответил бы ему почти такими же словами, как он действительно отвечает у Гоголя, и как у Достоевского подлинный черт мог бы ответить Ивану Карамазову: «Да, кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом». — «Проходит страшная мгла жизни, — пишет Гоголь в одной из своих «„заметок на доскутках”, — и еще глубокая сокрыта в том тайна. — Не ужасное ли это явление-жизнь без подпоры прочной? Не страшно ли великое она явление? Так — слепа)... В этой страшной мгле ослепшие люди блуждают и кажутся друг другу привидениями. «Ничего не вижу, — стонет Городничий, ошеломленный туманом — вижу какие-то свиные рыла, вместо лиц, а больше ничего». — «Вспомните Египетскую Тьму, — объясняет Гоголь по другому поводу в статье „Страхи и ужасы России”, — это марево черта. Слепая ночь обняла их вдруг, среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего; все чувства, все побуждения, все силы в них погинули, кроме одного страха».

И вот «явление последнее», не только в обыкновенном, сценическом, но и в более глубоком, символическом смысле — «последнее явление», видение, которым кончается все: «Те же и жандарм»: «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сейчас же к себе». Произнесенные слова поражают как громом всех. И далее страшная немая сцена — окаменение ужаса. Мы должны верить по замыслу Гоголя, что этот петербургский чиновник, являющийся, как «бог из машины», как ангел в средневековых мистериях, есть подлинный. Ревизор — воплощенный рок, совесть человеческая, правосудие Божеское. Мы, однако, не видим его; он остается для нас еще более, чем Хлестаков, лицом фантастическим, призрачным. Но если бы мы увидели его, кто знает, не оказалось ли бы странное сходство между двумя «чиновниками из Петербурга», большим и маленьким, не мелькнуло ли бы в грозном лице этого будто бы истинного ревизора знакомое лицо человека светского, гораздо высшего полета, чем Иван Александрович, но столь же ловкого, «совершенного *comme il faut*, умного, даже, пожалуй, добродетельного» и вместе с тем такого, который решительно «ничем не отличается от прочих», от всех? В его начальническом окрике, когда примется он распекаль с высоты непогрешимого будто бы правосудия своего младших братьев, бедных уездных чиновников, не прозвучит ли знакомый, только что слышанный окрик: «Уж у меня ни, ни, ни! Уж у меня ухо вос-

тро!.. О, я шутить не люблю, я вам всем задам острастку!»)? Что, если в образе второго ревизора возвращается, совершив один из своих вечных кругов, первый, только что умчавшийся Иван Александрович в качестве Хлестакова высшего полета, в новом и окончательном последнем явлении своем. «По повелению из Петербурга» — вот что оглушает «как громом» всех, не только действующих лиц и зрителей, но, кажется, и самого Гоголя. Повеление из Петербурга? Но откуда же, как не из Петербурга — этого самого призрачного, туманного, «фантастического из всех городов земного шара», ползет и расстилается по всей России тот ошеломляющий «туман», та страшная мгла жизни, «египетская тьма», чертово марево, в которых «ничего не видно, видны какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего». Оба ревизора, первый и второй, простой «елистратишка» и настоящий «генералиссимус», не одинаково ли законные дети одной и той же Табели о рангах, не плоды ли одного и того же «петербургского периода» русской истории? Да и весь этот чудовишный уездный город не часть ли великого всероссийского «Града», гражданства, не отражение ли крошечное, обратное, но совершенно точное, как в капле воды, самого Петербурга? Петербург создал, вызвал из небытия этот город. По какому же праву, с какой высоты будет он судить и казнить его? В самом Петербурге гоголевских времен, что собственно, произошло такого, что могло бы разразиться над этим маленьким Содомом не как хлестаковский, а действительно Божий гром, что могло бы явиться среди этих «свиных рыл» не как лицо жандарма, все-таки похожее отчасти на лицо Держиморды, а как действительно человеческое лицо Божеского правосудия? Нет, «Ревизор» не кончен, не признан до конца самим Гоголем и не понят зрителями; узел завязки развязан только условно, сценически, но отнюдь не реально — не религиозно. Одна комедия кончена, начинается или должна бы начаться другая, высшая, насколько более смешная и страшная. Мы ее так и не увидим на сцене, но и до сей поры разыгрывается она за сценою, в жизни, действительности. Это, впрочем, сознает отчасти и Гоголь. «„Ревизор“ — без конца», — говорит он. Мы могли бы прибавить: «Ревизор» — бесконечен. Это смех не какой-либо частный, временный, исторический, а именно бесконечный и вечный смех русской совести над русским современным «Градом».

«В итоге, — говорит опять сам Гоголь устами одного из лиц в развязке «Ревизора», — в итоге остается что-то этакое... я вам даже объяснить не могу, — что-то чудовищно-мрачное, какой-то страх от беспорядков наших. Самое это появление

жандарма, который является в дверях, это окаменение, которое наводят на всех его слова, возвещающие о приезде настоящего ревизора, который должен их истребить с лица земли, уничтожить вконец — все это как-то необыкновенно страшно».

Почему в самом деле это так страшно? Не заключает ли в себе и это окаменение, как все в «Ревизоре», какого-то глубокого «пробраующего смысла».

«Эй, вы, залетные!» — слышен за сценою голос ямщика в конце четвертого действия. Колокольчик звенит, тройка мчится, и Хлестаков, «фантазмагорическое лицо, как олицетворенный обман, уносится вместе с тройкой бог весть куда». Эта тройка Хлестакова напоминает тройку Поприщина: «Дайте мне тройку быстрых как вихрь коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего». Точно так же и Хлестаков уносится на тройке своей в неопределенное пространство, в пустоту, в небытие, из которых он вышел, сам воплощенное небытие и пустота, — в ничто. И между тем, как все реальное, существующее, прошлое и настоящее перед неизбежным «последним явлением» мистического Держиморды, замерло в неподвижности, окаменело в бессмысленном ужасе, — один только призрачный Хлестаков, с «необыкновенною легкостью в мыслях», в вечном движении несется в неизмеримый пространства будущего. «Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит». Вперед, вперед! Excelsior! Что, значит, говоря словами Гоголя, «это наводящее ужас движение» с одной стороны и эта наводящая ужас неподвижность с другой? Неужели окаменевший русский «Град», без железных цепей скованный «египетской тьмой», — это вся старая и современная Россия; а летящий куда-то к черту Хлестаков — это Россия новая? Каменная тяжесть, призрачная легкость, реальная пошлость настоящего, фантастическая пошлость грядущего, и вот два одинаково плачевные конца, два одинаково страшные пути России к черту в пустоту, в «нигилизм», в ничто. И в этом смысле какую ужасною, неожиданною для самого Гоголя насмешкою звучит его сравнение России с несущейся тройкою: «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливаются колокольчик. („Звени мой колокольчик”, — бредит Поприщин, в четвертом действии „Ревизора” „колокольчик звенит”). Летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Безумный Поприщин, остроумный Хлестаков и благообразный Чичиков — вот кого мчит эта символическая русская тройка

в своем страшном полете в необъятный простор или необъятную пустоту. «Горизонт без конца... Русь! Русь! вижу тебя... Что прощит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?» Увы, на этот вопрос беспощадно ответил вещий смех Гоголя! Как исполинские видения, как «дряхлые страшилища с печальными лицами», предстали ему только два «героя нашего времени», два «богатыря», рожденные необъятным русским простором — Хлестаков и Чичиков.

IV

В Хлестакове преобладает начало движения «прогресса»; в Чичикове — начало равновесия, устойчивости. Сила Хлестакова в лирическом порыве, опьянении; сила Чичикова — в разумном спокойствии, трезвости. У Хлестакова «необыкновенная легкость», у Чичикова необыкновенная вескость, основательность в мыслях. Хлестаков — созерцатель; Чичиков — деятель. Для Хлестакова все желанное — действительно; для Чичикова все действительное — желанно. Хлестаков — идеалист; Чичиков — реалист. Хлестаков — «либерал»; Чичиков — «консерватор». Хлестаков — «поэзия»; Чичиков — «правда» современной русской действительности.

Но, несмотря на всю эту явную противоположность, тайная сущность их одна и та же. Они — два полюса единой силы; они — братья-близнецы, дети, русского среднего сословия и русского XIX века, самого срединного, буржуазного из всех, веков; насущность обоих — вечная середина, «ни то, ни се» — совершенная пошлость. Хлестаков утверждает то, чего нет, Чичиков — то, что есть, — оба в одинаковой пошлости. Хлестаков замышляет, Чичиков исполняет. Фантастический Хлестаков оказывается виновником самых реальных русских событий, так же, как реальный Чичиков виновником самой фантастической русской легенды о «Мертвых душах». Это, повторяю, два современных русских лица, две ипостаси вечного и всемирного зла — черта. «Справедливее всего, — замечает Гоголь, — назвать Чичикова — хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего».

— «Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! Так вот вы приобрели, — говорит председатель, после совершения купчей крепости на мертвые души.

— Приобрел, — говорит Чичиков.

— Благое дело! право, благое дело!

— Да, я вижу сам, что более благого дела не мог бы принять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал, наконец, твердою стопой на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности».

Не выражает ли тут устами Чичикова вся европейская культура XIX века свою самую внутреннюю сущность? Высший смысл жизни, последняя цель человека «не определена» на земле. Конец и начало мира непознаваемы; только середина — мир явлений — доступна познанию, чувственному опыту, а следовательно, и реальна. Единственное и окончательное мерило для оценки всего есть прочность, основательность, «позитивность» этого чувственного опыта, то есть обыкновенной, «здоровой» — средней человеческой чувственности. Все философские и религиозные чаяния прошлых веков, все их порывы к безначальному и бесконечно сверхчувственному — суть, по коптевскому определению, только «метафизические» и «теологические» бредни, «вольнодумные химеры юности». Но герой наш (герой нашего времени, как и само время) уже был средних лет и осмотрительно-охлажденного характера. Он задумался «положительнее», то есть «позитивнее». И вот главная позитивная дума Чичикова и есть именно дума о том, как бы отвергнуть все, что кажется ему «химерою», обманчивым призраком бесконечного, безусловного, «стать твердою стопой на прочное основание» условного, конечного, относительного, единственного, будто бы реального. «Но замечательно, — прибавляет Гоголь, — что в словах его была все какая — то нетвердость, как будто бы тут же сказал он себе: „Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно!“» Да, в глубине чичиковского «позитивизма» такое же всемирное «вранье», как в глубине хлестаковского идеализма. Желание Чичикова «стать твердою стопой на прочное основание» — это именно то, что теперь в ход пошло, а потому — пошло, как, впрочем, и желание Хлестакова «заняться, наконец, чем-нибудь высоким». Оба они только говорят и думают, «как все»; а в сущности ни Чичикову нет никакого дела до «прочных» основ, ни Хлестакову — до горных вершин бытия. За консервативною основательностью у одного «скрывается такая же химера», пустота, ничто, как за либеральною «легкостью мыслей» — у другого. Это не два противоположные конца и начала, не две безумные, но все-таки честные крайности, а две «бесчестные, потому что слишком благоразумные», середины, две одинаковые плоскости и пошлости нашего века.

Ежели нет в человеческой жизни никакого определенного смысла, высшего, чем сама эта жизнь, то нет для человека на земле и никакой определенной цели, кроме реальной победы в реальной борьбе за существование. «Так есть хочется, как еще никогда не хотелось!» — этот бессознательный, стихийный вопль Хлестакова, «голос природы», становится сознательной, общественно-культурной мыслью у Чичикова — мыслью о приобретении, о собственности, о капитале. «Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете... Копейка не выдаст... Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой» Вот завет отца и всего духовного отечества Чичикова XIX века. Вот самая «позитивная» мысль самого позитивного из всех веков, с его пронизавшим насквозь всю культуру, промышленно-капиталистическим, буржуазным строем; вот единственно будто бы «прочное основание», найденное ежели не в отвлеченном созерцании, то в жизненном действии и противопоставляемое всем «хищникам» прошлых веков. Тут нет, конечно, правды Божеской, зато есть «человеческая, слишком человеческая» правда, может быть, отчасти даже оправдание. Сила денег для Чичикова вовсе не грубая, внешняя, а внутренняя сила духа, мысли, воли, своего рода бескорыстия, героизма, самопожертвования. Когда князь, приехавший тоже, как и второй ревизор, «по именному повелению из Петербурга», в присутствии двух дюжих жандармов распекает Чичикова: «С сей же минуты будешь отведен в острог и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен ждать разрешения участи своей!» — «Я человек, ваше сиятельство! — возражает Чичиков. Кровью нужно было добывать насущное существование... Ведь с терпением, можно сказать, кровавым добывал копейку, трудами, трудами, не то, чтобы кого ограбил, или казну обворовал, как делают... Где справедливость Небес? Где награда за терпение, за постоянство беспримерное?.. Ведь сколько нужно было побороть, сколько вынести! Ведь всякая копейка выработана, так сказав, всеми силами души!»... В мысли о деньгах заключено для него нечто безусловное, как бы даже бесконечное, почти религиозное. «Шкатулка! — раздирающим душу голосом вопит он в тюрьме перед тем, как разорвать на себе фрак «наваринского пламени с дымом». — Шкатулка! Ведь там все имущество... Все украдут, разнесут! О, Боже!» Эта таинственная шкатулка для него новый «ковчег Завета».

Странствующий рыцарь денег, Чичиков кажется иногда в такой же мере, как Дон Кихот, подлинным, не только комиче-

ским, но и трагическим героем, «богатырем» своего времени. «Назначение ваше — быть великим человеком», — говорит ему Муразов. И это отчасти правда: Чичиков так же, как Хлестаков, все растет и растет на наших глазах. По мере того как мы умиляемся, теряем все свои «концы» и «начала», все «вольнодумные химеры», наша благоразумная середина, наша буржуазная «положительность», Чичиков, кажется все более и более великою, даже прямо бесконечною.

V

«Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней; оставить жене, детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы отечеству. Вот для чего хотел приобрести!» — «В нем, — говорит Гоголь, — не было привязанности собственно к деньгам для денег, им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всеми достатками: экипажи, дом отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы, наконец, потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе, и другому. Когда проносился мимо него богатч на пролетных красивых дрожках, на рысках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!» И все, что ни отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим». Так называемый комфорт, то есть высший культурный цвет современного промышленно-капиталистического и буржуазного строя, комфорт, которому служат все покоренные наукой силы природы — звук, свет, пар, электричество, — все изобретения, все искусства — вот последний венец земного рая для Чичикова. «Пуще всего в покойном довольстве жить любите — это пуще всего-с», — определяет лакей Смердяков барину Ивану Карамазову его глубочайшую духовную сущность. Не восторг, не роскошь, не опьянение, не последний предел счастья, — а лишь срединное благополучие, умеренная сытость духа и тела, «спокойное довольство» вот затаенная мечта, которая соединяете Ивана Карамазова, трагического героя, с героем комическим, Чичиковым, чрез Смердякова.

«Вы, как Федор Павлович (то есть отец Карамазова)», — говорит Ивану Смердяков. «Вы, как Павел Иванович, — мог

бы он сказать с еще большим правом, — наиболее-с, из всех детей наиболее на него похожи вышли, с одною с ними душой-с». Бунт Ивана, сверхчеловеческая гордыня, с которою он восклицает: «Все позволено: если нет Бога, то я — Бог!» — это все еще «вольнодумная химера юности», хлестаковская «легкость в мыслях», то есть все-таки более или менее «вранье» или самообман. Но Хлестаков устанет врать, буря утихнет, волны улягутся и обнаружится вновь средний уровень века, его нуменальная срединность, его несокрушимая плотина — «прочное основание»: «пуще всего в покойном довольстве жить».

И даже в страшном лице Великого Инквизитора мелькает знакомое лицо не только отца Федора Павловича, но и деда Павла Ивановича. И Антихристово царство, противопоставляемое Великим Инквизитором царству Христову — эти «тысячи миллионов счастливых младенцев», умеренная сытость, «спокойное довольство» всего человечества к комфортабельных «алюминиевых дворцах», в вавилонской башне социал-демократии есть ничто иное, как царство Чичикова, всемирного и вечного Чичикова *sub specie aeterni*, ибо царство его и есть именно царство «от мира сего»: в Чичикове, говорит Гоголь, было «все, что нужно для этого мира».

VI

Вместо блаженства — благополучие, вместо благородства — благоприличие, то есть внешняя, условная добродетель, ибо для Чичикова, как для истинного позитивиста, нет ни в добре, ни во зле ничего безусловного. Так как единственная определенная цель и высшее благо человека на земле есть «спокойное довольство», а единственный путь к нему приобретение, то вся нравственность и подчиняется этой цели и этому благу, ибо «если уж избрана цель — нужно идти напролом. «Вперед, вперед! *Excelsior!*» — этот бранный клич современного прогресса, клич не только Хлестакова, но и Чичикова. «Покривил, не скрою покривил... что ж делать? — сознается он однажды в минуту отчаяния. — Но ведь покривил только тогда, когда увидел, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше напрямик».

«Чему я всем обязан? — мог бы ответить за Чичикова герой „Игроков“. — Именно тому, что называют плутовством. И вздор, вовсе не плутовство... Ну, положим — плутовство.

Да ведь необходимая вещь, — что ж можно без него сделать?.. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Этак прожить, как дурак, проживет всякий, это не штука, но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обманутым самому — вот настоящая задача и цель!» Если бы это говорил не жалкий провинциальный шулер, а такой политик Возрождения, как Макиавелли или такой завоеватель, как Цезарь Борджиа, то, как знать, может быть, Иван Карамазов и Ницше признали бы в этой свободе от всех нравственных законов свою собственную свободу «по ту сторону добра и зла», свое сверхчеловеческое «все позволено». И черт Смердяков опять воскликнул бы: «Все это очень мило, только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины?» Когда Чичиков говорит: «В другом поступке, по человечеству, могу провиниться, но в подлости никогда», — то он искренен. Добро и зло для него так условны — сравнительно с высшим благом-приобретением, что он иногда сам не сумел бы отличить одно от другого; сам не знает, где кончается вложенный в него природою инстинкт «хозяина», «приобретателя», и где начинается подлость: средняя подлость и среднее благородство смешиваются в одно «благоприличие», «благопристойность».

При первом же взгляде на Чичикова, видно было, — говорит Гоголь — «благоприличие изумительное». «Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал на свете». Эстетика Чичикова так же, как этика, есть общее достояние современной мещански-денежной культуры. «Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева, и все бы было благородно... Он всякие два дня переменял на себе белье, а летом, во время жаров, даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидывать сапоги, клал себе в нос гвоздику». Общедоступная полезность, удобство, комфорт, чистота, гигиена — середина в прекрасном так же, как в добром.

Несмотря на весь свой глубокий консерватизм, Чичиков — отчасти и западник. Подобно Хлестакову, он чувствует себя в русском провинциальном захолустье представителем европейского просвещения и прогресса: тут глубокая связь Чичикова с «петербургским периодом» русской истории, с Петровскими преобразованиями. Чичикова тянет на Запад: он как будто предчувствует, что там его сила, — его грядущее «царство». «Вот

бы куда перебраться, — мечтает он о таможне, — и граница близко, и просвещенные люди. А какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам. Европейское просвещение только усиливает сознание русского барина, «просвещенного дворянина», в его вековой противоположности темному народу. «Хорош, очень хорош! — восклицает однажды Чичиков, заметив, что Петрушка пьян. — Уж вот можно сказать: удивил красотой Европу!» — Сказав это, Чичиков погладил свой подбородок и подумал: «Какая, однако ж, разница между просвещенным дворянином и грубой лакейской физиономией!»

Русская культура — это повелось еще с Петра — срывает со всемирной только хлестаковские «цветы удовольствия», снимает с нее только лакомую пенку или накипь: плоды высшего западноевропейского просвещения проникают в Россию вместе с прочим «галантерейным товаром», наравне с «голландскими рубашками» и «особым сортом французского мыла, которое сообщает необыкновенную белизну и свежесть» русской дворянской коже. Из всемирной культуры выбирает Чичиков то, что нужно ему, а все прочее, слишком глубокое и высокое, с такою же гениальною легкостью, как Хлестаков, сводит к двум измерениям, облегчает, сокращает, расплющивает до последней степени плоскости и краткости. Чичиковское рассуждение «о блаженстве двух душ» и чтение Собакевичу послания в стихах Вертера к Шарлотте стоят в своем роде хлестаковского: «Под сенью струй». «Сердце у него было сострадательное, и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медная гроша» — таково христианство Чичикова, его любовь к другим. А вот и язычество, его любовь к себе: стоя перед зеркалом, он «делает себе множество приятных сюрпризов, подмигивает бровью и губами, делает кое-что даже языком, наконец, слегка треплет себя по подбородку» и восклицает с умиленною нежностью: «Ах, ты мордашка эдакой!»

Христианство, которое раскошеливается на медный грош «благотворительности», язычество, которое кончается любовью к собственной «мордашке», очень легко соединить в благоразумной и безопасной середине, в «комфортабельном» служении Богу и Мамону вместе.

Бессознательная сущность всякого позитивизма, как учения о смысле жизни, от Конфуция до Конта, есть отрицание

конца, утверждение бесконечного продолжения человеческого рода, бесконечного «прогресса»: нам хорошо, детям нашим будет лучше, внукам, правнукам еще лучше и так без конца. Не человечество в Боге, но Бог в человечестве. Само человечество, есть Бог, и другого Бога нет. Нет личного бессмертия, а есть только бессмертие в человечестве. Каждый век «промышляет», «приобретает» для будущих веков; бесконечное приобретение, накопление мертвого капитала-сокровища «мертвых душ», которое никогда не тратится, — вот бессознательная, но и безусловная сущность прогресса. Отсюда — «поклонение предкам» в китайском, поклонение потомкам в европейском позитивизме, отсюда — брак, деторождение, «семья, как религия». Жена, дети — вот вечное оправдание всех чудовищных нелепостей буржуазного строя, вечное возражение против религии, которая говорит: «Враги человеку домашние его», вот «прочное основание», о которое разбиваются будто бы все крылатые химеры, все христианские пророчества о конце мира.

«Чичиков, — говорит Гоголь, — очень заботился о своих потомках». — «Оставить жене, детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы отечеству» — вот для чего хотел приобрести, — признается он сам. — «Бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства». Главный смертный страх Чичикова не за себя самого, а за свой будущий род; за свою семью, за свое семя. «Пропал бы, — думает он в минуту опасности, — как волдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков». Умереть, не родив, — все равно, что совсем не жить, потому что всякая личная жизнь есть «волдырь на воде»; он лопнет — умрет человек и ничего не останется кроме «пара». Личная жизнь имеет смысл только в семье, в роде, в народе, в государстве, в человечестве, как жизнь полипа, пчелы, муравья только в полипнике, улье, муравейнике. С этой бессознательной метафизикой Чичикова согласился бы всякий «желтолицый позитивист», ученик Конфуция, и всякий «белолицый китаец» — ученик О. Конта: тут крайний Запад сходится с крайним Востоком, Атлантический океан — с Тихим. «Что я теперь? — думает разоренный Чичиков, — куда я гожусь? какими глазами я стану смотреть теперь всякому почтенному отцу семейства? как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бремену землю? И что скажут потом мои дети? «Вот, скажут, отец — скотина: не оставил нам никакого состояния!» — «Иной, может быть, — замечает Гоголь, — и не так бы глубоко запустил

руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: а что скажут дети. И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, хватается поспешно все, что к нему поближе». Когда Чичиков воображает себя собственником, владельцем капитала и поместья, тотчас представляется ему и свежая, белолицая бабенка, и молодое поколение, долженствующее увековечить фамилию Чичиковых: резвунчик мальчишка и красавица дочка или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, «чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то, что прошел как-нибудь тенью или призраком по земле, — чтобы не было стыдно и перед отечеством». «Мечта моя — воплотиться, но, чтобы уж окончательно, безвозвратно», — говорит черт Ивану. Это и есть главная «позитивная» мечта Чичикова: «бабенки» и «Чиченки» нужны ему, чтобы «окончательно воплотиться», чтобы «всем было известно», что он «действительно существовал» (как будто иначе для всех и для него самого реальность его сомнительна), а не был только «тенью», «призраком», «волдырем на воде». Существование «позитивиста» Чичикова, лишенное «потомков», лопается таким же мыльным пузырем, как существование «идеалиста» Хлестакова, лишенное фантастической «химеры». Стремление Чичикова к «бабенке и Чиченкам» и есть стремление черта, самого призрачного из призраков, — «к земному реализму». И предрекаемое Великим Инквизитором «царство от мира сего», «миллионы счастливых младенцев» — не что иное, как «Серединное Царство» бесчисленных маленьких позитивистов, всемирных будущих китайцев (здесь духовный «панмонголизм», так пугавший Вл. Соловьева), миллионы счастливых «Чиченков», в которых повторяется, как солнце в каплях Тихого океана, единый «родоначальник» этого царства, бессмертный «хозяин» мертвых душ, нуменальный Чичиков.

VII

«Я желаю иметь мертвых... — Как-с? Извините... я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово... — Я полагаю приобрести мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии, как живые, — сказал Чичиков».

Манилов каменеет сначала от изумления, потом от страха.

«— Может быть, здесь, — предполагает он робко, — в этом, вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое...

— Нет, — подхватил Чичиков, — нет, я разумею предмет таков, как есть, то есть те души, которые точно уже умерли».

«Мертвые души» — это было некогда для всех привычное казенное слово на канцелярском языке крепостного права. Но нам теперь вовсе не надо быть чувствительными Маниловыми, а надо только действительно чувствовать и «разуметь предмет таков, как он есть», то есть надо разуметь не условный, казенный, «позитивный», чичиковский, а безусловный, религиозный, человеческий, Божеский смысл этих двух слов — «душа» и «смерть», чтобы выражение «мертвые души» зазвучало «престранно» и даже пристрашно, как невероятное кошунство. Не только мертвые, но живые человеческие души, как бездушный товар на рынке — разве это не странно и не страшно? Здесь язык самой близкой и реальной действительности не напоминает ли язык самой чуждой и фантастической сказки? Невероятно, что по каким-то канцелярским «сказкам», по какой-то «ревизии» мертвые души значатся живыми, а может быть, и наоборот, живые — мертвыми, так что в конце концов не оказывается никакого прочного, позитивного основания для того, чтобы отличить живых от мертвых, бытие от небытия. Тут чудовищное смешение слов от чудовищного смешения понятий. Язык выражает понятия: какова должна быть циническая пошлость понятий для того, чтобы получилась такая циническая пошлость языка. И, несмотря на этот внутренний цинизм, Чичиков и вся его культура сохраняют внешнее «благоприличие изумительное». Конечно, люди, полные здравого смысла и даже ума государственного, приняли в казенный обиход это ходячее словечко «мертвые души», а между тем, какая бездна хлестаковской легкости открывается здесь в чичиковской «основательности»! Повторяю, не надо быть Маниловым, надо только не быть Чичиковым, чтобы почувствовать, что в этом сочетании слов скрыто нечто другое — за явным плоским — глубокий, тайный смысл — и чтобы сделалось жутко от этих двух смыслов, от этой двусмысленности.

«Я мертвых никогда еще не продавала», — возражает Коробочка. «Приехал бог знает откуда, — думает она, — да еще и в ночное время». — «Послушайте, матушка, ведь это прах. Понимаете ли? Это просто прах. Вы возьмите всякую негодную последнюю вещь, например, даже простую тряпку, — и тряпке есть цена: ее хоть, по крайней мере, купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну скажите сами, на что оно нужно?»

«Собирайте сокровище ваше на небесах. Какой выкуп даст человек за душу свою или какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет. У Бога все живы», — так говорит Христос. А черт, — то бишь Чичиков, возражает: «Мертвые души — дело не от мира сего. Это — прах, просто прах. Цена тряпке на бумажной фабрике больше, чем цена души человеческой в вечности. Это ведь мечта. Предмет, просто фу, фу!» Кому же мы, дети положительного века, верим больше — Христу или Чичикову? Не по тому, что мы говорим и думаем, а по тому, как живем и умираем, — это, кажется, легко решить. В нашем позитивном чичиковском «фу, фу!» не открывается ли опять-таки, вместо «прочного основания», все та же бездна хлестаковской «легкости в мыслях», безграничного цинизма? И разве наше единственное искреннее слово над всяким мертвым телом, — не слово Собакевича: — «Мертвым телом хоть забор подпирай». Древние эллины, иудеи, египтяне ужаснулись бы безбожного позитивизма, который выражен в этой христианской пословице: «Право, у вас душа человеческая все равно, что пареная репа», — говорит вечный купец мертвых душ Собакевичу. Мы уничтожили крепостное право, мы не торгуем ни живыми, ни мертвыми душами. Но разве и в современных государствах с их чудовищным пролетариатом, проституцией не бывает иногда — точно так же, «душа человеческая все равно, что пареная репа».

Когда, выйдя из терпения, Чичиков посулил Коробочке черта, помещица испугалась необыкновенно. «Ох, не припоминайте его, Бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев. — Еще третьего дня всю ночь мне снился, окаянный... Такой гадкий привиделся, а рога-то длиннее бычачьих».

Не только простодушная помещица, но и мы, может быть, не менее простодушные читатели не подозреваем, до какой степени в эту минуту к нам близок черт, не тот старый, сказочный, у которого «рога длиннее бычачьих», а новый подлинный, насколько более страшный и таинственный, который ходит в мире «без маски, в своем собственном виде, во фраке».

«А может быть, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся... — возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

— Мертвые в хозяйстве! Эх куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

— С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! — проговорила старуха, крестясь.

— Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, кости и могилы — все вам остается: перевод только на бумаге».

Тут слова, дела от мира и не от мира сего, смешиваясь, становятся смешными. Но в этом смешном — страшное и притом так, что чем смешнее, тем страшнее. Страх Коробочки смешон для нас, но может быть, и наоборот: наш смех страшен, хотя мы этого и не чувствуем.

«Когда я начал читать Пушкину первые главы из „Мертвых душ“, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее и, наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: „Боже, как грустна наша Россия!“ — «Тут-то я понял», — добавляет Гоголь, — «в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма». — «Пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои, один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или дух перевести бедному читателю и что по прочтении всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погребца на Божий свет».

После «Мертвых душ» получается такое же впечатление, как после «Ревизора»: «что-то чудовищно-мрачное», «все это как-то необъяснимо страшно». Даже в детски-ясной душе Пушкина этот «страх», сначала заглушенный смехом, мало-помалу разгорается как злоеющее зарево. Не грусть, не слезы, а именно страх сквозь смех.

«Казалось, в этом теле совсем не было души», — замечает Гоголь о Собакевиче. У него — в живом теле мертвая душа. И Манилов, и Ноздрев, и Коробочка, и Плюшкин, и Прокурор «с густыми бровями» — все это в живых телах «мертвые души». Вот отчего так страшно с ними. Это страх смерти, страх живой души, прикасающейся к мертвым. «Ныла душа моя, — признается Гоголь, — когда я видел, как много тут же, среди самой жизни, безответных мертвых обитателей, страшных недвижным холодом души своей». И здесь, так же, как в «Ревизоре», надвигается «египетская тьма», «слепая ночь среди белого дня», «ошеломляющий туман», чертово марево, в котором ничего не видно, видны только «свиные рыла» вместо человеческих лиц. И всего ужаснее, что эти уставившиеся на нас «дряхлаые страшилища с печальными лицами», «дети непросвещения, русские уроды», по слову Гоголя, «взяты из нашей же земли», из русской действительности; несмотря на

всю свою призрачность, они — «из того же тела, из которого и мы»; они — мы, отраженные в каком-то дьявольском и все-таки правдивом зеркале.

В одной юношеской сказке Гоголя, в «Страшной мести» — «мертвецы грызут мертвеца» — «бледны, бледны, один другого выше, один другого костистее». Среди них «еще один всех выше, всех страшнее, вросший в землю, великий, великий мертвец». Так и здесь, в «Мертвых душах», среди прочих мертвецов, «великий, великий мертвец», Чичиков, растет, подымается, и реальный человеческий образ его, преломляясь в тумане чертова марева, становится невероятным «страшилищем».

Вокруг Чичикова плетется такая же сплетня, как вокруг Хлестакова. «Все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они наверное никак не знают, что такое Чичиков: такой ли он человек, которого нужно задержать и схватить как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех как неблагонамеренных». Почтмейстер высказывает гениальную мысль, что Павел Иванович есть не кто иной, как новый Стенька Разин, знаменитый разбойник, капитан Копейкин. Прочие «с своей стороны тоже не ударили лицом в грязь и, наведенные остроумною догадкою почтмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих предположений было, наконец, одно — что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует России, что, дескать, Россия так велика и обширна... И вот теперь они, может быть, и выпустили Наполеона с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков. Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а впрочем, призадумались, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона». Легенда просачивается из верхних в нижние слои народа: о Чичикове — Наполеоне поговаривать начинают в трактире за чаем купцы, напуганные «предсказанием одного предвещателя, уже три года сидевшего в остроге. Предвещатель пришел неизвестно откуда, в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлою рыбой, и возвестил, что Наполеон есть Антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром». Хлестаков — генералиссимус, Чичиков — сам Наполеон и даже сам Антихрист. И здесь, точно так же как в «Ревизоре», как везде, всегда в России, самая фантастическая русская легенда становится источником самого

реального русского действия. «Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он, как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: «Ах, Боже мой!» — послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже давно бездушное тело». В стихии народной реальное действие призраков еще ужаснее. «Расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился Антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили и под видом изловить Антихриста, уколошили неантихристов... Мужики взбунтовались против помещиков и капитанов-исправников. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам». Позитивист Чичиков оказывается невольным творцом самой «вольнодумной химеры», которая облекается в плоть и кровь, в ужасающую реальность, ибо, как мы знаем, хотя бы из истории пугачевщины, что бунт русских мужиков, даже с позитивной точки зрения, вовсе не «мечта», не «предмет просто — фу, фу!» «Сия сарынь ничем кроме жесточи унята быть не может», — по страшному слову Петра. Еще несколько таких призраков — и как выражается один террорист у Достоевского в «Бесах», — застонет земля и взволнуется море. Тут уже не только бедные, глупые чиновники, но и сам премудрый князь, приехавший из Петербурга, кажется, готов обнаружить хлестаковскую «легкость в мыслях», когда в виду «землетрясения» обращается к окаменевшим от страха чиновникам с фантастическим воззванием: «Дело в том, что пришло нам спасти нашу землю!»

«„Но это, однако ж, несообразно! это несогласно ни с чем; это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя, создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело”. — Так скажут многие читатели и укорят автора, — замечает Гоголь. — Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыть весь горизонт... И во всемирной летописи человечества есть много целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнули и уничтожили, как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблуждениям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая

буква, что отовсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми так же смеются потом».

Кто знает, может быть, и нам, «текущему поколению», сам «нечистый дух» шепчет на ухо устами Чичикова: «Чему смеетесь? Над собою смеетесь». Может быть, и наши гражданские «распекания» Чичикова окажутся не менее хлестаковскими, чем распекание князя-ревизора. «Что ж делать! — мог бы ответить нам Чичиков, как отвечает Муразову. Сгубило проклятое незнание меры, сатана обольстил, вывел из пределов разума и благоразумия человеческого. Преступили, преступили» — и, ответив так, оставил бы и нас в дураках, ибо сущность его именно в том, что он и не приступает к тому, что можно преступить или не преступить, что он слишком хорошо соблюдает «меру», середину во всем, что никогда не выходит он из пределов «благоразумия человеческого», и что не его «обольстил Сатана», а он сам — Сатана, который всех обольщает. Может быть, и наше христианское милосердие к Чичикову похоже на милосердие нового христианина миллионщика Муразова, напоминающее тот филантропический медный грош, на который раскошеливается и сам Чичиков. Так что, в конце концов, и наше гражданское правосудие, и наше христианское милосердие — с него, как с гуся вода: обманув не только чиновников, князя, Хлобуева, но и нас, и даже самого Гоголя, снова выйдет Чичиков из тюрьмы оправданный, как ни в чем не бывало, жалея только фрака, разорванного в припадке отчаяния: «Зачем было предаваться так сильно сокрушенно?» И закажет себе новый фрак из того же самого сукна «наваринского пламени с дымом», и новый будет «точь-в-точь как прежний» — и «садись, мой ямщик, звени мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня!..» — подобно Хлестакову, он умчится на своей птице-тройке, «как призрак, как воплощенный обман», в неизмеримые пространства будущего. И опять — «горизонт без конца... Русь! Русь! Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?... Что пророчит сей необъятный простор?... Здесь ли не быть богатырю?..» Чичиков скрылся. Но из необъятного русского простора выступит и русский богатырь, появится снова уже в окончательном ужасающем явлении своем бессмертный хозяин мертвых душ — Чичиков. И тогда лишь откроется то, что теперь еще скрыто не только от нас, читателей, но и от самого художника, — как страшно это смешное пророчество: «Чичиков — антихрист».

«Ну, брат, состряпал ты черта!» — мог бы сказать себе Гоголь, как у него же в «Портрете» товарищ говорит художнику, написавшему портрет старого ростовщика, с лицом, похожим на лицо самого дьявола. «Нарисуй с меня портрет, — говорит ростовщик. — Я, может быть, скоро умру... Но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить». В художнике, по мере того как он пишет, пробуждается «такое странное отвращение, такая непонятная тоска», что он бросает кисть и отказывается писать. Старик падает ему в ноги, молит кончить портрет, «говоря, что от этого зависит судьба его и существование в мире; что уже он тронул своею кистью его живые черты; что, если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете; что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире».

Не напоминает ли это страх Чичикова «пропасть как волдырь на воде без всякого следа» — его желание, «чтобы всем было известно, что он действительно существовал, а не то, что прошел как-нибудь тенью или призраком по земле». Не напоминает ли и слова черта Ивану Карамазову: «Ведь я и сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия, а у нас все какие-то неопределенные уравнения... Я икс в неопределенном уравнении. Я какой-то призрак жизни, который потерял все концы и начала, и даже сам позабыл наконец как и назвать себя... Моя мечта это — воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно». Художник чувствует ужас от слов ростовщика: «Они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти, и палитру, и бросился опрометью вон из комнаты». В нем произошел переворот: «Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и, наконец, совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием». Он отрекся от своего прежнего, преступного, будто бы, искусства — от «земного реализма», покинул мир и постригся в монахи. «Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение», — говорит он в своей исповеди, сильно напоминающей «Авторскую исповедь» Гоголя. «Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существование дьявола, и потому не буду говорить о нем, но скажу только, что я с отвращением писал его: не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и, бездушно загнув все,

быть верным природе (это и есть „земной реализм“, или тот „натурализм“, которым так восхищались в Гоголе наши критики 60-х годов). Это не было создание искусства, а потому чувства, который объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства»...

В судьбе героя этой юношеской повести как будто предсказана, «прообразована» судьба самого Гоголя. Впечатление, которое производит на всех и на самого художника портрет, напоминает впечатление от «Ревизора» и от «Мертвых душ»: «В итоге остается что-то чудовищно-мрачное... все это необъяснимо страшно». Самый веселый из людей, величайший «охотник до смеха», Пушкин вдруг перестает смеяться и становится мрачным: «Боже, как грустна наша Россия!» Художник, когда пишет портрет, испытывает такую «непонятную тягость», такое странное отвращение, что принужден бросить кисть.

«...„Ревизор“ сыгран, — признается Гоголь, — и у меня на душе так смутно, так странно... Мое создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не мое... Я устал и душою, и телом. Клянусь, никто не знает и не слышит моих страданий. Бог с ними со всеми! мне опротивела моя пьеса... Тоска, тоска! Не знаю сам, отчего одолевает меня тоска». Точно так же во время работы над «Мертвыми душами» Гоголь, по собственному признанию, «не мог почувствовать любви к делу». «Напротив, я чувствовал что-то в роде отвращения... Все выходило у меня натянуто, насильственно». Художник в «Портрете», наконец, бежит от собственного создания. Точно так же Гоголь бежит от «Ревизора». «Я хотел бы убежать теперь бог знает куда, и предстоящее мне путешествие, пароход, море и другие, далекие небеса могут одни только освежить меня. Я жажду их, как бог знает чего. И от «Мертвых душ» так же, как от «Ревизора», Гоголь бегал, скитаясь по всему свету от Парижа до Иерусалима. Художник не кончил портрета. И «Мертвые души», и «Ревизор» — «без конца». Художник постригся в монахи. И мечта Гоголя во всей второй половине его жизни — совершенное отречение от мира, монашество.

«Стоит передо мною человек который смеется над всем, что ни есть у нас... Нет, это не осмеяние пороков: это отвратительная насмешка над Россией», может быть, не только над Россией, но и над всем человечеством, над всем созданием Божиим, — вот в чем оправдывался, а следовательно, и чего боялся Гоголь. Он видел, что «со смехом шутить нельзя». «То, над чем я смеялся, — говорит он, — становилось печальным; можно бы прибавить: становилось страшным». Он чувствовал, что самый

смех его страшен, что сила этого смеха приподымает какие-то последние покровы, обнажает какую-то последнюю тайну зла. Заглянув слишком прямо в лицо «черта без маски», увидел Гоголь то, что не добро видеть глазам человеческим: «дряхлое страшилище с печальным лицом уставилось ему в очи», — и он испугался и не помня себя от страха, закричал на всю Россию: «Соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия... Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся»...

IX

В одной сказке Андерсена, «Снежная королева», говорится о дьявольском зеркале, которое все предметы отражает в искаженном, смешном и страшном виде. Слуги дьявола бегали с зеркалом по всей земле, так что скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем. Наконец, захотелось им добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и над самим Творцом. Чем выше подымались они, тем сильнее кривлялось и корчилося зеркало от гримас; они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы осколков разлетелись по свету некоторые из них были не больше песчинки; они, попадая людям в глаза, так и оставались там. Человек с таким осколком в глазу начинал видеть все наыворот или замечать во всем одно смешное, потому что каждый осколок сохранял свойство целого зеркала. Некоторым попадали осколки в сердце — и сердце превращалось в кусок льда. Один из них попал в сердце герою сказки, юноше Каю. После многих приключений Кай очутился в чертогах Снежной Королевы. «Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, ровных и правильных, один как другой, на диво... Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого — поцелуи Снежной Королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и самое сердце его было куском льда. Он возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады: есть такая игра, которая называется „китайской головоломкой“... Он складывал из льдин целые слова, но никак

не мог сложить того, что ему особенно хотелось, — слово Вечность».

Судьба Кая — судьба Гоголя: кажется, и ему попал в глаз и в сердце осколок проклятого зеркала. И его бесконечная возня со своими добродетельными правилами, тоже своего рода «правильными остроконечными льдинами», безнадежное «устройство души своей» — что-то в роде «китайской головоломки». И он, сидя на обледелых развалинах его же собственным смехом разрушенного мира, складывает и не может сложить из плоских льдин то, что ему особенно хотелось бы, слова «вечность», «вечная любовь». И когда он утешает себя: «В глубине холодная смеха могут отыскаться искры вечной любви», то все-таки чувствует, что искры эти не растопят его собственного сердца, которое превратилось в кусок льда. И когда он успокаивает себя: «Кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете», он все-таки чувствует, что ему самому никогда не заплакать этими слезами. Бедный Гоголь, бедный Кай! Оба замерзнут, так и не сложив из льдин слова «вечная любовь».

Чтобы вырвать из сердца своего осколок дьявольского зеркала, готов он вырвать и самое сердце, чтобы воскресить мир, готов умертвить себя, чтобы спасти других, готов отдать себя в жертву своему убийственному смеху. Нет, вы не над собой смеетесь — берет он назад свое слово — вы смеетесь только надо мною. «Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною... Во мне заключалось собрание всех возможных гадостей и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке... Если бы они открылись вдруг и разом перед моими глазами, я бы повесился... Я стал наделять своих героев моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале, для меня самого, он бы точно содрогнулся». Два главные «чудовища», которые всех ближе и всех страшнее Гоголю, которых он потому и преследует с наибольшею злобою, — Хлестаков и Чичиков. «Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности». Всех меньше отделились от него именно эти двое — Хлестаков и Чичиков. «Я размахнулся в моей книге (переписка с друзьями)

таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее», — пишет Гоголь Жуковскому из Неаполя 6 марта 1847 года. «Правда, — заключает он, — есть во мне что-то хлестаковское». Какое страшное значение получает это признание, ежели сопоставить с ним другое — то, что в Хлестакове видел он черта, чичиковского было в Гоголе, может быть еще больше, чем хлестаковского. Чичикову точно так же, как Хлестакову, мог бы он сказать то, что Иван Карамазов говорит своему черту: «Ты — воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны... моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых... Ты — я, сам я, только с другой рожей». Но Гоголь этого не сказал, не увидел или только не хотел, не посмел увидеть в Чичикове своего черта, может быть, именно потому, что Чичиков еще меньше «отделился от него самого и получил самостоятельности», чем Хлестаков. Тут правда и сила смеха вдруг изменили Гоголю — он пожалел себя в Чичикове: что-то было в «земном реализме» Чичикова, чего Гоголь не одолел в себе самом. Чувствуя, что это, во всяком случае, не обыкновенный человек, захотел он его сделать человеком великим: «назначение ваше, Павел Иванович, быть великим человеком», говорит он ему устами нового христианина Муразова. Спасти Чичикова Гоголю нужно было во что бы то ни стало: ему казалось, что он спасает себя в нем.

Но он его не спас, а только себя погубил вместе с ним. Великое призвание Чичикова было последнею и самую хитрою засадою, последнею и самую соблазнительною маскою, за которою спрятался черт, подлинный хозяин «Мертвых душ», подстерегая Гоголя.

Как Иван Карамазов борется с чертом в своем кошмаре, так и Гоголь — в своем творчестве, тоже своего рода кошмаре. «Кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло». «Уже с давних пор я только и хлопоту о том, чтобы вволю насмеялся человек над чертом», — вот главное что было в душе его. Удалось ли это ему? В конце концов, кто над кем посмеялся в творчестве Гоголя — человек над чертом или черт над человеком?

Во всяком случае, вызов был принят, и Гоголь чувствовал, что нельзя ему отказываться от поединка, поздно отступать. Но эта страшная борьба, которая началась в искусстве, в отвлеченном от жизни созерцании, должна была решиться в самой жизни, в реальном действии. Прежде чем одолеть вечное зло во внешнем мире, как художник, Гоголь должен был одолеть его в себе самом, как человек, он это понял и действительно

перенес борьбу из своего творчества в свою жизнь; в борьбе этой увидел он не только свое художественное призвание, но и «дело жизни», «душевное дело».

Есть, впрочем, уже и в самом созерцании Гоголя начало действия, в самом слове его — начало «дела». Этим он противоположен Пушкину.

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

Вечную правду этого пушкинского завета, правду созерцания, Гоголь признает, но вместе с тем видит уже и другую, противоположную, столь же вечную правду действия. Тут воплощается в Гоголе неизбежный, окончательно совершающийся только именно в нас, в наши дни, переход русской литературы, всего русского духа от искусства к религии, от великого созерцания к великому действию, от слова к делу. «Нельзя повторять Пушкина, — говорит Гоголь. — Нет, не Пушкин или кто другой должен стать теперь в образец нам: другие времена уже пришли... Другие дела наступают для поэзии. Как во времена младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую высшую битву — на битву уже не за временную нашу свободу, но за нашу душу». Пушкин зовет прочь из битвы, Гоголь — в битву. Это и есть, конечно, битва с вечным злом за вечное благо, последняя битва человека с чертом. Этот «браннолюбивый дух» в Гоголе — нечто столь же первозданное, истинное, как мирный дух в Пушкине; тут нет у Гоголя никакой измены самому себе, никакого отречения: он столь же верен природе своей, как и Пушкин. «Во сне и наяву мне грезится Петербург и служба государству», — пишет матери из Нежина восемнадцатилетний Гоголь. «Мысль о службе у меня никогда не пропадала, — говорит он в конце жизни. — Я не совращался со своего пути... Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был жизнь, а не что другое». Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения». «Ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе». «Я чувствовал всегда, что буду участник сильный в деле общего добра и что без меня не обойдется»... «Мне захотелось служить земле своей... Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей». «Мне всегда казалось, что

в жизни моей мне предстоит большое самопожертвование. «В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое звание и место требует богатырства». Но прежде чем вступить, подобно древним русским богатырям, в битву со «страшилищами». Гоголь должен был победить самое страшное из них, жившее в нем самом. «Я люблю добро, я ищу его и сгораю им, но я не люблю моих мерзостей... Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и в этом мне поможет Бог».

И здесь, в этой «войне» с самим собою, так же как везде, оставаясь верным своей природе, своей самой внутренней сущности, Гоголь не мог не перейти от «воображения» к «действительности», от слова к делу: «Дело мое — душа и прочное дело жизни». Он покидает искусство для искусства; кончается пушкинская «молитва», жертвоприношение — начинается «битва», «самопожертвование Гоголя; исчезает поэт, выступает пророк. И вместе с тем тут начинается трагедия Гоголя — *incipit tragoedia* — борьба с вечным злом — пошлостью, — уже не в творческом созерцании, а в религиозном действии, великая борьба человека с чертом.

Я хочу показать в дальнейшем исследовании, чем кончилась для Гоголя эта борьба.

Часть вторая

ЖИЗНЬ И РЕЛИГИЯ

I

«Из двух начал явился Пушкин», — говорит Гоголь. Одно из них определяет он, как «отрешение от земли и существенности», стремление в «область бестелесных видений», т. е. как начало духовности, вернее, бесплотности, христианское или кажущееся в противоположность язычеству христианским. Другое «прикрепление к земле и к телу», к «осязаемой существенности» — начало плотское, языческое или опять-таки кажущееся доньше, в противоположность христианству, «языческим».

Предвидел ли Гоголь, что, определяя Пушкина, он и самого себя определял, что и он явился, из этих же самых «двух начал»? «Никогда не чувствовал себя погруженным в такое спокойное блаженство. О Рим, Рим! О Италия! Что за небо!.. Что за воздух!.. Пью — не напьюсь, гляжу — не нагляжусь... Никогда я не был так весел, так доволен жизнью».

Друзья Гоголя рассказывают, как на вилле Волконской, упиравшейся стеной в старый римский водопровод, который служил ей террасой, «он ложился спиной на аркаду и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью, оставаясь недвижимым целые часы, с воспаленными щеками». «Италия! Она моя!.. Россия, Петербурга, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине». Одно из писем помечает он, вместо христианского летосчисления, древнеримским: «год 2588 от основания Города», как будто на одно мгновение пожелал забыть, что Христос родился, как будто 1835 лет христианства вместе с «Россией, Петербургом, снегами, департаментом», только снились ему.

Это, конечно, шутка, но надо знать, чем уже и тогда было для Гоголя христианство, чтобы почувствовать, что значит эта шутка. «Когда я увидел во второй раз Рим, — говорит он именно в этом письме, помеченном „от основания Города“, — мне казалось, что я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но, нет, это все не то: не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет».

Не Вифлеем, не Голгофа, а «мертвая и великолепная Кампания», земля умерших богов — предвечная родина Гоголя. Языческую древность он не то, что понимает или чувствует — он живет в ней. Так жили в ней, может быть, еще только два человека новой Европы — великие отступники христианства Гете и Ницше. Рим — значит по-гречески — «сила, крепость плоти». Рим есть величайшее последнее всемирное воплощение одного из тех «двух начал», о которых говорит Гоголь по поводу Пушкина; Рим есть самое сильное, самое крепкое «прикрепление» человеческого духа «к земле и к телу», к «осязаемой существенности», перед которою все, что было прежде и после, кажется иногда призрачным, бесплотным, не существующим. Здесь, в Риме, человек впервые сказал себе, подобно Гоголю: «Я никогда не чувствовал себя погруженным в такое спокойное блаженство», или подобно гетевскому Прометею: «Я не бог, но равен богам». Сюда, в Рим, каждый из отдельных народов, из отдельных языков принес, как особый камень в общее всемирное здание, особую силу и крепость плоти своей, особую радость жизни своей; все народы, все языки мира со своими богами собрались в объединенное всемирное язычество под купол Пантеона, это земное небо, и ключевым камнем, замкнувшим свод его, была последняя мысль Рима: земля есть небо, человек есть Бог.

Сквозь все «бестелесные видения» христианства Гоголь в глубине своей русской, даже малороссийской, казацкой природы, в первозданной стихии своего языка и языка, иногда прощупывает это как будто навеки противоположное христианству языческое начало, эту языческую радость жизни, крепость плоти, непоколебимую твердь «земного неба». «Ей-богу, мы все страшно отделились от наших первозданных элементов, — пишет он своему киевскому приятелю Максимовичу из Петербурга, с его „снегами, подлецами и департаментами“, как будто вдруг проснувшись от дурного сна. — Мы никак не привыкнем глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел казак (между прочим, и старый казак „великий язычник“, толстовский дядя Ерошка). Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши

поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака? Послушай брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить наружу, то это черт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете — это бутылка доброго вина... Откупори ее, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства... И на другой день двигайся и работай и укрепляйся железною силою». Эта «железная» сила в окончательном всемирном сознании есть Рим, в бессознательной стихийности — «прикрепление» всякого народа «к земле своей и к телу» своему, к языческой первозданной природе своей. Гоголь, конечно, и здесь только шутит; но в шутке этой скрыта та же самая тоска по предвечной родине, с которою он смотрел на мертвую и великолепную Кампанию.

Из этой первозданной стихии народной вышел смех Гоголя. «Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой... Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставляя их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого выйдет какая польза. Молодость подталкивала». Впоследствии, окончательно «удалившись от первозданных элементов своих», он сделал этот смех «смехом сквозь слезы» — жестоким орудием жестокого знания — чем-то в роде анатомического ножа, который режет жизнь, как труп. Но первоначально это был именно только смех для смеха, переливающийся через край избыток жизни, молодости, веселья. Он опьянялся смехом как вином; грелся в нем от петербургского холода, как в луче родного малороссийского или римского солнца. Во всяком случае, Гоголь — молодой казак, пляшущий в одной рубашке трепака — столь же реален, столь же значителен, как и Гоголь — угрюмый монах, пророчествующий о «бестелесных видениях» о загробных «страшилищах».

Отсюда же, из этой первозданной стихии языческой, — и столь особенное, столь чуждое нашему христианскому «ложу нескверному», иногда для нас прямо жуткое, «демоническое» сладострастие Гоголя.

«Я полагаю, что Гоголь вовсе не знал любви к женщинам», — замечает биограф. И в самом деле, ничего похожего на влюбленность нельзя отыскать в жизни Гоголя. По свидетельству врача, который ухаживал за ним перед смертью: «Сноше-

ний с женщинами он давно не имел, и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия». «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому, благодаря судьбу, не удалось испытать, — пишет юный Гоголь одному своему влюбленному приятелю. — Я потому говорю „благодаря“, что это пламя меня превратило бы в прах в одно мгновение». В повести «Вий» прекрасная панночка-ведьма раз пришла на конюшню, где псарь Микита чистил коня. «Дай, — говорит, — Микита, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому: говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и, как увидел он ее нагую, и полную, и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за нагие ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и, куда они ездили, он ничего не мог сказать; только воротился едва живой, а с той поры иссохнул весь, как щепка; когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы, да пустое ведро: сгорел, совсем сгорел сам собою!» Не повторяется ли здесь, в сказочном образе, личное признание Гоголя: «Это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновение» — в прах, в «кучу золы», как бедного псаря Никиту. «К спасению моему, — продолжает Гоголь, — твердая воля отводила меня от желания заглянуть в пропасть». Сила, которая удаляет его от женщин — не скудость, а, напротив, какой-то особый, оргийный суводок чувственности; это странное молчание — не смерть, а чрезмерная полнота, замирающее напряжение, грозная тишина пола. Когда философ Хома Брут скакал с ведьмой, сидевшей у него верхом на плечах, он видел, как там, внизу, в нижней бутке, подземном небе, из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога — выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета... Облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали перед солнцем по краям своей белой эластической окружности... Она вся дрожит и смеется в воде. «Что это?» — думал философ, глядя вниз, несясь во всю прыть. «Пот катился с него градом, он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение». «Дева светится сквозь воду, как будто бы сквозь стеклянную рубашку; уста чудно усмеваются, щеки пылают, очи выманивают душу... она сгорела бы от любви, она зацеловала бы... Беги, крещеный человек!» Здесь предел сладострастия, за который так же страшно переступить, как за предел смерти. «В тонком серебряном тумане мелькали девушки легкие, как

тени. Тело их было как будто изваяно из прозрачных облаков и будто светилось насквозь при серебряном месяце» («Майская ночь»). Эта прозрачная белизна женского тела, как наваждение, преследует Гоголя: в «Мертвых душах» на губернском балу рядом с Чичиковым прекрасная молодая девушка «одна только белела и восходила прозрачною из мутной и непрозрачной толпы», как видение из другого мира, как русалка в темной заглохшей воде. Эти прозрачные, светящиеся насквозь, как будто изваянные из облаков, тела русалок по природе своей подобны телам древних богов; это — та же самая мистически-реальная одухотворенная плоть, величайшая противоположность «христианской» бесплотной духовности, плоть легкая и все-таки нетленно твердая, как «твердь» небес. Это и есть одно из «двух начал», заключенных в самом Гоголе, — начало плоти.

«Тело одной русалки, — продолжал рассказчик, — не так светилось, как у прочих: внутри его виднелось что-то черное». Черное пятно, страшная черная точка есть и в гоголевской «плоти», в первозданной языческой стихии его веселости, его смеха. Это точка соприкосновения двух начал, двух половин, двух полюсов мира, рождающая беспредельный мистический ужас. Уже, впрочем, и там, в самой Элладе, есть эта черная точка: и там, в тишине самого блаженного, самого ослепительного полдня раздается вдруг потрясающий крик, таинственный зов, «голос Пана», от которого все живое бежит в сверхъестественном ужасе. Гоголю с детства знаком этот крик: «Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве часто его слышал: иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя. День обыкновенно в это время был самый ясный и солнечный; ни один лист в саду на дереве не шевелился; тишина была мертвая; даже кузнечик в это время переставал кричать; ни души в саду. Но, признаюсь, если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем адом стихий, настигла меня одного среди непроходимого леса, я бы не так испугался ее, как этой ужасной тишины среди безоблачного дня. Я обыкновенно тогда бежал с величайшим страхом и занимавшимся дыханием из сада и тогда только успокаивался, когда попадался мне навстречу какой-нибудь человек, вид которого изгонял эту страшную сердечную пустыню» («Старосветские Помещики»).

Этот непонятный панический ужас объяснился в тот день, когда родился Христос и умер великий Пан. В конце язычества есть начало христианства, в конце земного — начало небесного, в конце плоти — начало того, что за плотью.

Страшный «таинственный зов» слышится Гоголю и в Пушкине. «Поэта, — говорит Гоголь, — поразил вид Казбека, на верхушке которого увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом.

Далекий, вожденный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к горной вышине!
Туда б в заоблачную келью,
В соседстве Бога скрыться мне!»

Вот и другое начало из тех двух, которые видел он в Пушкине. Оно же сказалось и в Гоголе, только с гораздо большею силою, чем в Пушкине. «Я не рожден для треволнений, — пишет Гоголь в 1842 году накануне своего христианского обращения, — и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха». Иными словами это ведь и значит: «туда б в заоблачную келью»! В тишине самого солнечного языческого полдня кто-то вдруг «назвал Гоголя по имени» и страшен был этот зов из другого мира — он оказался для него зовом смерти.

II

Из этих-то «двух начал» явился Гоголь. «В Пушкине, — говорит он, — середина, конечно, не в смысле посредственности, нечистого смешения, а в смысле чистейшего соединения, синтеза двух начал. «В нем все уравновешено», — заключает Гоголь. Равновесие Пушкина нарушено в Гоголе, лад Пушкина становится разладом в Гоголе, единство, — раздвоением, согласие — разногласием. Это одно из величайших нарушений равновесия, которые когда-либо происходили в душе человеческой. Здание дало трещину в главном своде, поколебалось до последних основ своих и упало, и «было падение дома того великое». В этом-то неравновесии двух первоначальных начал — языческого и христианского, плотского и духовного, реального и мистического — заключается вся не только творческая, созерцательная, но и жизненная религиозная судьба Гоголя.

Разлад, дисгармония во внутреннем существе его отражаются и во внешнем, даже телесном облике. При первом взгляде наружность его удивляет: в ней что-то странное, на других людей непохожее, слишком напряженное, слишком острое и вместе с тем надломленное, болезненное. «Длинный сухой нос прида-

вал этому лицу и этим сидевшим по его сторонам осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее, — говорит очевидец. — Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты». Зоркая и грустная одинокая птица. Самое поверхностное впечатление от наружности Гоголя — тревожное, почти жуткое и в то же время смешное, комическое: злоецащая карикатура; других смешить и сам смешон. «Ведь ты, братец, сам делаешься комическим лицом!» — говорит ему Погодин. «Я именно комик, — соглашается Гоголь, — и вся моя фигура карикатурна». Чем пристальнее всматриваешься в него, тем это смешное становится более жутким, почти страшным, фантастическим. «Таинственный карла» — прозвали его школьные товарищи в Нежине. И Достоевский отметил в нем это нечто «таинственное», фантастическое, когда назвал его «демоном смеха». «Чудак он превеликий!» — восклицает один из его приятелей. «Чудак» — это слишком добродушно и приятельски развязно. Не «чудак», а скорее, чудо или чудовище. «Это еще что такое, и откуда это?» — вот первое, что приходит в голову при взгляде на лицо Гоголя среди обыкновенных, хотя бы и самых избранных, самых гениальных, но все же человеческих лиц. «Птица», «карла», «демон», карикатура, призрак, что-то фантастическое, только не человек или, по крайней мере, не совсем человек. «Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов, не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь» — то есть чувства естественного страха перед мертвым телом. Это пишет С. Т. Аксаков, один из ближайших друзей Гоголя, тотчас после смерти его. Живой Гоголь для Аксакова — «не человек», мертвый — не мертвец. Живой для него таинственнее, призрачнее, чем умерший. И чем ближе подходят к нему люди, тем сильнее чувствуют в нем это страшно далекое, чуждое, удивительное» к чему нельзя привыкнуть, и что в иные мгновения внушает самым близким друзьям его непонятную враждебность, смешанную со страхом и даже с отвращением. Погодин с «дружескою» откровенностью называет Гоголя «отвратительнейшим существом». «Вообще в нем было что-то отталкивающее», — замечает Сергей Аксаков. — «Я не знаю, — заключает он по этому поводу, — любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно, как человека. Я думаю — нет; да это и невозможно». Шевырев, тоже старый друг и даже отчасти ученик его, видит в нем «неряшество душевное, происходящее от неограниченного самолюбия». Одни обвиняют его в «ханжестве», другие признаются, что считают его «кандидатом

в святые отшельники или... в дом умалишенных» и чуть не в присутствии «друга» и «учителя» рассуждают об его «сумасшествии» и о «плутовстве в его сумасшествии». Во всех этих «дружеских» отзывах какая-то беспричинная жестокость. Любящие его вдруг начинают ненавидеть, сами не зная за что, стараясь объяснить эту ненависть личными пороками Гоголя, но едва ли справедливо: ведь, несмотря на эти пороки, те же самые люди, которые называют его «плутом» и сумасшедшим, в другие минуты с такою же искренностью считают его пророком, учителем, даже прямо «святым», и «мучеником», С. Т. Аксаков, который писал в 1847 году при жизни его: «Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости», — пишет через пять лет после смерти его: «Я признаю Гоголя святым, это истинный мученик крестьянства». В сущности же для Аксакова так и осталось навсегда неразъясненным, что такое Гоголь — «сумасшедший или мученик, плут или святой». Подобные противоречия в отзывах неразрешимы, если не предположить, что они зависят от противоречия в самом Гоголе: «два начала», два существа в нем; наблюдателю является то одно из них, то другое сообразно с точкою зрения, на которой он стоит, и с меркою, которою он мерит.

Последний год своего пребывания в Нежинском лицее Гоголь посвятил «глубокому обдумыванию будущей должности и нового бытия в деятельном мире; он давал себе слово, что все его «силы будут порываться на то, чтобы означить жизнь одним благодеянием, одной пользою отечества». «Мысль о службе меня никогда не оставляла, — вспоминает он в конце жизни, в „Авторской исповеди“. — Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование». Жизнь и смерть Гоголя свидетельствуют о том, какая страшная искренность была в этой детской мечте его. И вот, однако, в это же самое время среди глубокого обдумывания «нового бытия», уже стремясь в Петербурга на великое служение, он пишет туда же о другой столь же пламенной и заветной мечте своей — о модном фраке и панталонах. «Напиши, пожалуйста, — просит он своего петербургского приятеля, — какие модные материи у вас на жилеты, на панталоны... Какой то у вас модный цвет на фраки? Мне очень хотелось бы себе сделать синий с металлическими пуговицами». Знаменитый фрак Чичикова «наваринского пламени с дымом» не родствен ли этому синему фраку юношеских мечтаний Гоголя? По выпуске из лицея он прежде всех своих то-

варищей оделся в партикулярное платье. «Как теперь вижу его в светло-коричневом сюртуке, — рассказывает очевидец, — которого полы подбиты были какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка считалась тогда *pas plus ultra* молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как будто не нарочно, раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку». Это, конечно, ребячество, но оно останется в нем надолго, может быть, навсегда. В Петербурге, поступив в департамент, он вскоре начал упрекать себя за то, что «осмелился откинуть Божественные помыслы», то есть об истинной «службе», служении земле своей, о самоотверженном подвиге. И тут же, среди благородных самообличений, сообщает провинциальному другу, как очень важное петербургское известие: «Галстуков черных не носят; вместо них употребляют синие». Это уже как будто из письма Хлестакова, так и ждешь продолжения: «Прощай, душа Тряпичкин. Скучно, брат, так жить... Вижу, точно надо чем-нибудь высоким заняться». В заботе человека об одежде сказывается любовь и уважение к своему телу. Байрон и Пушкин хорошо одевались; у них выходило это так же просто и естественно, как и то, что они хорошо писали: во внешнем их изяществе невольно выражались соответствие, гармония между внешним и внутренним. В древней латеранской статуе Софокла складки одежды кажутся столь же гармоническими, как и стихи его трагедий. У Гоголя даже в этой мелочи, в неумении одеваться обнаруживается основная черта всей его личности — дисгармония, противоречие, щегольство дурного вкуса. «Одежда его, — говорит очевидец, — представляла резкую противоположность щегольства и неряшества». Зимой 1830 года, когда он узнал, какой модный цвет фраков и галстуков, он вместе с тем до такой степени обносился, что «нижнего белья у него не было ни одной штуки», по собственному признанию. Однажды, несмотря на свою крайнюю зябкость, всю зиму «отхватав в летней шинели». Эти подробности как будто заимствованы из жизнеописания Хлестакова. Но, кто знает? Не внушила ли Гоголю одного из глубочайших, гениальнейших его созданий «Шинели» эта именно хлестаковская, подбитая ветром шинель? Она была ему нужна, нужнее, чем Пушкину изящество петербургского денди, чем Софоклу — красота величавого гиматиона.

В Петербурге сблизился он с Пушкиным. Дружба эта оставила на всей жизни Гоголя неизгладимый след. Он благоговел перед Пушкиным. «Тайный трепет невкушаемого на земле удовольствия обнимал мою душу... Ничего не предпринимал я без его совета». «О, Пушкин, Пушкин! — вспомнит он впослед-

ствии. — Какой прекрасный сон удалось мне видеть в жизни». Но в тогдашних письмах своих хвастает «не этим прекрасным сном», а тем, что книга его понравилась здесь всем, начиная с государыни, и что государыня приказала ему читать в «находящемся в ее ведении пансионе благородных девиц». «Квартира моя на пятом этаже; это здесь не значит ничего: сам государь занимает комнаты не ниже моих; напротив, вверху гораздо чище и здоровее воздух». В действительности он в это время, как сам жалуется по другому поводу, «живет на чердаке». Но хотя, мол, и чердак, а на одном уровне с покоями Зимнего дворца. И это без малейшей иронии, с детскою искренностью. «Есть во мне что-то хлестаковское», опять невольно вспоминается признание Гоголя.

Отсутствие нравственной выдержки, цельности, внутренняя неустойчивость, неравновесие ставят его в течение всей жизни в самые нелепые и смешные, даже прямо унижительные положения, делают его «комическим» или, вернее, трагикомическим лицом, собственною карикатурою, правда, карикатурою исполинскою, ибо в самом ничтожестве сохраняет он величие своих «первозданных элементов». Такова история с его профессорством. «Он смотрел на науку, как на средство для составления карьеры», — замечает биограф. По выражению самого Гоголя, он «отжилил кафедру». Приятелю Максимовичу, тоже будущему профессору, советует «работать сплеча, что придется», и с истинно хлестаковскою «легкостью» решает «хватить среднюю историю томиков в восемь или девять, если Бог поможет». И. С. Тургенев, один из слушателей Гоголя, признает его положение на кафедре прямо комическим и уверяет, будто бы все студенты были убеждены, что он «ничего не смыслит в истории». Лекции начинал он фразами вроде следующей: «Азия была каким-то народовержущим вулканом». Скучал сам и видел, что всем скучно. «Я читаю один... Никто меня не слушает! Хоть бы одно студенческое существо меня понимало». На экзамен пришел с головою, окутанною косынками, представил экзаменовать слушателей декану и ассистентам, а сам молчал все время. «Бойтся, что Шульгин (другой профессор) собьет его самого, так и притворяется, будто рта разинуть не может», — объясняли студенты. «Непризнанный взошел я на кафедру и непризнанный схожу с нее!» — с торжественностью заявляет он врагам своим, а друзьям — с циническою откровенностью: «Я расплевался с университетом». И в самом деле, в этой жалкой и смешной фигуре университетского Акакия Акакиевича с подвязанной щекою, кто мог признать великого

учителя, обладавшего, несмотря на недостаток сведений, гениальными историческими прозрениями?

Противоречие — и в самых простых, первоначальных, родственных чувствах, например в любви к матери. Любил ли Гоголь мать? Иногда его отношение к ней кажется бессердечным. Она сама нуждается, а он берет у нее деньги и тратит «на франтовство, на разные фракы, сюртучки, галстуки, подтяжки, платочки». Деньги, полученные от матери для передачи в Опекунский совет, оставляет себе, без ее ведома, и тратит на нелепую заграничную поездку, оправдываясь мнимой болезнью и страстью, от которой будто бы ему нужно бежать из Петербурга. Впоследствии сам называет этот поступок «безрассудным» — выражение, кажется, слишком снисходительное. «Чтобы отомстить вам и рассердить вас, я написал это», — пишет он матери по другому поводу, это грубо, жестоко. Так — с одной стороны, а с другой — стоит вспомнить, как в самые страшные минуты жизни обращается он к матери с просьбой помолиться за него и верит в чудо ее молитвы, как в свою последнюю святыню и спасенье, — чтобы почувствовать, чем для него была мать, и чтобы воздержаться от слишком быстрых, легких приговоров. Некоторые из его обращений к матери напоминают этот ужасный, душу раздирающий вопль, которым кончаются «Записки сумасшедшего»: «Матушка, спаси твоего бедного сына!.. Посмотри, как мучат они его!.. Ему нет места на свете! его гонят!.. Матушка, пожалей о своем бедном дитятке». Один из самых строгих судей Гоголя сознается, что не мог бы отрицать в нем «беспримерной доброты» (Отзыв Иордана у Шенрока в «Материалах», III, с. 221). Эта простая человеческая доброта, способность простой и нежной любви сказались в той самоотверженности, с которою он, сам больной, целые дни и ночи напролет ухаживал в Риме за своим умирающим другом, молодым графом Виельгорским. На вопрос Аксакова, любил ли кто-нибудь Гоголя «исключительно, как человека», — сумела бы ответить мать его и притом так, что Аксакову сделалось бы стыдно за свой легкомысленный вопрос. И не только мать, — но и А. О. Смирнова, чужая Гоголю, но любившая его как родного, и другие «жены-муроносицы» этого «мученика».

Какая-то странная бесчувственность и вместе с тем чрезмерная, болезненная, почти безумная чувствительность. Именно в то время, когда в нем все наиболее кипит, пожирается внутренним огнем, он кажется снаружи, по собственному выражению, наиболее «деревяннным, оболваненным, черствым и сухим». «У вас, в ваших мыслях, я остался с черствою физио-

номией, со скучным выражением лица». — «Если вам нужен теперь болван для того, чтобы надевать на него вашу шляпку или чепчик, то я весь к вашим услугам». В обществе он всегда выглядел каким-то «букою». «Il ma paru gauche, timide et triste¹», — вот первое впечатление Смирновой. И потом, когда уже под внешней черствою корою открывается внутренний мир его, истинный ад, и заглянувший в этот ад готов жалеть и любить, — в лице Гоголя вдруг мелькает опять что-то совсем неожиданное, противоречивое, что-то беззаботное, «хохлацкое и плутоватое», выражение зоркой птицы, «внимательно-задумчивого аиста», как будто он только с любопытством наблюдает со стороны за тем, что в нем и в других происходит, как будто он к себе еще равнодушнее, еще бесчувственнее, чем к другим, так что в конце концов сострадающие остаются в совершенном недоумении.

Противоречие — и в языке его. С одной стороны, как будто безграничная власть над языком: не он ли расплавил алмазотвердый стих Пушкина и перелил его в новые формы? С другой — какая-то детская беспомощность, неумелость, косноязычие. «Боюсь нагрешить против языка», это — вечный страх его. За границей он так отвык от русской речи, что самые простые выражения затрудняли его. «Слог и язык мой у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мною имеет право посмеяться едва начинающий школьник». «Возьмешься за перо — находит столбняк». «Перо в руках моих, как деревянная колода, между тем как мысли мои состоят из вихря». Величайший реализм, меткость, точность слова: как будто оно не описывает, не изображает предмет, а само становится предметом, новым явлением, новою реальностью. И рядом с этим — фантастическая призрачность, невероятные преувеличения, гиперболы, исполинский «громозд»: «Дико, громадно все, — нечаянно определяет он себя в другом, — этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что, кажется, как бы тысячью глазами глядит он». Самое любовное прикидывание к действительности: «Ты изумишься, — пишет он одному приятелю в разгаре своего „мистицизма“, — откуда взялся во мне такой положительный и обстоятельный человек... Я родился быть хозяином». Когда читаешь подробнейшие наставления Гоголя о полевых работах, саде, огороде, о том, как сажать овощи, как поливать их и ухаживать за ними («особенно позаботьтесь,

¹ Он показался мне застенчивым и грустным (фр.).

чтоб было лучше для цветной капусты, артишоков и брунколей, которые я очень люблю»), то чувствуешь в этой, как будто самой прозаической чичиковской хозяйственности не менее, чем в поэтической любви его к Италии, к древности, один из «первозданных элементов», одно из двух мистических начал его природы — начало земли, «матери сырой земли». «Ум мой всегда был наклонен к существенности и к пользе более осязательной», — подводит он итог своей жизни. «Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения». Все это опять-таки с одной стороны, а с другой: «О, как отвратительна действительность! Что она против мечты!», «Из-под самых облаков, да прямо в грязь!»).

Так чрез всю жизнь его, как чрез великолепное здание, построенное из твердого камня, но с каким-то нарушением основных законов земной механики, земного равновесия, проходит одна длинная, сверху донизу, сначала едва заметная, тонкая, как волосок, но постепенно расширяемая и, наконец, зияющая трещина.

III

Это нарушение равновесия, которое сказывается во всем духовном составе его, от самого малого до самого великого — от щегольства безвкусными галстуками и жилетами до злоупотребления гиперболами, от хлестаковских преувеличений («сам государь занимает комнаты не ниже моих») до исполинских загробных страшилищ», — это же самое нарушение равновесия, эта трещина сказывается и в его телесном составе, в его болезни. Что такое болезнь Гоголя? В каком отношении находится она к тому особому душевному состоянию, которое, по-видимому, неразрывно связано с ней, к так называемому «мистицизму» Гоголя? «Мистицизм» ли от болезни или болезнь от «мистицизма»? Кажется, и то и другое предположения одинаково неверны. «Мистицизм» — болезнь духа и болезнь тела вовсе не находятся во взаимной причинной связи: обе они суть только следствия какой-то одной, более глубокой, первой причины, чего-то, что за телом и духом, какого-то первозданного несоответствия, несогласия, опять-таки неравновесия между телом и духом.

Трудно решить, когда собственно началась болезнь Гоголя. Кажется, он родился с нею точно так же, как Пушкин со своим непобедимым здоровьем. «Гоголь был болезненный ребенок, —

вспоминает школьный товарищ его А. С. Данилевский. — Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло...» Двадцати четырех лет жалуется Гоголь на ощущение «дряхлости»: «Скудельный состав мой часто одолевается недугом и крайне дряхлеет». Может быть, в детстве и юности причина болезни была по преимуществу физическая, но с годами, несмотря на часто повторяющиеся припадки, организм крепнет, и вместе с тем обнаруживается, что причина болезни отнюдь не только физическая, что особое состояние духа, ежели не производит болезнь тела, то во всяком случае предшествует ей. Поверхностным наблюдателям кажется даже, что Гоголь — мнимый больной, что он воображает себя или притворяется больным. «Он считал себя неизлечимо-больным и готов был советоваться со всеми докторами, хотя по наружности казался свежим и здоровым», — замечает биограф (Шенрок, II, 117). «Он удивил меня тем, — рассказывает С. Т. Аксаков, — что начал жаловаться на свои болезни и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно и сказал, «что причина болезни его находится в кишках». Из Рима пишут осенью 1840 года: «Гоголь ужасно мнителен... Он ничем не был занят, как только своим желудком, а между тем, никто из нас не мог съесть столько макарон, сколько он их отпускал иной раз». Гоголь вообще любил поесть: бес чревоугодия искушал его до конца жизни; знакомая ему с детства малороссийская поэзия лакомства отразилась и в ночных закусках «Старосветских помещиков», и в сказочных галушках, которые сами летят в рот, и в не менее сказочных кулебяках Петра Петровича Петуха; эстетическое обжорство сближает «монаха» Гоголя с монахом Рабле: «Он рассказал мне, — пишет поэт Языков из Парижа, — о странностях своей, вероятно, мнимой, болезни: в нем-де находятся зародыши всех возможных болезней; так же и об особенном устройстве головы своей и неестественности положения желудка. Его будто осматривали и ощупывали в Париже знаменитые врачи и нашли, что желудок его вверх ногами». За несколько недель до смерти Григорий Данилевский нашел его цветущим, полным сил и здоровья. На основании подобных отзывов можно бы прийти к выводу, что Гоголь кривляется и морочит друзей своих. Но это не так: болезнь его, несмотря на свою кажущуюся фантастичность, все-таки вполне реальна ведь умер же он от нее. Если в значительной мере он болен от мнительности, то и, наоборот, может быть, даже еще в большей мере — мнителен от болезни. Вот как он

сам описывает обыкновенный ход своих припадков: «Среди совершенного здоровья и душевной ясности, как будто даже от избытка, от чрезмерности этого здоровья, этой грозовой силы жизни, рождается сначала смутное и, по-видимому, беспричинное, неудержимо растущее возбуждение; потом какой-то внезапный страх: словно крик Пана, страшный зов в тишине безоблачного полдня. Потом болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. Ни двух минут я не мог оставаться в покойном положении, ни на постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно»... «Я почувствовал то подступившее к сердцу волнение, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, превращало в исполина, всякое незначительно приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, такую мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулическое состояние». «У меня все расстроено внутри, — признается он в 1849 году, года за три до смерти. — Я, например, увижу, что кто-нибудь споткнулся; тотчас же воображение за это ухватится, начнет развивать — и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы». Итак, первое сотрясение, нарушение равновесия происходит не в душе и не в теле, а где-то глубже, в самой глубине существа, — не там ли, где душа и тело, еще не два, а одно? Какое-то разногласие, разлад происходят в первозданном ладе, согласии души и тела. И эта болезненная зыбь, распространяясь, через душу захватывает тело и оттуда, в обратном движении, отражается снова в душе и все растет, как волна, которая в двойном разбеге своим ударяется то в одну, то в другую преграду. Внезапные страхи сливаются в один длительный панический ужас, от которого одно спасение — бежать с того места, где впервые послышался страшный «зов», «голос Пана». И Гоголь действительно бежит: все его бесконечные скитания не что иное, как такие отчаянные бегства от себя самого. Так бежал он из Петербурга за границу, сам не помня, что делает, почти украв у матери деньги, в первый раз ненадолго, затем во второй, после представления «Ревизора», — уже на много лет. Но и там, на чужбине, не находя себе покоя, он бежит из одного конца Европы в другой, из Европы в Африку, в Азию, от Барселоны до Иерусалима, от Неаполя — и, по крайней мере, в мечтах своих — до Камчатки: «С какою бы радостью я сделался фельдъегерем, курьером даже на русскую перекладную и отважился бы даже в Камчатку, — чем дальше, тем лучше... Мне

бы дорога теперь, да дорога в дождь, в слякоть, через леса, через степи, на край света!.. Клянусь, я бы был здоров!» Но только что он останавливается, внутренняя тревога, заглушенная внешним движением пробуждается вновь, и с еще большею силою, еще явственнее слышится таинственный «зов». — «Душа изнывает вся от страшной хандры, которую приносить болезнь, бьется с ней и выбивается из сил биться...» «Тяжело, тяжело, иногда так приходится тяжело, что хоть просто, повеситься...» «Тягостней всего беспокойство духа, с которым трудней всего воевать, потому что это сражение решительно на воздухе. Изволь управлять воздушным шаром, который мчит первым стремлением ветра! Это не то, что на земле, где есть колеса и весла». Здесь самое определенное физическое ощущение отражает, так сказать, метафизическую причину болезни: нарушение земного равновесия, законы земной механики, отсутствие точки опоры, головокружительный полет над бездною. Такой же вещий символизм и в том ощущении зябкости, которое преследует его целые годы: точно это не простой озноб, а веяние какого-то нездешнего мистического холода. «Я зябну и зябну, и зябкость увеличивается чем далее, тем более... Существование мое как-то странно. Я должен бегать и не сидеть на месте, чтобы согреться. Едва успею согреться, как уже вновь остываю, а между тем бегать становится труднее и труднее потому, что начинают пухнуть ноги, или лучше — жилы на ногах». — «Малейший холод на меня ошетиливается бурёю». — «Я истаиваю не по дням, а по часам... Вы бы ужаснулись, меня увидев...» «У меня иссушение всего тела и цвет мертвечины...» «Я мало чем лучше скелета. Дело доходило до того, что лицо сделалось зеленой меди, руки почернели, превратившись в лед, так что прикосновение их ко мне самому было страшно, и при 18 градусах тепла в комнате, я не мог ничем согреться». Не напоминает ли это замерзающего Кая в чертогах Снежной Королевы, у которого «лицо посинело, почти почернело от холода», и Данте, который с тех пор, как увидел грешников, замерзших в вечных льдах ада, ничем уже не мог согреться?

В мнительности своей, доходящей до безумия, Гоголь мечется между надеждой на докторов и надеждой на чудо, между лекарствами и молитвами. «Наше выздоровление в руках Божиих, а не в руках докторов». — «Молитесь обо мне — от врачей я уже не жду никакой помощи». — «Чувствую, что больше всего мне следует надеяться на Святые Места и поклонение Гробу Господню, чем на докторов и лечение». И тотчас же, однако, обращается снова к докторам; они его осматривают, ощупывают,

выстукивают, выслушивают, ничего не находят, и ему кажется, что они его недостаточно осмотрели, и, не веря одному, бежит он к другому и объявляет наконец латинское словечко, от которого, будто бы все зависит: «У меня поражены нервы в желудочной области, так называемой системе *nervoso fascioso*». Из одной лечебницы в другую, из Берлина в Дрезден, из Дрездена в Карлсбад, из Карлсбада в Греффенберг. «Я, как во сне, среди завертываний в мокрые простыни, сажаний в холодные ванны, обтираний, обливаний и беганий каких-то судорожных, дабы согреться. Я слышу одно только прикосновение к себе холодной воды и ничего другого, кажется, и не слышу и не знаю». Но и отсюда, из-под брызжущих кранов, из-под мокрых простынь опять отчаянный вопль: «Отправьте молебен!.. Молитесь, молитесь обо мне!.. Не переставайте обо мне молиться!» И эта агония длится целые годы, десятки лет: Гоголь как будто и не жил вовсе, а всю жизнь умирал.

«И ни души не было около меня в продолжение самых трудных минут, тогда как всякая душа человеческая была бы подарком», — вспоминает он об одном из своих припадков. В самом деле, может быть, всего ужаснее в болезни Гоголя это его совершенное одиночество. Не говоря уже о других, даже такой человек, как Пушкин, не понял бы нравственной причины его болезни. «Великий меланхолик», — определил он Гоголя и ничего больше не мог бы прибавить. Откуда эта «меланхолия», ежели не только от положения желудка «вверх ногами» и от *nervoso fascioso*. Пушкин гениальным чутьем своим, вероятно, понял бы, что не только; откуда и к чему она и что значит — это осталось бы для Пушкина такою же загадкою как для всех прочих друзей Гоголя, например московских славянофилов вроде Шевырева и Аксакова, несмотря на весь их ум и талант, все-таки отчасти нравственных Собакевичей, которым казалось иногда, что Гоголь ничем особенным не болен, а просто кривляется, добрых людей морочит. Беда его была в том, что он первый заболел новою, никому на Руси до тех пор неизвестною страшною болезнью, слишком нам теперь, после Л. Толстого и Достоевского, знакомою, — болезнью нашего религиозного раздвоения: «Это раздвоение всю жизнь во мне было», — говорит Достоевский; «Я соединил в себе две природы», — говорит Гоголь, — которую в то время не только лечить, но и назвать не умели.

Он сознавал безнадежность своего одиночества. «Ячитаюсь загадкою для всех, — пишет он матери в девятнадцать лет, — никто не разгадал меня совершенно». И впоследствии, уже в зрелом возрасте, — одному из друзей своих: «Души моей

никто не может знать». По словам товарища, жившего с ним несколько времени в Петербурге, «не было человека скрытнее Гоголя... Он был молчалив в высшей степени». Он был скрытен не потому, что не хотел, а потому, что не мог открыть то, что в нем происходило, потому, что всякая откровенность не привлекала к нему, а еще более отталкивала людей. «Что ж делать? так уж видно на роду мне написано быть скрытным». «Говорить откровенно о себе я никогда никак не мог. В словах моих, равно как и в сочинениях существовала всегда страшная неточность. Почти всяким откровенным словом своим я производил недоразумение и всякий раз раскаивался в том, что раскрывал рот... Мне недоставало такта и верной середины в словах». Именно той середины «между двумя началами», соразмерности, равновесия, которые он так чувствовал в Пушкине. «Я слышал сам, что мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно... Клянусь, бывают так трудны положения, что их можно уподобить только положению того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевелинуть пальцем и подать знака, что он жив». Все более и более погружаясь в одиночество, он молчал, пока был в силах молчать; когда же становилось ему слишком страшно, то уже не говорил, не объяснял того, что в нем совершалось, а просто кричал «благим матом», звал к себе на помощь, как утопающий: «Найти бы хоть одну живую душу!..» «И хотя бы одна душа подала голос!.. Хотя бы одна душа заговорила!.. Точно как бы вымерло все, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души». — «Соотечественники! страшно»...

Слава великого писателя не нарушали этого одиночества. С двух противоположных сторон простирались к Гоголю одинаково пламенные, но сомнительные объятия: со стороны петербургских западников с Белинским и со стороны московских славянофилов с Аксаковым во главе. Каждая сторона надеялась перетянуть к себе Гоголя и воспользоваться им как оружием против неприятельского стана: западники против славянофилов, славянофилы против западников. И те и другие видели в нем не его самого, а только себя; ни тем ни другим не было никакого дела до того, чем он жил и от чего умирал. Одинаково близки, одинаково чужды были ему обе стороны. А между ними волновалась еще более чуждая, уже совсем безликая толпа, так называемая публика; и оттуда к нему доносились даже не человеческие голоса, а какие-то стихийные шумы, что-то нечленораздельное. «А что Гоголь? Опять написал что-нибудь

смешное и неестественное?» «Ревизору» смеялись до дурноты, но говорили, что пьеса — «неестественный фарс». Нечто в высшей степени искреннее, подлинное, своего рода крик сердца во всей его «святой простоте» выразился в отзыве одной замоскворецкой дамы: «Да, Гоголь всех смешил! Жалко! Употребить всю жизнь, и такую краткую, на то, чтобы служить обезьяною публике». Это голос из толпы нелитературной, а вот и голоса литераторов или, по крайней мере, людей, прикосновенных к литературе: Владимир Панаев утверждал, что «Гоголю надо запретить писать, потому что от всех его сочинений пахнет тем же запахом, как от лакея Лаврушки». Одни из критиков сокрушались, что Гоголь «не хочет возвыситься хоть настолько, чтобы не уступать Полю де Коку», по мнению других, «Мертвые души» не следовало брать в руки из опасения замараться». «Я обожаю чистоту, — заявлял Сенковский, — ваши зловонные картины населяют во мне отвращение». Критик «Русского вестника» Н. А. Полевой, обращаясь к «Мертвым душам», восклицает: «Начнем с содержания — какая бедность!» — «От Гоголя много ждали, — замечает с грустью критик «Северной пчелы», — но он разрешился ничтожными «Мертвыми душами». «Истинно русские люди» кричали с пеной у рта, что Гоголь — «враг России». Таков суд «малых сих»; не далеко ушли от них и «великие»; с мнением русских Ферситов: Полевых, Сенковских, Булгариных почти совпадает и мнение Аполлона, вождя русских муз: «У Гоголя много таланта, — сказал однажды Николай I, — но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». Конечно, граф Орлов только выразил тайную мысль, носившуюся в самых высших кругах, когда осмелился заметить на поведение Государя «заняться Гоголем»: «Он еще молод и ничего особенного не сделал». Спрашивается, что предстояло бы сделать творцу «Ревизора» и «Мертвых душ», дабы граф Орлов согласился признать, наконец, что сделано нечто особенное?

IV

Ежели когда-нибудь Гоголь обманывал себя надеждою на то, что «хоть одна живая душа в России подаст голос» на призыв его, то надежда эта должна была окончательно исчезнуть после появления «Переписки с друзьями».

Как бы кто ни судил об этой книге, несомненно, что известными частями ее выразилась подлинная человеческая лич-

ность, живое лицо Гоголя — не то, чем желали бы его видеть друзья или недруги, а то, чем он был в действительности. Гоголь давно знал, что он один; но тут только понял вдруг всю глубину своего одиночества. Он ожидал, что его не поймут, но то, что случилось, превзошло все его ожидания: связь великого писателя со временем, историей, обществом, государством, народом оказалась вдруг одним сплошным недоразумением; все разлетелось, лопнуло, как мыльный пузырь. Тут произошло нечто в самом деле единственное, ни с чем не сравнимое, кажется, не только в русской, но и во всемирной литературе. Это был не провал литературный: не сам он провалился, а то, на чем он стоял, земля под ним провалилась, как во время землетрясения. И он остался вдруг уже не в одиночестве, а в какой-то страшной пустоте, в каком то безвоздушном пространстве.

«Да если бы вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел вас, чем за эти позорные строки, — писал Белинский Гоголю по поводу „Переписки с друзьями“. — Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов, что вы делаете?» Христианство Гоголя называет он «дьяволовым учением». «Христа-то зачем вы примешали тут?» «Или вы больны — и вам надо спешить лечиться, или... не смею досказать своей мысли» (это значит — или вы мерзавец). «Гимн властям придерживающим хорошо устраивает земное положение набожного автора. Вот почему в Петербурге распространился слух, будто вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника».

«Это такого рода обвинения, — ответил впоследствии Гоголь Белинскому, — которых я бы не в силах был взвести даже на отъявленного мерзавца». Но это-то именно «обвинение» или, вернее, клевета, — ибо как это иначе назвать? — должна была показать Гоголю, что состояние, в котором писалось умирающим Белинским знаменитое письмо, было просто невменяемым, более похожим на подлинное сумасшествие, чем предполагаемое сумасшествие самого Гоголя. «Залаял собакою, завыл шакалом, зажмурил глаза и весь отдался бешенству», — так выразился сам Белинский о своем тогдашнем состоянии. Но в этом зверином «лае» и «вое» бесноватого (вот, когда еще начались «Бесы» Достоевского!) была и какая-то страшная человеческая правда, искренность, которая заслуживала, требовала ответа или, по крайней мере, «заклятья бесов». И Гоголю, казалось бы, слишком легко было ответить не только на то обвинение в подлом угодничестве перед правительством, на ко-

торое он и ответил действительно в «Авторской исповеди», но и на все остальные обвинения. Он уже и начал было ответ или «заклятие»: «О, да внесут святые силы мир в вашу страждущую душу!.. О, как сердце мое ноет за вас в эту минуту!.. И отчего у вас такой дух ненависти...» Он указывает Белинскому на его «отважную самонадеянность», «пылкость невозддержанная рыцаря и юноши»: «Опомнитесь, куда вы зашли!.. Какое невежество!.. Нельзя, получа легкое журнальное образование, судить о таких предметах... Журнальные занятия выветривают душу... Вспомните, что вы учились кое-как... Начните учение...» Гоголь мог бы также напомнить Белинскому, как он, плюющий ему в лицо, еще недавно чуть не на коленях со слезами, как провинившийся школьник, молил у него прощения: «Я изрыгнул хулу на ваши статьи (в «Арабесках»), — писал Белинский Гоголю из Петербурга от 20 апреля 1842 года, — не понимая, что тем изрыгаю хулу на Духа. Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки; притом же на мутном дне самолюбия бессознательно шевелилось желание блеснуть... Я опрометчив и способен вдаваться в дикие нелепости... Вы у нас теперь один, и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связаны с вашей судьбою; не будь вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни нашего отечества!..» (Матер. Шенр. IV, 918). Да, Гоголь, казалось бы, мог уничтожить Белинского. Почему же он этого не сделал?

Почему разорвал уже набросанную черновую письма? Из жалости к умирающему, из презрения к «бесноватому»? Едва ли. Кажется, в словах Белинского, несмотря на всю их слишком очевидную «дикую нелепость», невменяемость, Гоголь смутно и болезненно почувствовал зернышко какой-то почти невысказанной, но неотразимой, ужасной для него правоты. В чем именно заключалась эта правота, мы увидим впоследствии. Во всяком случае, Белинский достаточно любил Гоголя, чтобы иметь право его ненавидеть: тут око за око, зуб за зуб: удар, нанесенный «отступничеством» Гоголя Белинскому, равен был удару, который он сам наносил теперь своему кумиру. Но уже без всякой любви, а следовательно, и без всякого права на ненависть позднейшие западники продолжали это оплевание Гоголя как «последнего из мерзавцев». К тому же Белинский действительно «мало учился»: в письме его — первобытное полуазиатское варварство тогдашней русской полемики; но что сказать об европейски просвещенном Тургеневе, который не в пылу борьбы, а много лет спустя, с невозмутимым хладнокровием утверждает по поводу «Переписки

ски с друзьями»: «Более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона в литературе не существует». (Соч. Турген., посмертн. изд., т. I, 72). Что сказать о высокомерии Чернышевского, который осаживает Гоголя таким простым и «убийственным» будто бы возражением: «Ты читал не те книги, какие тебе нужно было читать». Что сказать, наконец, об олимпийском спокойствии современных биографов, которые христианскую трагедию Гоголя, этот, по их мнению, «больной бред изувера», «разъедавшую его нравственное существо гангрену» объясняют непониманием слова «прогресс» и сожалеют о том, что он «не нашел в себе силы при счастливом руководительстве (чьем? Белинского или Аксакова, которые оба считали его не то «пророком», не то «мерзавцем»?) остановиться на скромной задаче преследования сатирой общественных язв». (Все эти мнения высказаны г. Шенроком в его книге «Матер. для биогр.», г. IV стр. 6, 16, 107, 193.) Когда озираешь судьбу Гоголя в русской литературе до наших дней, то невольно вспоминается его собственное горькое слово: «Терпеть презренье от презренных».

Письмо Белинского было только первою молнией той грозы, которая должна была разразиться над головою Гоголя: за молнией последовал, как сам он выразился, «вихрь недоразумений», в котором уже все смешалось, все враждебнейшие друг другу стихии слились в одном яростном натиске. «Как же вышло, — спрашивал себя Гоголь с недоумением, — что на меня рассердились все до единого в России? Этого я не могу понять... Восточные, западные, нейтральные — все»... Дошло до того, что в торжестве над «провалившимся» Гоголем прогрессивный Белинский соединился с ретроградным Н. Ф. Павловым, который в «Московских ведомостях» доказывал с изумительною, будто бы, «ловкостью диалектики», что «сам диавол напитал слова Гоголя духом неслыханной гордости». В то время как распространялась молва об его желании пролезть посредством «Переписки» в воспитатели к сыну наследника, сам наследник, будущий царь-освободитель, выражал сочувствие цензуре, которая оставила от книги только «оглодыш». Между тем как западник Чаадаев видел «в падении Гоголя следствие печальной ошибки славянофилов», сами славянофилы видели в нем следствие печальной ошибки западников. «Не вы ли, беглец родной земли, — писал Гоголю Константин Аксаков, — жили на Западе и вдыхали в себя его тлетворные испарения?.. Книгу вашу считаю полным выражением всего зла, охватившего вас на Западе. Вы имели дело с Западом,

этим воплощенным лгуном, и ложь его проникла в вас. Ожесточение западников до известной степени понятно, но точка зрения славянофилов представляется лишенной уже всякого не только религиозного, нравственного, общественного, но и простого здравого смысла. Ведь ежели не внутренне ядро (ядра тогда еще никто не раскусил), то, по крайней мере, внешняя оболочка «Переписки» была более славянофильской, чем сами славянофилы. Чего же им недоставало? Почему в один голос с «бесноватым» Белинским и они, точно взбесившись, завопили: «В этом человеке бес!» Что тут вообще действовали какие-то «бесы», в этом, кажется, не может быть сомнения; только вопрос — в ком: в заклиняемом или в заклинателях? «Гордость, на эту уду поймал тебя злой дух, — принявший вид ангела света», — предостерегает Погодин. — «Все это ложь, дичь и нелепость, и, если будет напечатано, сделает Гоголя посмешищем всей России», — объявляет С. Т. Аксаков еще до выхода книги. «Вы грубо и жалко ошиблись, — пишет он самому Гоголю. — Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человеку, оскорбляете и Бога и человека». «Вы впали в прелесть... Молю Господа... да будет над вами благодать!» — заклиняет «беса» некая Свербеева, дама тоже славянофильского кружка. В общей свалке заушен был и ни в чем неповинный друг Пушкина, старик Плетнев: за сочувствие «Переписке» объявили его «старым колпаком». Тогда-то снова почувствовал Гоголь то отвращение к самому, так сказать, вкусу и запаху славянофильства, которое он уже высказал однажды убийственно-метким словом: «После их (славянофильских) похвал только плюнешь на Россию»

Запевалою бранного хора С. Т. Аксаковым найдена была окончательная, кажется, и до сей поры неотменная формула «общественного мнения» о христианстве Гоголя: «Религиозная восторженность убила великого художника и даже сделала его сумасшедшим». Мысль о сумасшествии Гоголя понравилась всем и всех успокоила: это был самый простой и легкий выход из положения русской мысли, все же несколько затруднительного и даже как будто безвыходного. Гоголь — или сумасшедший, или мертвец. Эту дилемму, поставленную еще Белинским, разрешили славянофилы, присоединив к мысли о сумасшествии Гоголя мысль о «плутовстве в сумасшествии»: «Гоголь точно помешался, в этом нет сомнения, — пишет С. Т. Аксаков, — но в самом помешательстве много плутовства. Сумасшедшие бывают плуты и надуватели: это я видел не раз, и помешательство их делается и жалко и гадко». «Над живым телом еще живуще-

го человека, — застонал, наконец, Гоголь в отчаянии, — производилась та страшная анатомия, от которой бросает в пот даже и того, кто одарен сильным сложением». Бедная старушка Н. Н. Шереметева, любившая Николая Васильевича в простоте сердца, до такой степени была напугана всем этим славянофильским «жупелом», что «бегала к Иверской не раз» молиться за своего бедного друга.

Петербургские либералы соперничали с московскими консерваторами в благонамеренной свирепости. Один из школьных товарищей Гоголя в Петербурге не принял его, когда последний заехал к нему по старой памяти вскоре по выходе «Переписки» в 1848 году. Говорят, Гоголь, пораженный отказом, не выдержал и зарыдал тут же у двери. Случай этот впоследствии рассказывался будто бы с кафедры студентам, по всей вероятности, не без нравоучительной цели — показать молодому поколению, как следует честным людям поступать с такими «мерзавцами», как автор «Переписки» (Матер. Шенр, VI, 556). Если это и легенда, то все-таки в образе Гоголя, рыдающего, как падший ангел у врат потерянного рая, у запертой двери честного русского либерала, есть что-то символическое, бросающее свет в самую тайную глубь русской общественности. «Как много в человеке бесчеловечья! — мог бы еще раз воскликнуть Гоголь по поводу всей этой либерально-консервативной травли, — как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости и, Боже! даже в таком человеке, которого свет признает благородным и честным».

Если собрать и оглянуть все вместе, то зрелище представляется единственное: Гоголь объявлен «мерзавцем» за то, что пробирался в воспитатели к великим князьям посредством «Переписки»: цензура режет ее, свободолюбивый наследник сочувствует цензуре; «лучшие друзья» распространяются и даже самому Гоголю сообщают слух о том, что он сошел с ума. («Меня встречали даже добрые знакомые твои вопросами: скажите, пожалуйста, правда это, что Гоголь с ума сошел?» — пишет ему Шевырев.). Белинский «лает собакою», «воет шакалом»; старушка Шереметева молится у Иверской, а славянофилы отчитывают от «семи бесов» «тлетворного Запада» того, кого сами же скоро признают «мучеником христианства».

В самом деле, что за «вихрь недоразумений!» Как будто не Гоголь, а все русское общество сошло с ума. И в этом сумасшествии что-то фантастическое: не «черт» ли это, которого Гоголь хотел осмеять, плетет вокруг него свою самую смешную и страшную сплетню, мстя смехом за смех?

Одно лишь ясное сознание правоты своей могло спасти Гоголя. Чувство правоты у него было, но сознания не было. То положение, в которое он поставил себя «Перепиской», требовало силы героя, «богатыря», как он сам выражался. А по природе своей он был мученик, но не герой.

И Гоголь не выдержал, ослабел, отступил, запросил пощады. «Ради самого Христа, — молил он, увы, злейшего из врагов-друзей своих С. Т. Аксакова, — прошу вас теперь не из дружбы, но из милосердия войти в мое положение, потому что душа моя изныла... Как у меня еще совсем не закружилась голова, как я не сошел еще с ума от всей этой бестолковщины — этого я и сам не могу понять. Знаю только, что сердце мое разбито, и деятельность моя отнялась. Можно еще вести брань с самыми ожесточенными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут все изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой, я изнемог... Тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно надолго отказаться от пера и от всего удалиться»... Он сделал худшее, что мог сделать в своем положении: не только усомнился в правоте своей, но и высказал свое сомнение, а вид сомнения в подобных умственных травлях возбуждает такую же ярость в нападающих, как в гончих вид крови на затравленном звере. Гоголь сам называет книгу свою «чудовищной». «Я точно моей книгой показал исполинские замыслы на что-то в роде вселенского учительства... А диавол, который как тут, раздул до чудовищной превеличенности даже и то, что было без умысла учительствовать»... «Я не имел духу заглянуть в нее („Переписку“), когда получил ее отпечатанною: я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками»... Он видит в книге своей «публичную оплеуху, которою попотчевал себя в виду всего русского царства». «Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому... Я размахнулся Хлестаковым»... От этого страшного позора утешает он себя еще более страшным утешением: «О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха!»

«Мне также нужна публичная оплеуха, и даже, может быть, более, чем кому-либо другому». Это неимоверно, это переступает все границы литературы, так никто никогда не писал; тут, в самом деле — или «мерзавец», или «святой».

Все отреклись от него, и он сам от себя отрекся, пал, как только может пасть человек. И все-таки он был прав.

Главная ошибка его обвинителей заключалась в предположении, будто бы перед изданием «Переписки» произошло с ним что-то особенное, какой-то религиозный переворот, тогда как ничего подобного не происходило в действительности. В «Переписке» он шел тем же путем, которым шел всегда. Мысль религиозная, главная, можно сказать, единственная мысль всей жизни его выразилась здесь яснее, чем в других произведениях, потому что именно в то время мысль эта перед ним выступила яснее, чем когда либо.

В 1825 году из Нежина пятнадцатилетний Гоголь пишет матери: «Хотел даже посягнуть на жизнь свою, но Бог удержал меня от сего... Благословляю тебя, священная вера! В тебе только я нахожу источник утешения и утоления своей горести». — «Внутренне я не изменялся никогда, — писал он уже в зрелые годы. — С 12-летнего, может быть, возраста я иду тою же дорогою, как и ныне, не шатаюсь и не колеблюсь никогда во мнениях главных». — «Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду». — «Из всех писателей, которых мне ни случилось читать биографии, я еще не встречал ни одного, кто бы так упрямо преследовал раз избранный предмет». Не друзья-враги вроде славянофилов, а настоящие друзья Гоголя, которые, если и не совсем понимали, то все-таки любили его искренно и просто, как человека, в «Переписке» узнали подлинную живую личность, живое лицо друга: хорош или дурен, но таким он был в действительности; он сказал о себе правду, по крайней мере, ту, которую умел сказать, которую сам знал о себе. «Я вас совершенно узнаю в ваших письмах; для меня в них все просто, понятно, — писала ему графиня Вильгорская. — Мне кажется, что, читая их, я вас слышу, как вы часто с нами говорили... Вы высказали вашу душу, и мы вас поняли». Жуковский, который присутствовал при возникновении «Переписки», прямо говорит: «Когда ты мне читал и то и другое, имея тебя самого перед глазами, я был занят твоей личностью, зная, как все, слышанное мною, было искренним выражением тебя самого». Так думала и А. О. Смирнова, подруга Пушкина; так думал бы, конечно, и сам Пушкин. Он посоветовал однажды Гоголю написать историю русской критики. Из этого совета выросла «Переписка», точно так же, как из двух пушкинских анекдотов выросли «Ревизор» и «Мертвые души». Кажется, Пушкин, предсказавший всю деятельность

Гоголя, гениальным чутьем своим чуял, что деятельность эта не может вестись в чисто-художественном творчестве, что Гоголь создан не для одних «звучков сладких и молитв», но и для какой-то новой «битвы», для какого-то нового, самому Пушкину неведомого действия. «Переписка» и есть первый, еще слабый, потому что слишком ранний опыт, завещанный Пушкиным русской критике не в старом, узком смысле публицистики, как поняли его славянофилы и западники Аксаковы, Шевырев, Добролюбов, Писарев, Чернышевский и даже в значительной мере Белинский, а в смысле новом, нашем, как его никто не понимал до нас, критики, как вечного и всемирного религиозного сознания, как неизбежного перехода от поэтического созерцания к религиозному действию — от слова к делу. Надо было реально испытать этот критический переход, как мы его испытали за последний полувек; надо было увидеть, как мы видели в Л. Толстом и Достоевском конец русской литературы, то есть конец чисто-художественного, бессознательного пушкинского творчества («звучков сладких и молитв») и вместе с тем начало нового религиозного сознания, новой «битвы», нового действия, для того чтобы понять все огромное в этом смысле пророческое значение «Переписки». В Пушкине была донныне вся Россия; но «нельзя повторять Пушкина», «другие дела начались для поэзии», — вот главная мысль Гоголя-критика. Тут увидел он дальше, чем Достоевский, который все-таки желал повторять Пушкина, и не видел за ним ничего. Друг Пушкина, старик Плетнев, высказал однажды поразительную мысль, как будто внушенную ему из-за гроба вешим другом: «„Переписка“ есть начало русской литературы. Вели заменить здесь слово „литература“ словом „критика“, разумеется не в старом, а в вечном и новом смысле, то есть в смысле перехода от бессознательного творчества к творческому сознанию, то это и будет наша мысль. В „Переписке“ нам слышится именно конец, совершенство, „неповторяемость“ Пушкина, то есть конец всей русской литературы и начало того, что за Пушкиным, за русской литературой, — конец поэзии и начало религии».

«Мне ставят в вину, что я говорил о Боге... Что ж делать, если говорится о Боге?.. Что ж делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге?.. Нет, умники не смутят меня тем, что я недостоин, и не мое дело и не имею права: всяк из нас до единого имеет это право» (Изд. Кулиша, VI, 373). Вот и до сей поры никем не опровергнуты: неопровержимое право, правота Гоголя. Он первый заговорил о Боге не отвлеченно, не

созерцательно, не догматически, а жизненно, действительно — так, как еще никто никогда не говорил в русском светском обществе. Правду или неправду он говорит, неотразимо все-таки чувствуется, что вопрос о Боге есть для него самого вопрос жизни и смерти, полный бесконечного ужаса, вопрос его собственного, личного и общего русского, всемирного спасения. «Дело идет теперь не на шутку», — предостерегает он, — и для него это действительно так. Мудрость ли это или безумие, — он, во всяком случае, не только говорил о Боге, но и делал, по крайней мере, желал сделать, отчасти и сделал для Бога то, о чем говорил. В духовном завещании обращается он к «друзьям своим», то есть ко всем русским людям: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». — Это последние слова Гоголя, обращенные к нам: в них весь смысл его жизни, и он имел право их сказать, потому что заплатил за это право жизнью.

Он почувствовал до смертной боли и смертного ужаса, что христианство для современного человечества все еще остается чем-то сказанным, но не сделанным, обещанным, но не исполненным. «Церковь, — говорит он, — созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь». «Христианин!.. Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, на место того, чтобы призвать его в дом, под родную крышу свою и думают, что они христиане». Христианство не входит в жизнь, и жизнь не входит в христианство: они разошлись и с каждым днем все более расходятся. Христианство оказалось величайшим отрицанием жизни, и жизнь — величайшим отрицанием христианства. Христианство сделалось безжизненным, бесплотным, бездейственным, а жизнь, плоть, действие — нехристианскими. Все современное европейское человечество раздирается этим противоречием. «И непонятною тоскою, — говорит Гоголь, — уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоём мире». Положение России, — утверждает Гоголь, ничем не лучше положения западной Европы. «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они?» — Никого мы не лучше, а в жизни еще неустроенной и беспорядочней всех их. «„Хуже мы всех прочих“ — вот что мы должны всегда говорить о себе». России угрожают те же «страхи и ужасы», как Европе: «если бы я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы помутились ваши мысли, и вы подумали бы, как

бы убежать из России. Но куда бежать? — вот вопрос. Европе пришлось еще труднее, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит».

И вместе с тем он хотя, повторяю, и не сознает, но зато предчувствует с такою силою, как никто из людей современной Европы, что в христианстве заключена возможность нового соединения, нового синтеза, «возможность примирения тех противоречий, которые не в силах примирить» человечество, помимо Христа. «Церковь, — говорит он, — может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы»... она «одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши». Здесь Гоголь противопоставляет церковь восточную — западной, впадая, таким образом, в противоречие с самим собою: он ведь только что сказал, что мы вовсе не лучше, а «хуже всех прочих», что и на Востоке так же, как на Западе церковь не вошла в жизнь. Слишком ясно, что в этом смысле, то есть в смысле одностороннего аскетизма, отречения от жизни, отрицания жизни, подмены святой плоти бесплотною святостью восточное христианство шло тем же путем, как и западное; можно даже сказать, что тень христианской ночи, монашество распространялось именно с Востока на Запад, а не с Запада на Восток. Гоголь под «церковью восточною православною» понимает не прошлую или настоящую историческую, а грядущую, сверх — историческую, мистическую церковь православия воистину вселенского. Не даром И. С. Аксаков утверждал, что Гоголь в религиозных исканиях своих стремился разрешить задачу «исполиньски страшную», «которой не разрешили все 1847 лет христианства». Это так: Гоголь действительно, хотя и в очень редких, но самых светлых точках религиозного сознания своего противопоставлял свой собственный взгляд на Христа всему историческому христианству, как западному, так и восточному. Правда, он делал это еще слишком неясно, бессознательно, слишком часто смешивал православие византийское или русское с действительно вселенским, католическим, церковь настоящую с будущей. Но для нас теперь уже совсем ясно, что только в этой последней действительно заключен, как утверждает Гоголь, «полный и всесторонний (а не односторонне-монашеский) взгляд на жизнь, видимо, сбереженный для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и разуму во всех его верховных силах. В ней дорога и путь, как устремить все в человеке в один согласный гимн». Последняя цель христианства для Гоголя есть всемирное «просвещение». «Просветить не значит научить,

или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме — (значит, могли бы мы прибавить, и не только в духе, но и в плоти, не только в небесном, но и в земном) — пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей церкви: «Свет Христов просвещает всех!» Гоголь не противопоставляет христианства просвещению, как славянофилы, просвещения — христианству, как западники; — он соединяет эти «два начала» в одно. Гоголь с такою силою, как никто из людей современной Европы, почувствовал, что первая и последняя сущность христианства — не мрак, а свет, не отрицание, а утверждение мира, не распятие, а воскресение плоти, не бесплотная святость, а святая плоть. Он первый почувствовал «весеннее дыхание» самого древнего и нового из праздников христианства: «Праздник Светлого Воскресения воспряднуется, как следует, прежде у нас, нежели у других народов... Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит, в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носят-ся по лицу земли нашей: раздаются слова: „Христос воскрес!“ и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят и гудят по всей земле, точно как бы будят нас. Где носят-ся так очевидно признаки, там недаром носят-ся; где будят, там разбудят... И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушением Божиим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих в разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: „У нас прежде, нежели во всякой другой земле, воспряднуется Светлое Воскресение Христово!“» Не даром этими словами кончается «Переписка» Гоголя. Здесь достиг он высшей точки прозрения, которой когда-либо вообще достигал, здесь он почти видит то, что мы уже совсем увидели. Это еще не мысль, не сознание, а только пророческое предчувствие, только смутное чаяние. Но устремление этого чаяния уже совпадает с нашим последним религиозным сознанием: от христианства старого темного, исключительно-монашеского, уединяющего, к христианству новому, светлому, соединяющему, вселенскому, от умерщвления к воскресению плоти, от первого — в немощи и бесславии ко второму Пришествию — «в силе и славе» — таков путь общий у Гоголя с нами.

Гоголь говорит: «Из двух начал явился Пушкин» то есть, вся русская, по существу своему, уже вселенская поэзия; он мог бы прибавить: из тех же самых двух начал явится и новое вселенское христианство; в нем высший синтез, соединение, равновесие этих двух начал — плотского и духовного, человеческого и Божеского, земного и небесного.

Но гениальным прозрением своим прикоснувшись к синтезу только в одной точке своего религиозного сознания, Гоголь не устоял на ней. Равновесие, тотчас же нарушившись и здесь, так же, как во всем остальном существе его, нарушалось все более и более — до совершенного хаоса. Искра сознания потухла, и он остался еще в большей тьме. Как могли другие увидеть его, когда он сам себя не видел? Все смешалось опять: новое со старым, вечное, вселенское с временным, византийским или русским; последнее соединение с последним раздвоением. Вместо обещанного синтеза плоти и духа, земли и неба является более неразрешимая, чем когда-либо, антитеза, противоречие.

«Жить в Боге значит уже жить вне самого тела, а это невозможно на земле, ибо тело с нами». Если это так, то и само христианство невозможно. «Чтобы отселе в ваших глазах, как бы вовсе не существовало вас самих». «Позабудьте о себе, как бы вас и не было вовсе на свете». Не какая-либо часть или свойство плоти, земли, любви к себе, а вся плоть в существе своем как мистическое начало, противоположно другому началу, как зло — добру, вечное да — вечному нет, как проклятое, бесовское — святому, Божескому. Здоровье тела — состояние скотское. «Заплывет телом душа... Человек так способен оскотиниться, что даже страшно желать ему здоровья и счастья». Или Бог, или зверь, но не Богочеловек. Вместо святой плоти — бесплотная святость. Дух есть отрицание, плоти, Бог — отрицание мира. Не отрицание для утверждения, а одно голое отрицание. «Вечная жизнь перед временной — то же, что все перед ничто». Некогда Гоголь верил, что «есть страсти, которых избрание не от человека... Высшими начертаниями они ведутся, и есть в них что-то вечное, зовущее, неумолкающее во всю жизнь... Все равно, в мрачном ли образе или пронеслись светлым явлением — одинаково вызваны они для неведомого человеком блага... В них «мудрость небес»; в них какая-то Божественная «тайна». Когда Гоголь это писал, он понял бы, почему страдания Самого Господа названы «страстями»; понял бы, что здесь не одно совпадение слов. Теперь для него страсть значит грех, бесстрастие — святость. «Берегитесь

всего страстного, — твердит Гоголь, — берегитесь даже в Божественное внести что-нибудь страстное. Совершенного небесного бесстрастия требует от нас Бог, и в нем только дает узнать Себя». Некогда христианство было для него величайшим делом, новым героизмом, «богатырством». Теперь становится оно величайшим буддийским «неделанием», отречением от мира, бездейственным созерцанием. «Проповедник католичества восточного должен выступать так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего голоса, исходящего из души, в которой умерли все желания мира, все бы подвинулось...» Здесь католичество восточное, утреннее сливается с западным, вечерним в один вселенский мрак. «Религия наша и католическая совершенно одно и то же», — говорит сам Гоголь. Недаром Шевырев предостерегал его: «Берегись этой заразы». Старая песнь монашеской скорби и ужаса, звучащая сквозь грозный гул органа в темных средневековых соборах: *Dies irae, dies ilia*¹ — заглушает новую песнь, которая должна бы прозвучать сквозь радостный гул «всезвонных колоколов» в солнечно-светлом храме грядущего христианства, во вселенском соборе Св. Софии, Премудрости Божией: «Христос воскрес». Не умерщвление для воскресения, а умерщвление без воскресения. Не страх к веселью сердца, а только страх к страху, один бесконечно-растущий страх. «Страшусь всего», — определяет сам Гоголь источник своего христианства. «Я ни во что теперь не верю и, если встречаю что прекрасное, тотчас же жмурю глаза и стараюсь не глядеть на него. От него несет мне запахом могилы». «Оно на краткий миг», — шепчет глухо внятный мне голос... Радостью своей мы можем только оскорбить Бога; не такое время, чтобы кому-либо теперь радоваться». Никакой радости, никакой свободы: «Бог хочет нас заставить насильно вспомнить о том, что нужно повести другую жизнь, насильно хочет нас спасти». Сущность христианства — не свет, а мрак: «Свету далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря». Но все же последняя цель этих «небесных истин» — обратить весь мир в один «мрачный монастырь». Христианство, это — как бы нависший свод могилы, черное, не земное, земляное небо над черною, мертвою землею; христианство — не всемирное «просвещение», а всемирное помрачение; не свет во тьме, а тьма во свете мира. И в бездонной глубине этой тьмы шевелятся исполинские страшилища; «в бездонном провале мертвецы грызут мертвеца» «еще один всех выше,

¹ День гнева, день этот (лат.).

всех страшнее, хотел подняться от земли, но не мог, не в силах был этого сделать — так велик вырос он в земле» («Страшная мечь»). Понимал ли сам Гоголь, кто этот «выросший в земле великий, великий Мертвец», который хочет и не может воскреснуть, «смертью смерть победить»? Белый цвет новых брачных одежд, обещанных в Апокалипсисе, белый цвет Воскресения, в котором все цвета радуги сливаются в один, снова подменен черным цветом старых безбрачных одежд, монашеским черным цветом смерти, в котором все цвета радуги-жизни уничтожаются. «Христианство не удалось». Жених не пришел. Гасите светильники. Христианство оказалось не огнем, которого никакая вода не погасит, а водою, которая гасит всякий огонь. Погасли светильники. Жених не пришел.

«Вы очень односторонни и стали недавно так односторонни... Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, что ни есть на свете, видя во всем одно бесовское», — предостерегал Гоголь других, а себя самого так и не предостерег. Замечательно, что самый глубокий и верный отзыв о «Переписке» принадлежит одному из ближайших друзей Пушкина, брату женщины, которую он любил, — А. О. Россет, так что и здесь опять, как в отзыве Плетнева, звучит как бы загробный голос самого Пушкина: «Какой господствующий тон книги? Тон болезненной слабости телесной, напуганного воображения, какого-то уныния... Мне кажется, что, представляя христианство в его настоящем духе, в духе света, крепости и силы, ныне скорее обратить человека ко Христу. Когда церковь просветлит или высветлит всего насквозь человека, — человек этот выразится в противоположной вам форме... Он покажет примером, что человек может жить в мире Христом и для Христа — без уныния и без страха, ибо „любовь изгоняет страх“». В одном только ошибался Россет, именно в том, что видел причины этой «слабости уныния и страха» в личных свойствах Гоголя, а не в общих глубочайших свойствах всего исторического христианства, всего «католичества восточного», так же как и западного.

Если бы у Гоголя не было вовсе прозрений в новое христианство, он мог бы остановиться и успокоиться на старом. Но слишком стремительно рванулся он вперед. Слишком многое увидел для того, чтобы это прошло для него безнаказанно. Движение назад равно было движению вперед. Не достигнув сверхисторического, он упал ниже, чем историческое христианство. Не найдя будущего в будущем, стал искать его в настоящем и в прошлом. От белого цвета соединения, через черный цвет уединения, монашества, к серому цвету смешения, сере-

дины, пошлости; от Иоанна Сына Громова, через Иоанна Лествичника к московскому царю Ивану, к попу Сильвестру с его «Домостроем» — таков обратный путь Гоголя, его истинная «реакция». «В идеалах „Домостроя“, — говорит он, — слышна возможность основания гражданского на чистейших законах христианских». Лучше «Домостроя» нечего искать. Он усматривает в нем одно из самых отрадных явлений русского духа: «Мы видели соединение Марфы и Марии вместе или, лучше, видим Марфу, не ропщущую на Марию, но согласившуюся в том, что она избрала благую часть». Кажется, он искренно верил в реальную возможность вернуться современным русским людям к «Домострою»; он даже придумывал способы перестроить всю новую Россию в хозяйственные клетушки, кремлевские терема и часовни по плану благовещенского попа Сильвестра. «Как сделать — спрашивает Гоголь, — чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно принадлежать Церкви? Словом, как возратить все на свое место? В Европе сделать этого невозможно. Она обольется кровью, изнеможет в напрасных борениях и ничего не успеет. В России может этому дать начало всякий генерал-губернатор... и так просто... Патриархальностью жизни своей и простым образом обращения со всеми он может вывести вон моду с ее пустыми этикетами и укрепить те русские обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены с пользой к нынешнему быту... Так же как на водворение обычаев, может подействовать генерал-губернатор и на законное водворение Церкви в нынешнюю жизнь русского человека: во-первых, примером собственной жизни, а во-вторых, самими мерами»... — «Христос научит вас, — обращается Гоголь к одному из этих таинственных избранников, — будьте отец истинный всем». Так вот кто решит «исполински-страшную задачу, которой не решили 1847 лет христианства», вот кто спасет вселенское православие — патриархальные русские генерал-губернаторы, живущие по «Домострою», преображенные Сквозники-Дмухановские! Отсюда — оправдание крепостного права, как учреждения глубоко народного и христианского. Если бы Чичиков сошел с ума и обратился в христианство, он придумал бы что-нибудь подобное. Слишком понятно, что Белинский должен был просто взбеситься, «залаять собакою, завывать шакалом» от такого «христианства». Здесь — бессознательная правота Белинского, которая, во всяком случае, стоит противоположной, столь же бессознательной, правоты Гоголя. В своем простодушном безбожии («русский народ самый атеистический из всех на-

родов»), в своем антихристианстве Белинский все-таки ближе ко Христу, чем Гоголь в таком «христианстве».

Гора родила мышь. Начал гладью, кончил гадью. От хлестаковской «легкости» — к чичиковской «основательности». «Размахнулся Хлестаковым», обернулся Чичиковым. Вместо громового удара звонкая на всю Россию «оплеуха самому себе». Не столько исполинское «страшилище» сколько исполинская карикатура. Не лик Христов, а как в письме сумасшедшего Кириллова в «Бесах» у Достоевского — какая-то «рожа с высунутым языком», едва ли не рожа самого «черта без маски».

VII

Итак, внутренний провал «Переписки» соответствовал внешнему. Теперь, когда все покинули Гоголя, он остался наедине со своим чертом для последней битвы.

Сознание говорило ему: умертви свое тело; «жить в Боге — значит уже жить вне самого тела. Но это невозможно, пока человек на земле, ибо тело с нами», возражала сознанию бессознательная стихия, «первозданный элемент», заложенный в Гоголя и казавшийся ему теперь «языческим», «грешною плотью». Чем больше подавлял, умерщвлял он своим «христианским» сознанием эту бессознательную стихию, тем глубже скрывалась она, уходила от света сознания и здесь становилась действительно грешною, темною, демоническою — скрывалась до времени, копилась в тишине, изредка только обнаруживаясь взрывами.

По рассказам очевидцев, после долгих месяцев болезни, уныния, страха, именно в то время, когда этого, казалось, можно было всего менее ожидать, овладевали Гоголем «порывы неудержимой веселости. В эти редкие минуты он болтал без умолку, острота следовала за остротой, и веселый смех его слушателей не умолкал ни на минуту». Он казался вдруг совсем здоровым; так же внезапно исцелялся, как внезапно заболел: точно «припадки» здоровья, чрезмерной силы жизни — обратно-подобные припадкам болезни. В изможденном постнике, монахе, «со смиренным видом, с потухнувшими очами и тихим потрясающим гласом, исходящим из души, в которой умерли все желания мира», — мелькает прежний Гоголь, «вольный казак», который «глядит на жизнь, как на тринтраву», и способен, «встав поутру с постели, хватить в одной рубашке трепака по всей комнате». Целые месяцы смотрит

«букою», твердит уныло: «Все прах, все грех, страшусь всего», пока вдруг опять не проснется, «как встрепанный». «Проходя однажды с Анненковым в Риме по глухому переулку, он до того воодушевился, что, наконец, пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не далее двух минут ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону». В деревне у Смирновой огорчает и пугает всех своей угрюмостью; как вдруг затевает игру с детьми: «выдумывает» луну: «достает пустой круглый ящик, в котором были привезенные из Константинополя лакомства (халва и рахат-лукум), вынимает дно ящика, наклеивает бумагу, намазывает ее маслом, приклеивает огарок» — и луна готова. «Дети вне себя от восторга», подвешивают ящик на дерево и говорят, что это луна для их будущего театра. Дети вообще любят Гоголя больше, чем взрослые. С детьми забывает он, конечно, о своем христианстве, но, кто знает? Не ближе ли он именно в эти минуты ко Христу, чем когда-либо, не ближе ли ко Христу Гоголь пляшущий, чем плачущий? Если бы только он это понял, то, может быть, спасся бы. Но в том-то и дело, что все «1847 лет христианства» стояли между ним и таким пониманием Христа. И даже в последние годы жизни, когда он, по видимому, уж совсем измолился, испостился, вдруг вспомнит детской смех Пушкина, жгучий полдень в Кампаньи, родную казацкую песню — и опять все «страшилища» как будто ему «только снились», вот-вот кажется, проснется стряхнет их с плеч. Уже перед самым концом, среди смертной тоски и ужаса, по какой-нибудь неожиданной усмешке, «скромной» шутке, коротенькой записочке к матери о посадке деревьев, огородных овощей, любимой им цветной капусты и брунколей, чувствует, что он все еще не оторвался от земли, любит землю, тянется к «матери — сырой земле». Неимоверное здоровье борется в нем с неимоверною болезнью; сила здоровья равна силе болезни, так что до последней минуты неизвестно, что победить.

Эта-то бессознательная «языческая» стихия задерживает христианское сознание Гоголя, не пускает его, тянет назад; сознание его — точно привязанная птица: едва взлетая, тотчас падает на землю и бьется крыльями. Он восстал на плоть свою, и плоть восстала на него. Умерщвляемая, но неумертвленная, она мстит ему страшную местью; проклятая становится действительно проклятою и, как иссохшая земля, перестает питать корни всей его христианской «духовности», парализует ее, поражает бессилием, бесплодием, мертвенной сухостью, черствостью. «Крест тягчайший всех крестов — крест черство-

сти душевной», — стонет Гоголь. «Молись рыданием и плачем. Молись не так, как молится сидящий в комнате, но как молится утопающий в волнах, ухватившийся за последнюю доску». Но чем больше он молится, старается плакать, умилять, умягчать себя, тем становится суше и суше, черствее и черствее. Ни слезинки, ни капли небесной росы. Сердце его ожесточается, каменеет в этой мертвящей судороге. «Как растопить мне мою душу холодную, черствую?.. Что это за молитва бескрылая?.. Увы, молиться не легко! Как молиться, если Бог не захочет? — Чувствую, что нет сил помолиться самому; силы мои как бы ослабели, сердце черство, малодушна душа»... «Мне кажется даже, что во мне и веры нет вовсе»... «Дивлюсь тому, как Бог не поразил меня и не стер с лица земли»... «Я требую от всех вас помощи, как погибающий брат просит у братьев»... «О, молитесь обо мне... Молитесь, молитесь крепко обо мне, и Бог вам да поможет обо мне молиться!..» «Малодушнее меня, я думаю, нет в мире человека...» «Часто в душевном бессилии восклицаешь: Боже! где же, наконец, берег всего?»

VIII

Отчаявшись во внутреннем просветлении, он стал надеяться на внешнее чудо: ему казалось, что только в Святой Земле, у Гроба Господня, сойдет на него благодатное умиление, и он помолится там как следует. Целые годы мечтал он об этом путешествии, видел в нем единственную надежду на спасение, собирался и все откладывал, считая себя не готовым; наконец, собрался, но в последнюю минуту, уже в Неаполе, перед тем как сесть на корабль, опять упал духом, на этот раз окончательно, и вдруг почувствовал, что ему незачем ехать в Иерусалим, что он почти не верит в возможность чуда. «Признаюсь, часто даже находит на меня мысль: зачем я поеду теперь в Иерусалим? Прежде я был, по крайней мере, в заблуждении насчет самого себя. Я думал, что я хоть немного лучше того, что я есмь... я думал, что молитвы мои что-нибудь будут значить у Бога... Теперь думаю, не будет ли оскорблением святых мой приезд и поклонение мое?.. В груди моей равнодушно и черство... Вот какая мысль приходит мне на ум, а прежде она не приходила». «Не показывай, пожалуйста, никому этой странички моего письма», — прибавляет он в письме к Шевыреву от 20 ноября 1847 года. И почти тотчас по приезде в Иерусалим в письме к матери: «Не переставайте молиться обо мне... Теперь более,

чем когда-либо, чувствую бессилие моей молитвы...» Жуковскому, вскоре после приобщения у Гроба Господня: «Литургия совершалась на самом Гробовом камне... Я стоял один... Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, я только радовался тому, что поместился на месте так удобном для моления и так располагающем молиться; молиться же собственно я не успел... Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из Вертепа)... И уже из Одессы, на возвратном пути: «Скажу вам, что еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима. Только что разве больше увидел черствость свою и свое себялюбие, вот весь результат!.. Была одна минута... но как сметь предаваться какой бы то ни было минуте, испытавши уже на деле, как близко от нас искушение!..» Все замерло в нем, даже болезнь; он чувствовал себя физически почти здоровым: «Я был здоров во все время, больше здоров, чем когда-либо прежде», почти спокойным, но какое это страшное спокойствие, страшная пустота! У самого Св. Гроба мои молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только взлететь, и никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость, деревянность)... «Итак, далеко от меня то, что я прежде полагал чуть не близко... Я и доселе также лепечу холодными устами и черствым сердцем ту же самую молитву, которую лепетал и прежде».

«Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе вместо алтаря, — и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное. Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я как во сне эту Землю...» «В Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России, на станции». Эта унылая серая слякоть в Назарете не напоминала ли Гоголю заключения «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?» «Дождь лил ливнем на жиду, накрывшегося рогожкой. Сырость меня проняла насквозь... Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо!.. Скучно на этом свете, господа!» Что значит эта серая паутина

дождя, эта стена сонной серой мглы, точно серого пепла, между христианством Гоголя, может быть, всем нашим христианством и подлинным Христом — «отроком из Назарета»? Не есть ли это стена всех «1847 лет» исторического христианства? Ведь и Гоголь в христианстве своем отрекся от земли, проклял землю. Не потому ли и в Святой Земле нашел он землю не святую? Искал на земле только неба и не нашел ни неба, ни земли, а лишь то, что в вечной середине между небом и землей — серую холодную мглу, серый стынущий пепел христианства, которое «не удалось», «не выгорело».

Гоголь — в Назарете, стране Благовещения, там, где впервые небо стало земным, земля — небесною, застигнутый «серою слякотью, «как бы это случилось в России, на станции», глядящий на «мокрых галок и ворон», на «слезливое без просвета небо» и даже не плачущий, а только зевающий: «Скучно на этом свете!» Не символ ли это всего современного серединого, ни «холодного», ни «горячего», а лишь «теплого», ни «черного», ни «белого», а лишь «серого», ни пляшущего, ни плачущего, а лишь «зевающего» христианства? «И непонятною тоскою уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинской образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем мире!»

«Исполинская» скука, оцепенение, сонная зевота, которая страшнее самого безумного отчаяния, все более и более овладевают Гоголем, по возвращении в Россию, в три, четыре последние года жизни. «Отчего, зачем нашло на меня такое оцепенение, этого не могу понять... Не пишется... не хочется говорить ни о чем... Может быть, оттого, что не стало, наконец, ничего любопытного на свете». «Право, скучно, как посмотришь крутом на этом свете», — вырывается у него однажды в разговоре, с обыкновеню, должно быть, зевотою. Все чаще жалуется он на «умственную спячку», «недвижность», «непостижимую лень и бездействие сил». «У меня все лениво и сонно... Мне нужно большое усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? Старость, или временное оцепенение сил? Сплю ли я или так сонно бодрствую, что бодрствование хуже сна?»

«Работа (над „Мертвыми душами“) не подвигается; иное слово точно вытягиваешь клещами»... «Не работается, не живется, хотя покуда это и не видно другим». Это и есть та страшная летаргия, о которой он писал: «Слышу в себе силу и слышу, что она не может двинуться». «Мы видели Гоголя в Москве, —

пишет Аксаков осенью 1848 года, — он мало наружно переменялся, но кажется так, как будто не тот Гоголь». Снаружи кажется он почти спокойным, более здоровым и крепким, чем когда-либо. Но у него, по собственному признанию, «все расстроено внутри»; это наружное спокойствие и есть зловещий признак того, что вся сила болезни ушла внутрь.

«Как он переменялся, — пишет сестра его в дневнике из родной усадьбы Васильевки, не далеко от знаменитой Диканьки, куда Гоголь приехал гостить весною 1848 года. — Как он переменялся! Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный, и равнодушный к нам! Как мне это было больно!» И на следующий день 10 мая: «Все утро мы не видели брата! Грустно: не виделись шесть лет, и не сидит с нами». 13-го: — «Брат все такой же холодный, серьезный, редко когда улыбнется». 20-го: — «Сегодня у меня сильное раздражение нервов, и я все плачу». «У нас с братом были маленькие неприятности, но сегодня все забыто: он мне дал крестики из Иерусалима». 25-го: — «Так было грустно; все что-то тревожит». И уже через два месяца, 22 июля, перед отъездом Гоголя: «вчера мы все плакали. Тоска ужасная! Как я его сильно люблю, хотя часто и неприятности делает, но все же я его люблю, как отца». 24-го: — «Ах как грустно!.. Все плакали»... Вот настроение, которое распространяется, как темные лучи, от Гоголя-«христианина», того самого Гоголя, который во дни своего «язычества», был источником лучезарнейшего света, смеха и радости: теперь у всех на душе какая-то невыразимая тяжесть, тоска; одни плачут, другие пугаются; а Гоголь только зевает да раздает «крестики из Иерусалима». Любовь матери и сестер, рассказывает биограф, выводила Гоголя из себя, «заставляя его подозревать не христианскую, но земную, распыленную любовь к нему».

«При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его. Иисус, увидев Матерь и ученика (Иоанна), тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя. И с этого времени ученик сей взял ее к себе» (Иоанна XIX, 26—27). Так Сын Человеческий и на кресте любит Мать Свою любовью земною, человеческой; когда Плоть Его ломима и Кровь изливаема, утверждает Он уже не во времени, а в вечности плотскую, кровную связь материнства и сыновности. Таков первоначальный солнечный белый свет христианства, который сияет и от Креста в ночи Голгофы, устремляясь от Первого ко Второму Пришествию; но когда белый свет христианства делается темным, то сыновность и ма-

теринство, отчество и братство, все кровное, плотское, все живое умрет без воскресения в этом «темном свете» бесплотной и бескровной монашеской святости.

«Неужели чувство любви к родине у тебя высохло?» — спрашивает Гоголя один из его старых малороссийских приятелей. Да, именно «высохло», вымерло в нем все, или, по крайней мере, он хотел бы, что бы все в нем высохло: в этой-то мертвенной сухости, страшной духовной сухоте и заключается, по мнению его — его ли одного? — христианская святость, «высота небесного бесстрастия».

В одном послеобеденном разговоре с дамами заходит речь о тогдашних изобретениях, — стеарине, дагерротипе. «И на что это все надобно? лучше ли от этого люди?» — зевает Гоголь. Все молчат. «Я прежде любил краски, когда очень молод был!» — опять вдруг начинает он, точно спросонок. — «Да, вы могли бы быть живописцем, — замечает какая-то дама. — А прежде что любили?» — «А прежде, маленьким еще — карты». Дама: «Это означает деятельность духа»... Гоголь: «Какая деятельность духа! Половина России только и делает... Это бездействие духа»... Другая дама: «Николай Васильевич, скоро ли выйдет окончание „Мертвых Душ“?» Гоголь, опять зевая: «Я думаю, через год». — «Так они не сожжены?» Гоголь: «Да-а-а... Ведь это только начало было!...» «Он был сонный в этот день от русского обеда», — прибавляет автор записок. В этом разговоре все обыкновенно, но именно своею обыкновенностью, «пошлостью, доходящею почти до фантастического» — страшно, может быть, страшнее всех исполинских «загробных страшилищ». Это продолжение серой слякоти над холмами Назарета; та серая паутина скуки, которая залепила нам глаза, и которую мы называем нашим «христианским просвещением».

«Иногда страх врывается в сонную душу», — признается Гоголь. Но это уже не прежний, а какой-то новый страх. В нем зарождается самая «христианская» и, вместе с тем, самая чудовищная из всех его «христианских» мыслей: мысль о том, что ему нельзя спастись, что все равно, что бы ни делал, как бы ни калялся, — он погиб, что какое-то особое таинственное отвержение тяготеет на нем: «Мне труднее спастись, чем кому другому...» «Страшусь, видя ежеминутно, как хожу опасно»... «Обо мне нужно молиться боле, чем обо всяком другом человеке. Если Бог меня не вразумит... участь моя будет страшнее участи всех прочих людей». — «Молитесь, молитесь обо мне все!» — это однообразный неумолкаемый вопль его в течение многих лет. В духовном завещании Гоголя сказано: «Я бы хотел, чтобы по

смерти выстроен был храм, в котором бы производились поминки по грешной душе... Я бы хотел, чтобы тело мое было погребено, если не в церкви, то в ограде церковной, и чтобы панихиды по мне не прекращались». Это напоминает колдуна в «Страшной мести»: «Не мог бы ни один человек в свете рассказать, что было в душе у колдуна, а если бы он заглянул и увидал, что там делось, то уже не досыпал бы он ночей и не засмеялся бы ни разу». Перед смертью колдун бежал в Киев ко святым местам, в пещеру схимника.

«— Отец, молись! молись! — закричал он отчаянно, — молись о погибшей душе! — и грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул — и в ужасе отступил назад и выронил книгу.

— Нет, неслыханный грешник! нет тебе помилования! беги отсюда! не могу молиться о тебе!

— Нет? — закричал, как безумный, грешник.

— Гляди: святые буквы на книге налились кровью. Еще никогда в мире не было такого грешника!

— Отец, ты смеешься надо мною!

— Иди, окаянный грешник! не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!»

В этом видении как будто предсказана судьба Гоголя: колдун и схимник — это сам Гоголь и его духовник, отец Матфей Ржевский.

IX

Вопрос о влиянии отца Матфея на Гоголя решается большинством критиков с чрезмерною легкостью: ржевский протоиерей, грубый изувер, которому Гоголь подчинялся, будто бы вследствие своей душевной болезни, «мистического бреда». Стоит, однако, несколько пристальнее взглянуть в то, что произошло между этими двумя людьми для того, чтобы не удовлетвориться подобным решением вопроса.

«Что вам сказать о нем? (об о. Матфее), — пишет Гоголь гр. Толстому. — По-моему, это умнейший человек из всех, каких я доселе знал, и если я спасусь, так это верно вследствие его наставлений, если только, нося их перед собой, буду больше входить в их силу». И самому о. Матфею из Иерусалима: «У Гроба Господня я помянул ваше имя... Молитва моя состояла в изъяснении благодарности Богу за то, что послал мне вас, бесценный друг и Богомолец мой... Примите же еще раз мою благо-

дарность отсюда, из этого места, освященного стопами Того, Кто принес нам искупление наше». Мы знаем, что Гоголь так дорожил письмами духовника, что «носил их всегда при себе»: «Прочитал несколько раз ваше письмо; прочитал потом еще в минуту других расположений душевных. Смысл нам не вдруг открывается, а потому нужно повторять чтение»... «Ваши два последние письма держу при себе неотлучно. Всякой раз, когда их в тишине перечитываю, вижу новое в них... Не забывайте меня в молитвах ваших. Знаете и сами, как они мне нужны... Одна мысль о том, что вы молитесь обо мне, населяет в душу надежду»... «Может быть, вам душа моя известна больше, чем мне самому... Вопию о помощи: молитесь, добрая душа!»... «О, как бы мне хотелось открыть вам всю мою душу!» Последнее письмо о. Матфею за две недели до смерти, уже со смертью в душе, Гоголь подписывает: «Обязанный вам вечною благодарностью и здесь, и за гробом, ваш весь Николай».

Мы знаем, чем был Пушкин для Гоголя. И вот, однако, этот никому неизвестный, мало образованный и кажется даже, несмотря на уверения Гоголя, не особенно умный священник имеет большее влияние на судьбу его, чем Пушкин. От Пушкина — жизнь, от о. Матфея — смерть Гоголя, и жизнь явно побеждена смертью: о. Матфей оказывается сильнее Пушкина, какую именно силою? — вот вопрос.

Ему было лет под шестьдесят. Большую часть жизни он провел в деревенской глуши, среди простого народа. «Смолоду наклонен был к подвижнической жизни. Он был не высок ростом, немножко сутуловат; у него были серые, нисколько не красивые и даже не особенно выразительные глаза, немножко выющиеся светло-русые с проседью волосы, довольно широкий нос — одним словом, по наружности и по внешним приемам, это был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьян села Езска или Диева отличал только покроем его одежды... Правда, во время проповеди (он говорил прекрасно, восхищавшим Гоголя, живым народным языком), а также при совершении литургии, лицо его озарялось и светлело; но это были преходящие последствия внезапного восхищения, по миновании коих наружность его принимала свой обычный незначительный вид». («Жизнь и труды Погодина» Н. Барсукова, VIII, 564—566). Таков, по свидетельству очевидца, внешний облик о. Матфея. Облику внешнему соответствует внутренний, насколько мы знаем по его собственным письмам и по отражению личности его в представлении Гоголя: во всем существе о. Матфея — не только ничего гениального, поразительного, но и ничего выдающе-

гося, особенного, даже почти ничего личного, ничего своего. Но в этом-то именно отсутствии личного и заключалась главная сила, тайна власти его. О. Матфей для Гоголя не человек, а священник, только, но за то и во всей полноте — священник. Человек со своими личными особенностями как бы окончательно растворился в безличном священстве; оно поглотило в себе человека. О. Матфей для Гоголя — чистейший представитель чистейшего православия; он, во всяком случае, не перетолковывал, не окрашивал его в свой цвет, в цвет своей личности; как сквозь совершенно прозрачное белое стекло, сквозь личность или, вернее, безличность о. Матфея можно заглянуть в самую глубину подлинного исторического и народного христианства: таково оно было, таково оно есть, не на словах, а на деле, потому что этот деревенский поп был прежде всего человек дела; христианство его — не словесное, не отвлеченное, а в высшей степени действенное, жизненное. Другие говорят о том, что делать; о. Матфей делает то, о чем говорит. Не от себя он говорит и ничего не прибавляет от себя: что принял от церкви, на том и стоит; не идет, как другие, более «современные и просвещенные» истолкователи предания, ни на какие уступки, смягчения, лукавые сделки с лукавым духом времени. Гоголь чувствовал в о. Матфее непотрясаемую крепость, каменный кряж православия. Это несколько плоское и серое мужичье лицо ржевского протопопа было лицом всей русской церкви, всего «восточного католичества». В голосе о. Матфея слышался подлинный голос «1847 лет» исторического христианства. О. Матфей весь един; Гоголь весь раздвоен. Как твердый дубовый клин в расщепленное дерево, это единство о. Матфея врезалось в раздвоенное существо Гоголя и раскололо его окончательно. Вникая в подвижнические творения великих отцов, Златоуста, Василия, Исаака, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, Гоголь имел возможность проверить о. Матфея и убедиться в его совершенном согласии с этими столпами церкви, на коих ведь и доньше вся она зиждется, как на своем глубоко скрытом, подземном, но все же единственно-твердом основании.

В чем же собственно главная мысль о. Матфея, его исходная точка? Это главная мысль всего уединяющего, монашеского, «черного» христианства. Мысль самого Гоголя, по крайней мере, отчасти в его сознании: «жить в Боге — значит жить вне самого тела»; святость — значит бестелесность, бесплотность; плоть значит грех; дух противопоставляется плоти, как одна абсолютная сущность другой — столь же абсолютной, как начало Божеское началу бесовскому, как вечное добро

вечному злу — в неразрешимом противоречии. Отсюда вывод: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; ибо все, что в мире, — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Весь мир лежит во зле». Мир есть отрицание Бога; Бог есть отрицание мира — не какой-либо части мира, а мира, как целого, как, опять-таки, абсолютной сущности. То, что было только одним из двух начал, одним из двух полюсов в учении Христовом, становится началом единственным, всепоглощающим, отрицающим другое начало. Такова исходная точка о. Матфея: отправляясь от нее, он только дошел до конца, только сделал из этих первых аскетических посылок последний, страшный, но, в сущности, неизбежный вывод в своем суде над Гоголем; те, у кого черный монашеской цвет христианства, слиняв, сделался не белым, а лишь серым, полусветлым, полусветским, уклонились бы, конечно, от этого слишком страшного вывода; но вот вопрос: подвижники чистого «черного» христианства, древние великие «отцы пустыни», Исаак, Ефрем, Лествичник, не согласились бы с беспощадной логикой о. Матфея, который признал, что не только все «язычество» Гоголя, его художественное творчество, смех, радость жизни, любовь к миру, но и все его «христианство», скорбь, покаяние, отречение от мира, как недостаточные, неполные, не окончательные, слишком светлые, суть ложь, соблазн, то, что на языке аскетизма называется «прелесть», и что все это мнимое, будто бы, христианство внушено ему не духом, а плотью, не Богом, а дьяволом.

Именно здесь, в отношении к аскетизму о. Матфея, обнаружилась вся религиозная двойственность Гоголя, в такой мере, как еще нигде никогда.

С одной стороны, он как будто соглашается, с ним во всем, выдает ему себя с головой, только молит о последней пощаде, отражает последние, слишком страшные, обвинения в «прелести», хотя уже и в том, как он защищается от этих обвинений, чувствуется его незащитность: «Нет, не допустит Бог впасть меня в ту прелесть, в которую подозревают меня впадшим». «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя („Переписка”), должна произвести вредное действие, и что я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом. Книга моя не от дурного умысла: мое неразумие всему причиною; за то Бог и наказал меня... Что же до влияния на других, то мне как-то не верится, чтобы от книги моей распространился вред на них. За что Богу так ужасно меня наказывать? Нет, Он отклонит от

меня такую страшную участь, если не ради моих бессильных молитв, то ради молитв тех, которые Ему молятся обо мне, — ради молитв моей матери, которая из-за меня вся превратилась в молитву»... «Я, точно, моей опрометчивой книгой показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства... А диавол, который как тут раздули до чудовищной преувеличенности даже и то, что было и без умысла учительствовать... Теперь только дивлюсь своей гордости, дивлюсь тому, как Бог не поразил меня и не стер с лица земли»...

С другой стороны, за этою, как будто бесконечною, покорностью скрывается бесконечное сопротивление: уступая, шаг за шагом, Гоголь все-таки за что-то отчаянно борется с о. Матфеем, что-то отстаивает, чем-то не может или не хочет пожертвовать, хотя бы грозила ему клятва церковная и вечная погибель. Он клонится, гнется, и в самой этой гибкости — почти неодолимая сила упорства. На «черное» христианство о. Матфея возмущает он иногда, как будто нечаянно, но все-таки слишком по существу, в слишком глубокой исходной точке, от которой зависит весь уклон христианства от «белого» цвета к «черному», от воскресения к умерщвлению, от святой плоти к бесплотной святости. Он пишет ближайшему другу и духовному сыну о. Матфея, гр. Толстому: «Вы очень односторонни и стали недавно так односторонни... Вы почитаете все, что ни есть в мире, соблазном и препятствием к спасению. Монах не строже вас... Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить все, видя во всем одно бесовское». Разве это не острый нож в сердце о. Матфея? Тут речь идет о театре, о литературе, о Пушкине, о всей плоти мира, «света», который не хочет быть мраком, «мрачным монастырем». «Среди света, — говорит Гоголь, — есть много такого, что служит незримою ступенью к христианству». И далее, уже самому о. Матфею: «Я подал вам повод думать, что посылаю людей в театр, а не в церковь. Храни меня Бог от такой мысли!.. Я только думал, что нельзя отнять совершенно от общества увеселений их, но надобно так распорядиться с ними, чтобы у человека возрождалось желание идти к Богу, а не идти к черту». Чем уступчивее Гоголь, тем требовательнее о. Матфей. Когда же он высказал, наконец, свое последнее, ужасающее, но, в сущности, для него логически неизбежное требование, чтобы Гоголь «бросил имя литератора и пошел в монастырь», тот возразил ему так, что это возражение, несмотря на свою внешнюю почтительность, было для о. Матфея опять как острый нож в сердце. «Признаюсь вам, я до сих пор уверен, что закон Христов можно внести с собой повсюду,

даже в стены тюрьмы, и можно исполнять его, пребывая во всяком звании и во всяком сословии; его можно исполнить также и в звании писателя... Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасенье души моей и во исполнение всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешел на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошел в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас, те же искушения вокруг нас... Словом, нет поприща и места в мире, на котором мы бы могли уйти от мира)... «Если писателю дан талант, то, верно, даром и не на то, чтобы обратить его во злое. Если в живописце есть склонность к живописи, то, верно, даром и не на то, чтобы обратить его в злое»... «Не знаю, брошу ли я имя литератора, потому что не знаю, есть ли на это воля Божья».

Ежели сущность христианства умерщвление плоти, бесплотная духовность (а ведь так именно и была понята эта сущность всеми веками односторонне-аскетического христианства от Исаака Сирина до о. Матфея), то искусство не может быть святым в христианском смысле, потому что всякий художественный образ есть все-таки не бесплотная духовность, а одухотворенная плоть или воплощенный дух. Гоголь не сознавал с ясностью (и в этом недостатке сознания заключается главная причина его гибели), только смутно прозревал в искусстве начало религии, начало святой плоти. Этого-то и не мог понять о. Матфей, который, так же как и все стоявшие за ним века, подменил святую плоть бесплотною святостью.

Х

Надо понять всю глубину вопроса, который поднята был здесь между мирянином и священником, между миром и церковью. Нельзя в мире уйти от мира, утверждает Гоголь. Если это так, то одно из двух: или христианство невозможно; или оно во все не требует, чтобы мы ушли от мира в том смысле, как этого требовал о. Матфей. «Мир весь лежит во зле» — это одно подлинное начало христианства; но вот и другое столь же подлинное: Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного принес за него в жертву. Бог не может любить зло; значит, кроме того мира, который «весь лежит во зле» или, по выражению Гоголя, «идет к черту», есть и другой мир, который идет к Богу. Как отделить один из этих двух миров от другого? Есть грешная плоть, но есть и плоть святая, иначе Слово не стало бы Плотью. Как от-

личить плоть грешную от святой? Гоголь опять-таки не сознавал, а лишь смутно предчувствовал эти вопросы, которые не только разрешить, но и услышать не мог о. Матфей.

Гоголь отрекался от «вселенского учительства», но одно мгновение, одна точка религиозного пути его имеет действительно вселенское значение; действительно, стоял он, по выражению Аксакова, перед «исполинской задачей, которой не разрешили 1847 лет христианства». Он предчувствовал, что христианство остается донине словесным, отвлеченным, что оно уходит от мира и не возвращается в мир. Он утверждает, что праздник Светлого Христова Воскресения нигде еще не празднуется как следует — почему это так, он не мог бы сказать, он только смутно прозревал, что тайна Воскресения Плоти не открывается в «черном» христианстве, и что окончательное откровение тайны этой предстоит лишь будущему, «белому», воистину вселенскому христианству. Здесь, может быть, нечаянно, коснулся Гоголь той оси, на которой держится, и от колебания которой зависит мировой поворот христианства от Первого ко Второму Пришествию; он сдвигал тот камень, на котором зиждится вся крепость церкви неподвижной. О. Матфей и Гоголь (не в своем сознании, а только в своем пророческом ясновидении) — это неподвижность и движение, предание и пророчество, прошлое и будущее всего христианства — в их неразрешимом противоречии. О. Матфей преступил завет апостольский: «духа не угашайте», когда требовал, чтобы Гоголь отрекся от искусства, он «угашал дух», умерщвлял духовную плоть во имя бесплотной духовности. В анафеме над Гоголем и Пушкиным, устами о. Матфея историческое христианство приносило анафему над всею русскою литературою, над всем «просвещением», «светом», «миром», анафему над всею плотью, анафему над всею тварью, еще не избавленной, но «совокупно стенающей об избавлении». Спор о. Матфея с Гоголем был таков, что между обеими сторонами не могло быть никакой середины, никакого примирения: ежели один был в абсолютной истине, то другой — в абсолютной лжи; ежели за одним была «воля Божья», то за другим воля, идущая против Бога. С Богом ли он или против Бога в этом споре, — Гоголь не имел силы решить окончательно: не только вся история, но и собственное сознание Гоголя были слишком на стороне о. Матфея. И потому, что Гоголь не имел силы этого решить, — он погиб.

«Не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить». Отречение от литературы для Гоголя было не только самоумерщвление, но и самоубийство. О. Матфей потребовал от

него этого самоубийства. Гоголь предвидел, что, если бы он не согласился, то о. Матфей сказал бы ему то, что святой схимник говорит колдуну в «Страшной мести»: «Иди, окаянный грешник! не могу о тебе молиться — нет тебе помилования! Еще никогда в мире не было такого грешника!» Этой анафемы, которая носилась над Гоголем всю жизнь и преследовала его в вещих снах, он так боялся, что готов был на все. Голос о. Матфея был для него голосом церкви, всего христианства, самого Христа. Ему предстояло одно из двух — или жить вне церкви отступником, или совсем не жить: он выбрал последнее.

XI

В конце декабря 1851 года, меньше чем за два месяца до смерти, Гоголь писал о. Матфею: «Известие, что вы будете сюда, меня много обрадовало. Вы напрасно думали, что приезд ваш на праздник Рождества может быть не в пору. А. П. (гр. Толстой) живет так уединенно и таким монастырем, что и я, любящий тоже тишину, переехал к нему на время пребывания моего в Москве. Он просит вас прямо взъехать на двор к нему... Комната для вас готова». В это время, несмотря на обычные физические и духовные страдания, заложенная в существе Гоголя огромная жизненная сила все еще борется с болезнью. Несмотря на все отречения от жизни, он все еще любит жизнь, любит землю, тянется к земле, бессознательно, как дитя к матери.

«За посадку дерев тебя очень благодарю, за наливки также, — пишет он сестре. — Как только сделается потеплее, пришлю тебе семян для посева кое-какой огородины». Кажется, он все еще способен к одной из тех шуток, которые три года назад, позволял себе неожиданно, среди бесконечных унылых рассуждений о посте, о бесстрастии, об умерщвлении плоти: «Любезный друг, Сергей Тимофеевич, — писал он Аксакову, — имеют к вам сегодня подвернуться к обеду два приятеля: Языков и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю об этом обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусок бычачины на лишнее рыло». Как радуешься, как отдыхаешь на этой шутке! Точно бледный луч солнца в гробовом склепе. Как узнаешь и приветствуешь прежнего Гоголя, милого «язычника», неисправимого обжору, творца «Старосветских помещиков», для которых вся жизнь — еда! Как вдруг начинаешь снова надеяться, что он еще не совсем погиб! И насколько этот кусок грешной бычачины ближе ко Христу, чем та страшная сухая просвира, кото-

рую впоследствии запостившийся Гоголь будет глотать, умирая от истощения и упрекая себя в «обжорстве»!

Главное — он все еще пишет, а писать для него значит жить. Мучительно, медленно, но неустанно работает над вторым томом «Мертвых душ». Пока не порвана эта связь с жизнью через искусство, есть еще надежда на спасение. «Второй том, может быть, тебе привезу летом сам, а может быть, и в начале весны». — «Я работаю в тишине по-прежнему. Иногда хвораю, иногда же милость Божья дает мне чувствовать свежесть и бодрость, тогда и работа идет свежее». — «Если Бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, и я как-нибудь управлюсь»... «Сижу по-прежнему над тем же, занимаюсь тем же, — пишет он Жуковскому за девятнадцать дней до смерти. — Помолись обо мне, чтобы работа моя была истинно добросовестна и чтобы я хоть сколько-нибудь был удостоен пропеть гимн красоте небесной».

Таково душевное состояние Гоголя до приезда о. Матфея; через две недели после его отъезда Гоголь умер. Конечно, то что произошло между ними, было причиной этой смерти.

«Что это за странная смерть! — говорить С. Т. Аксаков. — Он умер, мне кажется, только потому, что был убежден, что умирает. Физического расстройства в нем не было». «Это было в субботу на первой неделе поста, — рассказывает другой очевидец. Увидав его, я ужаснулся. Не прошло месяца, как я с ним обедал вместе, — он был цветущего здоровья, бодр, свеж, крепок, — и теперь предо мною человек как бы изнуренный до крайности чахоткою или доведенный продолжающимся тифом до необыкновенной изнеможенности. Глаза его тусклы и впалы, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос слаб, язык трудно шевелится от сухости во рту, выражение лица неопределенное, необъяснимое. Мне он показался мертвецом с первого взгляда». «Он чувствовал, что болен тою самою болезнью, от которой умер отец его, — именно, что на него нашел страх смерти». «Страшная минута смерти!» — повторял Гоголь. Когда однажды о. Матфей обличал его и грозил небесною карою, Гоголь потрясенный, не владея собою, прервал речь и воскликнул:

— Довольно! оставьте, не могу далее слушать — слишком страшно!

Должно быть, перед самым отъездом о. Матфея, произошла последняя решительная беседа, во время которой Гоголь, по собственному выражению, «оскорбил» своего духовного отца, друга и благодетеля. Как мог он его оскорбить? По всей вероятности, о. Матфей в последний раз потребовал ответа, же-

дает ли он с точностью исполнить аскетические правила Святых Отцов, уйти от мира, «бросить имя литератора и сделаться монахом». И в последний раз Гоголь возмутился, со смертным ужасом, отчаянием и, может быть, даже злобным ожесточением противостоял о. Матфею, возразил, что не должен этого делать, потому что «не знает, есть ли на то воля Божья».

Но только что духовник уехал, Гоголь послал ему вслед письмо, в котором молил о прощении; это последние строки, написанные Гоголем: «6 февраля 1852. — Уже написал было к вам одно письмо вчера, в котором просил извинения в том, что оскорбил вас; но вдруг милость Божья чьими-то молитвами посетила и меня жестокосердного, и сердцу моему захотелось вас благодарить крепко, так крепко! но об этом что говорить?..

Обязанный вам вечною благодарностью здесь, и за гробом, ваш весь Николай».

Борьба была кончена, о. Матфей победил. «Благодать» внезапно осенившая Гоголя «чьими-то молитвами», открыла ему что «воля Божья» требует, чтобы он отрекся от литературы. По всей вероятности, Гоголь, в ту минуту, когда писал духовнику, уже решил окончательно сжечь все свои рукописи и больше «не писать — не жить».

«Устав церковный написан для всех, — говорит о. Матфей. — Все обязаны беспрекословно следовать ему: неужели мы будем равняться только со всеми и не захотим исполнить ничего более? Ослабление тела не может нас удерживать от пощения; какая у нас забота? Для чего нам нужны силы? Много званных, но мало избранных»...

Гоголь решил исполнить нечто большее, чем устав церковный. На масляной начал он говеть и поститься: стал есть все меньше и меньше, «хотя, по-видимому, не терял аппетита и жестоко страдал от лишения пищи. За обедом употреблял только несколько ложек овсяного супа или капустного рассола. Когда ему предлагали что-либо другое, отказывался болезнью. Несколько дней питался одною просфорой. Свое пощение не ограничил пищею, но и сон умерил до чрезмерности: после ночной продолжительной молитвы, рано вставал и шел к заутрени. Наконец, он так ослаб, что едва держался на ногах. Однажды целый день ничего не хотел есть; когда же после съел просфору, то назвал себя обжорою, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно».

На первой неделе Великого поста в ночь с понедельника на вторник, за девять дней до смерти, Гоголь велел своему мальчику-слуге раскрыть печную трубу и затопить печку. Собрал все свои

рукописи и бросил их в огонь. Он «сжег все, что написал», между прочим, и весь, уже почти готовый, второй том «Мертвых душ». «Ничего не осталось, даже ни одного чернового лоскутка», — замечает Хомяков. Мальчик, глядя на горящие рукописи, возражал ему: «Зачем вы это делаете? может, они пригодятся еще». Но Гоголь его не слушал. А когда почти все сторело, он долго сидел, задумавшись, потом заплакал, велел позвать гр. Толстого, показал ему догорающие углы бумаги и сказал: «Вот что я сделал! хотел было сжечь некоторый вещи, давно на то приготовленные, а сжег все. Как Лукавый силен! Вот он до чего меня довел». — «Ведь вы можете все припомнить?» — сказал Толстой, желая его утешить. — «Да, — отвечал Гоголь, положив руку на лоб, — могу, могу, у меня все это в голове», — и по-видимому, сделался спокойнее, перестал плакать.

Прежде чем у Гоголя явилась мысль о сожжении рукописей, он завещал, чтобы после смерти его гр. Толстой все его сочинения передал митрополиту Филарету: «Пусть он наложит на них свою руку; что ему покажется не нужным, пусть зачеркивает немилосердно». Вот главный вопрос, с которым Гоголь обращался к Церкви: он хотел, чтобы она научила его отделять нужное от ненужного, святое от грешного, Божеское от бесовского, не только в искусстве, но и во всем вообще «мирском», «светском», «плотском» во всей живой плоти мира, во всей твари, еще не избавленной, но «совокупно, стенающей об избавлении»; он хотел, чтобы церковь научила его отделять мир, который «весь лежит во зле» от мира, который Бог так возлюбил, что Сына Своего Единородного принес за него в жертву. Увы, на этот вопрос не сумел бы ответить Гоголю не только митрополит Филарет, но и все историческое христианство от Иоанна Лествичника, Исаака Сирина до о. Матфея; оно сделало бы только одно из двух или, уклоняясь от прямого ответа, изменяя себе, как оно и в действительности слишком часто себе изменяло, согласилось бы только на случайные уступки, только на лукавые сделки с лукавым духом времени, которые не мог и не хотел принять Гоголь, и которые делают христианство из черного не белым, а только серым, серединным, похожим на осеннюю слякоть над холмами Назарета; или, оставаясь верным себе до конца, повторило бы еще раз устами о. Матфея то, что уже восемнадцать веков повторяло на все лады: «Не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская; все — тлен, все — прах, все — грех. Беги же от мира, брось имя литератора и будь монах». Когда Гоголь, не умея отделить святое от грешного в своем искусстве, в своей плоти, от

всего отрекся, проклял все, сжег все, — тогда вдруг почувствовал, что исполнил волю не Божью, совершил преступление, кощунство, которому нет имени, — похулил в святой плоти Дух Святой: «Вот, что я сделал! хотел было сжечь некоторые вещи, а сжег все. Как Лукавый силен! Вот он до чего меня довел». Кто же собственно довел его до этого, Лукавый или о. Матфей? В ту минуту, когда Гоголь сидел у печки и смотрел, как буквы тлеющих рукописей рдеют, точно кровью наливаются («Смотри, окаянный грешник, святые буквы на книге налились кровью»), в этом страшном кровавом отблеске не предстал ли ему образ о. Матфея, не захотелось ли Гоголю закричать ему, как в «Страшной мести» колдун кричит святому схимнику: «Отец, ты смеешься надо мною!» Не понял ли он, наконец, кто скрывается под этим образом — образом «ангела света»? Не узнал ли под этою последнею, самую соблазнительною маскою того, с кем он боролся всю жизнь оружием смеха? Борьба была окончена, совершилась «Страшная месть»: не-человек победил человека, посмеялся над тем, кто думал над ним посмеяться.

XII

Мы знаем, что в последние дни преследовали Гоголя какие-то ужасные видения. Дня за два, за три до сожжения рукописей он «поехал на извозчике в Преображенскую больницу к одному юродивому, подъехал к воротам, подошел к ним, воротился, долго ходил взад и вперед, долго оставался в поле на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и потом, не входя на двор, опять сел на лошадь и возвратился». Что он думал, что он видел там, в поле, ночью, один, или в старинной маленькой церкви Симеона Столпника, где в темноте молился целыми часами? Не проносились ли перед ним снова те видения, которыми в юношеских сказках своих, особенно в самой страшной и вешей из них — «Вий», напороочил он себе судьбу свою? Герой «Вия», «философ» Хома Брут, тоже остается ночью один в церкви. «Посредине стоял черный гроб; свечи теплились перед темными образами; свет от них освещал только иконостас и слегка средину церкви; отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость... Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно... „Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем“, подумал философ. И он принялся прилеплять восковые свечи ко всем карнизам, наоям и образам,

и скоро вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели утрюмей... Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей — и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши, своих глаз: такая страшная сверкающая красота!»

Эта ведьма, с которою некогда веселый молодой казак летал в «бесовски сладком, томительно-страшном полете», эта мертвая ведьма в черном гробу среди церкви — не языческая ли красота, не сладострастная ли плоть мира, убитая и отпеваемая Гоголем в старой церкви, в церкви Симеона Столпника или о. Матфея?

«Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец... Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петель, и несметная сила чудовищ, влетела в Божью церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь. Все летало и носилось, ища повсюду философа... Он только крестился, да читал, как попало, молитвы... Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом. „Приведите Вия, ступайте за Вием“!..» И вдруг настала тишина в церкви; послышалось вдали волчье завыванье, и скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он черней земли. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно отступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное».

Железное лицо, земляное тело Вия — против бесплотных лиц, неземного тела святых, бездушная плотскость — против бесплотной духовности. За умерщвленную плоть мстит мертвая плотскость. Вий — это самое противоположное духу, движению, сознанию; это тяжесть, косность, мертвость первозданного вещества, материи; это в человеке инстинкт, прикрепляющий его не только к земному и телесному, но и к подземному до-телесному — к материи — инстинкт слепой и ясновидящий: длинные веки Вия опущены до земли; он сам не может их поднять, но когда другие подымут их — он видит то, чего никто не видит.

«— Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голосом Вий, — и все сонмище кинулось подымать его веки.

— Не гляди! — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный папелец, и все, сколько ни было, кинулись на философа.

Бездыханный, грянулся он о землю, и тут же вылетел дух из него от страха».

Он «умер от страха», так же, как Гоголь. И святыня Божья не спасла его от дьявольской нечисти; церковь, бедная, ветхая, вся дрожит под напором чудовищ и не может им противиться: они побеждают ее; бесплотная духовность оскверняется бездушной плотскостью — и предсказанная «мерзость запустения становится на месте святом».

Когда наступило утро, «вошедший священник, рассказывает Гоголь, остановился при виде такого посрамленья Божьей святыни и не посмел служить... Так навеки и осталась церковь, с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет теперь к ней дороги». Она запустела — и мир не найдет к ней дороги, так же, как она сама не нашла дороги в мир.

Каковы бы ни были предсмертные видения Гоголя, таков именно должен был быть их пророческий смысл: его собственная им самим убитая муза, сверкающая страшной красотой ведьма в гробу среди церкви и уставленный на него, убийцу, железный палец Вия.

XIII

С той самой ночи, как сжег свои рукописи, сделался он еще мрачнее прежнего. Сидел в креслах по целым дням в халате, протянувши ноги на другой стул, перед столом, не пускал к себе почти никого и еще меньше говорил. Замечательны слова, которые он в это время сказал Хомякову: «Надобно же умирать, и я уже готов и умру». По удостоверению врачей, «никаких важных болезненных симптомов с ним не было». Он только продолжал «поститься» или, вернее, морить себя голодом. Духовник не о. Матфей, а другой, приходский священник, приходил ежедневно; при нем нарочно подавали кушать саго, чернослив. Священник начинал первый и убеждал его есть вместе с ним. Но Гоголь большею частью отказывался. В воскресенье священник убедил его принять ложку клещевинного масла; он проглотил, но после этого перестал вовсе слушаться его и не принимал уж в последнее время никакой пищи. Когда гр. Толстой для рассеяния начинал с ним говорить о предметах, весьма близких к нему, и которые не могли не занимать его прежде, он возражал с благоговейным изумлением: «Что это вы говорите? можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой

страшной минуте?» Потом молчал и заставлял графа умолкать. «Во вторник являюсь я, — рассказывает очевидец, — и встречаю гр. Толстого, встревоженного через меру. „Что Гоголь“? — „Плохо; лежит. Ступайте к нему. Теперь можно входить“. Я вошел в его комнату; он лежал на широком диване, на боку, с открытыми глазами, отвернувшись к стене; против лица образ Богоматери, в руках четки», лицо его было «спокойно» или, вернее, бесчувственно: «он смотрел, как человек, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякие слова напрасны». Решен был главный вопрос: «жить в Боге — значит жить вне тела — надо умереть, и я готов и умру».

Но неужели это «христианская» смерть, та «безболезненная и мирная кончина живота», о которой молится церковь? Все окружающие смутно чувствовали, что происходит нечто ужасное и преступное, что это не смерть, а самоубийство, что нельзя этого так оставить, надо что-то сделать. Но что? Бедный батюшка, который начинает есть чернослив, доказывая Гоголю, что можно жить в Боге и в теле, не так же ли символически страшен со своею бессильною добротою, со своим «попийным», «сереньким» христианством, как и о. Матфей со своею беспощадною силою и христианством истинным, «черным»? Но что же, все-таки, что же людям было делать?

Когда они увидели, что религия не помогает, то обратились за помощью к науке. Из рук священников Гоголь попадает в руки докторов, из бесплотной духовности — в бездушную плотскость, из ветхого идеализма в современный позитивизм. С точно таким же насилием и грубостью, как одни спасали душу Гоголя, не заботясь о теле его, другие начинают спасать тело его, не заботясь о душе. От неразумия Бога — к безбожному разуму.

Врачи собрались для консилиума. Поставлен был вопрос: «Оставить больного без пособий, или поступить с ним, как с человеком, не владеющим собою, и не допускать его до умерщвления себя?» Решили: «Да, надобно его кормить насильно». «Пошли осматривать больного, стали его спрашивать. Гоголь или не отвечал, или отвечал коротко: «нет», не открывая глаз; наконец, проговорил с напряжением: «Не тревожьте меня ради Бога!» Стали давить живот. Он был, как доска, вообще без содержимого, мягкий, вялый; позвоночник через него ощущался легко. Гоголь закричал, застонал. Доктора предписали пиявки и холодное обливание головы в теплой ванне». Нашли также успокоительное латинское название болезни: *gastroenteritis ex inanitione*. «Когда его раздевали и сажали в ванну, он сильно стонал, кричал, говорил, что это делают напрасно. Когда стави-

ли пиявки, он повторял: „Не надо!“ Потом, когда они уже были поставлены, твердил: „Снимите пиявки, поднимите от рта пиявки!“ Его руку держали с силою, чтобы он до них не касался». Доктора велели поставить, кроме пиявок, горчичники на конечности, потом мушку на затылок, лед на голову и давать внутрь отвар алтейного корня с лавровишневой водой. Обращение их было неумолимое; они распоряжались с ним, как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом. Приставали к нему, мяли, ворочали, поливали на голову какой-то едкий спирт, и больной от этого стонал; спрашивали, продолжая поливать: «Что болит, Николай Васильевич? Говорите же!» Но тот стонал и не отвечал. За несколько часов до смерти, когда он уже был почти в агонии, ему «обкладывали все тело горячим хлебом, причем опять возобновился стон и пронзительный крик».

Какое-то фантастическое безобразие! Мы видели, впрочем, что во всей личности, в жизни Гоголя иногда мелькает это фантастическое, исполински-карикатурное, самое смешное в самом страшном, и вот это же повторяется в смерти. Тут как будто в последний раз смеется черт над человеком, нарочно в самом унижительном положении тела и духа тащит свою жертву. Доктора должны были казаться Гоголю в предсмертном бреду его чем-то вроде той нечисти, которая задушила Хому Брута в оскверненной церкви. «Горьким словом моим посмеются» — эти слова пророка Иеремии начертаны на гробовом камне Гоголя. Увы, теперь мы знаем, кто над кем посмеялся.

Часу в одиннадцатом ночи умирающий Гоголь закричал громко: «Лестницу! поскорее, давай лестницу!..» Это были последние слова его. Почти те же слова о лестнице сказал перед смертью великий русский подвижник св. Тихон Задонский. Гоголь много думал о таинственных ступенях, о духовной «лестнице» другого подвижника Иоанна Лествичника. В последней главе «Переписки», «Светлое Воскресение», Гоголь также говорил о лестнице: «Бог весть, может быть, за одно это желание (любви воскрешающей) уже готова сброситься с небес нам лестница и протянется рука, помогающая взлететь по ней».

XIV

Все мы знаем лицо мертвого Гоголя — нечеловечески странное, белое, тонкое, острое-острое, как слишком сточенное лезвие; тут как будто в самой неподвижности — движение, стремление, полет бесконечный: теперь ему уже не надо

«лестницы» — он летит. И ни одной тени того «черного» «христианства», которым пугал его о. Матфей в сияющей белизне этого лица: это «белый» свет Христа Грядущего — не смерть, а Светлое Воскресение.

И все-таки для нас, живых, какая загадка в этом лице! Мы не только ее не разгадали, но и не задумались над нею. Закрыв глаза, чтобы не видеть, прошли мимо.

«Мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование».

И действительно, в самоумерщвлении Гоголя совершилось «великое самопожертвование» за всех нас — за русское общество, за русскую церковь. Но мы не приняли и не поняли этой жертвы. В нашем движении вперед, в нашем «прогессе», не останавливаясь, даже не оглядываясь, мы перешагнули через эту жертву — мертвое тело Гоголя. «Слышно страшное в судьбе наших поэтов», говорит он о гибели других, но с еще большим правом можно бы это сказать об его собственной гибели. «И никого это не поразило, даже не содрогнулось ветреное племя!»

Понятно, впрочем, и отчасти даже извинительно отношение русского общества к христианству Гоголя: тут ведь вся жизнь, вся плоть мира защищала себя бессознательно от величайшего самоумерщвления, самоубийства — от анафемы о. Матфея. Гораздо менее понятно отношение церкви к Гоголю, если вообще тут было какое-либо отношение, так как, собственно говоря, церковь не приняла и не отвергла, она просто не заметила Гоголя, — то есть, не заметила, может быть, самого главного, что произошло за последние два века ее существования.

По поводу «Переписки», митрополит Филарет сказал: «Хотя Гоголь во многом заблуждается, но надо радоваться его христианскому направлению». Узнав о последней болезни и об упорном посте Гоголя, Филарет прослезился и с горестью сообщил мысль, что на него надо было действовать иначе: «следовало убеждать, что спасете не в посте, а в послушании». Ежели следовало действовать, то почему же он и не действовала? Мы ведь знаем, что Гоголь к Филарету обращался за помощью. Где же был пастырь, когда волк похищал овцу? И что такое значит: «спасение не в посте, а в послушании». Сожжение рукописей и пост Гоголя — не от чрезмерного ли послушания о. Матфею, не от послушания ли даже до смерти? Как же еще больше слушаться? Знал ли сам Филарет, чему он радуется по поводу «Переписки» и над чем плачет по поводу смерти Гоголя? Если бы знал, то не мог бы не почувствовать некоторой ответственности, не

преминул бы высказаться с большею определенностью о тех «заблуждениях», которые обратили слишком раннюю радость его о Гоголе в слишком позднюю скорбь. И неужели, неужели же для утolenия этой скорби верховный пастырь церкви не нашел в себе ничего, кроме слез, может быть, и добрых, но столь же бесполезных, беспомощных, как тот чернослив, который ел перед умирающим Гоголем приходской батюшка? Ежели кровь жертвы падет на чью-нибудь голову, то вода этих слез не смоет крови. С большею определенностью по поводу «Переписки» высказался знаменитый Иннокентий, архиепископ Херсонский: «Гоголя читал... Он просит отвечать... Но что писать?.. Что почувствовал о. Матфей, узнав о смерти Гоголя? прослезился ли он так же, как Филарет, или остался невозмутимым на высоте своего „небесного бесстрастия”? Радуюсь перемене с ним, только прошу его не пародировать набожностью: она любит внутреннюю клеть... Голос его нужен, но если он будет неумерен, то молодежь поднимет его на смех, и плода не будет». «Неумерен» — это значит слишком «черен» или слишком «бел»; умеренное христианство — не «черное» и не «белое», а серое; христианство — и нашим и вашим, в котором и волки сыты и овцы целы; с одной стороны, забота о «внутренней клетке», с другой — о смешливой русской молодежи. Не имел ли, однако, основания Гоголь предпочесть, может быть, и «неумеренное», но зато подлинное «черное» христианство о. Матфея этому «серому», слишком умеренному?

С еще большею определенностью высказался преосвященный Григорий, епископ Калужский. «Однажды за обедом в одном высокопоставленном семействе разговор зашел о Гоголе и коснулся „Переписки”. Споры были большие; кто про, кто contra. Кто-то выразился: „Читая эту переписку, удивляешься тому, что Гоголь даже богослов”. На это преосвященный Григорий, со свойственным ему добродушием и голосом, полным как бы сожаления, сказал: „Э, полноте, какой он богослов! Он просто сбившийся с истинного пути пустослов!”»

Итак, не одни светские люди отнеслись к христианству Гоголя с чичиковскою вескостью или хлестаковскою «легкостью в мыслях».

В лице Гоголя весь русский «свет», все русское «просвещение» обратилось к церкви с вопросом, от которого зависит будущее не только этого «просвещения», но и всего вообще христианства. Церковь на вопрос этот ответила только проклятием, слезами и шуткой.

«Знаю, — говорит Гоголь, — что дам сильный ответ Богу за то, что не исполнил, как следует, своего дела но знаю, что

дадут за меня ответ и другие, и говорю это не даром; видит Бог, говорю не даром!» Ежели предсказание это исполнится, то те, кому придется давать ответ за Гоголя, уже не отделаются ни проклятиями, ни слезами, ни шутками.

«Скажите мне: зачем мне, вместо того чтобы молиться о прощении всех прежних грехов моих, хочется молиться о спасении Русской земли», — писал о. Матфею Гоголь перед отъездом в Иерусалим. Он сочинил и послал друзьям своим особую молитву, которою просил их по молиться за него: «Исправи молитву и дай ему силу помолиться у Гроба Святого о кровных своих, о всех людях земли нашей, о ее мирном времени, о примирении всего в ней враждующего и негодующего, о водворении в ней любви и воцарении в ней Твоего царствия, Боже! — И сподоби его, Боже, восстать от Святого Гроба с обновленными силами, бодростью и рвением, возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей и на устремление сердец к прославлению святого имени Твоего!» Об этой молитве о. Матфей мог бы сказать только то, что он действительно говорил Гоголю, если не этими словами, то в этом духе: молитва твоя внушена не христианским смирением, а сатанинскою гордостью; ты впал в прелесть. Прежде чем думать о спасении России, подумай о собственном твоём спасении, окаянный грешник!

Почему же, однако, теперь, через полвека, так хочется, чтобы не праведный о. Матфей, уклончивый Филарет, умеренный Иннокентий, богословный Григорий, а грешный, непреклонный, неумеренный, небогословный Гоголь помолился именно этою новою молитвою о нашем спасении, о спасении России, у Престола Господня? Почему так верится, что молитва эта более, чем какая-либо другая, будет услышана?

«Будьте не мертвые, живые души» — это последний завет Гоголя всем нам, не только русскому обществу, но и русской церкви. Что же нам делать, чтобы исполнить этот завет? Одни говорят: нельзя быть живым, не отрехшись от Христа. Другие: нельзя быть христианином, не отрехшись от жизни. Или жизнь без Христа, или христианство без жизни. Мы не можем принять ни того ни другого. Мы хотим, чтобы жизнь была во Христе и Христос в жизни. Как это сделать? Гоголю на вопрос этот церковь ничего не ответила. Может быть, тогда еще не исполнились времена и сроки. Но теперь они исполняются.

Пусть же церковь ответит. Мы спрашиваем.

Итальянские новеллы

ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Флорентийские граждане старого рода Альмьери с незапамятных времен принадлежали к двум благородным цехам: одни чтили покровителя мясников св. Антония, другие имели на своем знамени изображение овцы и занимались шерстяным промыслом. Подобно предкам, к этим цехам принадлежали братья Джованни и Маттео Альмьери. Джованни торговал мясом на Старом рынке — Mercato Vecchio. У Маттео была шерстобойная мельница вниз по течению Арно. Покупатели охотно заходили в мясную лавку Джованни не только потому, что здесь можно было найти свежие окорока, нежных молочных телят и жирных гусей, но и потому, что хозяина любили за веселый нрав и за острый язык. Никто не умел перекинуться такую меткою шуткой со случайным прохожим, соседом или покупателем, как мясник Альмьери, никто не говорил с такою свободою о всех делах подлинного мира — дипломатических ошибках Флорентийской Республики, намерениях турецкого султана, происках французского короля и о неожиданной, по-видимому беспричинной, беременности соседки-вдовы, которая в последнее время слишком часто повадилась ездить в монастырь к достойным братьям чертозианцам¹. Впрочем, редко кто обижался на шутки мясника, и он приводил в свое оправдание старинную пословицу: «Шуткой добрый сосед не порочится, а язык на шутке как бритва точится».

Не таков был брат Маттео, шерстобой. Человек себе на уме, ласковый, всегда немного угрюмый и молчаливый, вел он дела свои лучше, чем беспечный и добродушный Джованни, и каждый год два корабля Маттео, нагруженные шерстяными товарами, отправлялись из Ливорнской гавани в Константинополь. Замыслы имел он высокие и честолюбивые, смотрел

¹ Итальянизированное «картезианцы» (монашеский орден).

на торговлю, как на путь к должностям государственным, всю жизнь льнул к аристократам, «жирному народу» — *porro grasso*, как их называли во Флоренции, и питал надежду возвысить род Альмьери, быть может, предать имя его крылам бессмертной молвы. Часто убеждал Маттео младшего брата бросить мясную торговлю как недостаточно для них почетную, и присоединить свои деньги к его, Маттео, собственному обороту. Но Джованни не соглашался и, хотя уважал и ценил «тихоню» брата за ум, втайне побаивался его и если не говорил, то думал: «Мягко стелет, жестко спать».

Однажды, в жаркий день, воротившись из лавки усталый, плотно, по своему обыкновению, поужинав и напившись холодного греческого вина, Джованни почувствовал себя дурно, слег, и с ним сделался удар, который был тем опаснее, что мясник имел тучное телосложение и короткую шею. В ту же ночь он отдал душу Богу, не успев приобщиться Св. Тайн и составить духовное завещание. Вдова мона Урсула, женщина скромная, добродетельная, но недалекого ума, доверила торговые дела мужа брату Маттео, умевшему ее обойти вкрадчивыми и тихими речами. Он убедил простодушную женщину в том, что покойный, благодаря легкомыслию, оставил свои счетные книги в беспорядке, умер накануне разорения, и что необходимо, если она желает спасти остаток имущества, прекратить торговлю и закрыть мясную лавку на *Mercato Vecchio*. Злые языки утверждали, будто бы этот «продувной тихоня» Маттео безбожно обманул вдову, чтобы, согласно своему давнему желанию, отвести всю воду из торгового оборота Джованни на колеса шерстобойных мельниц. Как бы то ни было, но с этого времени дела Маттео сильно пошли в гору, и он стал отправлять ежегодно из Ливорно в Константинополь уже не два, а целых пять или шесть кораблей, нагруженных превосходною тосканскою шерстью. Через несколько лет ему обещали выгодное и почетное место знаменосца Льняного Цеха — именитого флорентийского *Arte di Lana*. Вдове брата Великодушно выдавал он небольшое ежемесячное вспомоществование, так что моне Урсуле приходилось жить, во многом себе отказывая и терпя лишения, тем более что на руках ее осталось единственное и нежно любимое дитя, молодая дочь по имени Джиневра, а в те времена во Флоренции таких женихов, которые не зарились бы на приданое, было столь же мало, как и теперь. Но благочестивая мона Урсула не падала духом, весьма усердно молилась святым Божиим угодникам, в особенности же св. Антонию, неустанному и горячему за-

ступнику мясников как в сей жизни, так и в будущей, питала надежду, что Господь, защитник вдов и сирот, пошлет ее дочери-бесприданнице доброго и достойного мужа, и имела тем больше права рассчитывать на это, что Джиневра отличалась редкою красотою.

Трудно было поверить, чтобы у этого толстого и неуклюжего балагура Джованни могла родиться дочь, одаренная такою нежною прелестью.

Джиневра всегда одевалась в простые и темные ткани, но сквозь вырез на груди ее виднелась в мелких сборках рубашка тонкого «ренского» полотна, и вокруг ее прелестной шеи, немного худощавой и длинной, как у всех флорентийских девушек, обвивалась жемчужная нить, на которой висела древняя камея из хризолита с изображением кентавра. Светлые бледно-золотистые волосы были покрыты кисеей, опускавшейся до середины лба, такую прозрачную, что можно было сквозь нее различить красивую прическу, состоявшую из множества тонко и тщательно заплетенных косичек, сложенных кругообразно или узорами, подобными то листьям винограда, то листьям папоротника. Бледное и кроткое лицо Джиневры было похоже на лицо той Мадонны, написанной Филиппо Липпи для флорентийской Бадии¹, Непорочной Девы, которая является в пустыне св. Бернарду и нежными, бледными, как воск церковных свечей, длинными пальцами перевортывает листы его книги. В детских губах, в спокойном печальном взоре, в высоко поднятых, едва очерченных бровях Джиневры было выражение той же непроницаемой для зла, бесконечной невинности. И хотя от нее веяло утренним холодом и свежестью монастырской лилии, вся она казалась непорочною, недолговечною, слишком тонкою и хрупкою, как бы не созданной для жизни. Когда по улицам Флоренции дочь мясника Альмьери шла в церковь, скромная, тихая, с опущенными глазами, с молитвенником в руках, — веселые юноши, спешившие на пир или охоту, останавливали коней, лица делались важными, шутки и смех умолкали, и почтительными взорами долго провожали они прекрасную Джиневру.

Дядя Маттео, слыша похвалы добродетелям племянницы, вознамерился выдать ее замуж за человека не первой молодости, но всеми уважаемого, имевшего связи с тогдашними правителями города Альбиццы, одного из секретарей Флорентийской Республики, мессера Франческо дельи Аголанти. Это был

¹ Аббатство (*umal.* — *badia*).

великий знаток латинского языка, излагавший канцелярские донесения и бумаги торжественным слогом Тита Ливия и Саллюстия, нрава несколько сурового и нелюдимого, но зато безукоризненно честного, напоминавшего древнего римлянина; у него и лицо было похоже на лицо сенатора времен республики и одеваться он умел в длинное, со многими складками, платье флорентийских чиновников из темно-красного сукна, как в настоящую римскую тогу. Он так страстно любил древнюю письменность, что когда в Тоскане распространилась мода на греческий язык и в *studio* — тогдашнем университете — стал объяснять грамматику приезжий из Константинополя ученый византиец Эммануил Хризолорас, то мессер Аголанти не постыдился, несмотря на свой почтенный возраст, уже будучи секретарем Флорентинской Республики, сесть рядом с мальчиками на школьную скамью и начать с азбуки изучение греческого языка, в котором достиг немалых знаний, так что читал в подлиннике и «Органон» Аристотеля, и диалоги Платона. Словом, лучшей и более выгодной родни не мог себе представить хитрый шерстобой с честолюбивыми замыслами. Маттео обещал дать за своей племянницей хорошее приданое под условием, чтобы мессер Аголанти соединил свое имя и герб с именем и гербом Альмери.

Наперекор, однако, всем этим многочисленным и явным достоинствам жениха своего, Джиневра долго противилась намерениям дяди, и свадьбу откладывали с года на год. Когда же Маттео потребовал скорого и решительного ответа, она объявила, что есть у нее другой жених, более любезный сердцу, и, к немалому изумлению, даже испугу благочестивой моны Урсулы, назвала ей имя мессера Антонио де Рондинелли. Это был молодой и довольно бедный ваятель, державший «боттегу» свою, или мастерскую, с немногими учениками в одном из тесных переулков, недалеко от Ponte Vecchio¹. Антонио познакомился с Джиневрой в доме ее собственной матери: несколько месяцев назад попросил он позволения вылепить из воска голову молодой девушки, желая воспользоваться красотой Джиневры, знаменитою среди флорентийских ваятелей и художников, для резной иконы св. великомученицы Варвары, которая была ему заказана богатым монастырем в окрестностях города. Мона Урсула не могла отказать ваятелю в столь благочестивом деле, и во время работы художник полюбил свой прекрасный образец, как некогда Пигмалион Галатею. Затем встречались они на го-

¹ Старый мост (итал.).

родских праздниках и зимних посиделках, куда хозяева всегда были рады пригласить Джиневру, ибо она могла служить украшением всякого праздника.

Когда мона Урсула, робко и вежливо извинившись, попробовала сообщить дяде Маттео, что у Джиневры есть другой жених, любезный ее сердцу, и назвала мессера Антонио де Рондинелли, шерстобой, хотя втайне сильно разгневался, принял смиренный и ласковый вид и, обращаясь к мене Урсуле, так повел свою речь тихим голосом:

— Мадонна, если бы собственными ушами не слышал я того, что вы мне только что изволили сказать, никогда не поверил бы я, чтобы такая добродетельная и благоразумная женщина обратила какое-либо внимание на легкомысленную прихоть неопытного ребенка. Не знаю, как теперь, но в мое время молодые девушки и заикнуться не смели о выборе жениха, покорствуя по всем воле отца или попечителя. Подумайте, в самом деле, кто такой этот мессер Антонио, которого племянница моя почтила своим выбором? Неужели вам неизвестно, что скульпторами, живописцами, поэтами, актерами и уличными певцами делаются люди, которым ничего лучшего не остается и которые не умеют заняться никаким более почетным и выгодным промыслом? Это народ самый легкомысленный и ненадежный, какой только можно встретить на белом свете: пьяницы, распутники, лентяи, безбожники, сквернословы, расточители своего собственного и чужого имущества. Что же касается мессера Антонио, конечно, вы должны были слышать о нем то, что все во Флоренции говорят, и что мне известно не менее, чем кому-либо другому, а потому только напомним вам об одном обычае этого юноши — о круглой корзине, которая висит у него в мастерской на шнурке, перекинутом через блок, так что один конец веревки привязан к корзине, другой к железному гвоздю, вбитому в стену. В эту корзину Антонио бросает, не считая, все деньги, какие заработает. И каждый, кто пожелает, будь то ученик или знакомый, может прийти, опустить корзину на блоке, не спрашивая хозяина, взять столько, сколько нужно — медных, серебряных или золотых монет. Не думаете ли вы, мадонна, что я доверю мои деньги, приданое, обещанное вашей дочери, такому безумцу? Но это еще не все: известно ли вам, что мессер Антонио питает в мыслях своих гнусное, посеянное дьяволом безбожие эпикурейской философии, не ходит в церковь, смеется над Святыми Таинствами и не верит в Бога? Добрые люди рассказывают, что он более поклоняется мраморным обломкам мерзостных языче-

ских идолов, соблазнительных богов и богинь, которых нынче стали откапывать из-под земли, нежели благородным мощам и чудотворным иконам святых Божьих угодников. Также слышал я от других людей, достойных не меньшего доверия, что в своей боттеге по ночам вместе с учениками рассекает он человеческие трупы, купленные за немалую цену у больничных сторожей, для того чтобы, как он говорит, изучать анатомию, строение человеческого тела, нервы и мускулы, и таким образом усовершенствоваться в своем искусстве, а на самом деле для того, полагаю, чтобы угодить помощнику и советнику своему, исконному врагу нашего спасения, дьяволу, который наставляет его в искусстве черной магии. Ибо, уж конечно, не какими-либо иными средствами, а только чарами, колдовством и бесовским наваждением овладел этот еретик сердцем вашей невинной дочери.

Такими и подобными речами дядя Маттео устрасил мону Урсулу и убедил ее во всем, в чем ему было угодно. Когда мать объявила Джиневре, что дядя в случае решительного отказа ее выйти замуж за мессера Франческо дельи Аголанти отнимет у них ежемесячное содержание, и, таким образом, ей, моне Урсуле, на старости лет грозит нищета, молодая девушка, полная несказанного горя, покорилась своей участи и выразила согласие исполнить волю дяди.

В этот год Флоренцию постигло великое бедствие, предсказанное многими астрологами на том основании, что в небесном знаке Скорпиона Сатурн чрезмерно приблизился к Марсу. Некоторые купцы, приехавшие с Востока, в больших тюках драгоценных индийских ковров привезли чумную заразу. Устроено было торжественное церковное шествие по улицам с пением жалобных *miserere*¹, с чудотворным образом Богоматери Импрунеты², предносимой клиром архиепископу. Стали издавать законы, воспреещающие свалку нечистот в городской черте, заражение вод Арно разлагающимися отбросами кожевенных заводов и скотобоен, принимать меры для отделения больных от здоровых. Под страхом денежной пени, тюремного заключения, в некоторых случаях и смертной казни запрещено было оставлять в домах умерших в течение дня — до заката, в течение ночи — до восхода солнечного, хотя бы родственники утверждали, что смерть произошла не от чумы, а от какой-либо другой болезни. Город обходили до-

¹ [Господи], помилуй (лат.).

² В терниях.

зором особые надсмотрщики, имевшие право во всякое время дня и ночи стучаться в двери, спрашивать, нет ли больных или мертвых, производить обыски. Всюду появлялись просмоленные страшные дроги, в дыму факелов, в сопровождении молчаливых людей в масках и черных одеждах, пропитанных дегтем, с длинными крюками, которыми они издали, чтобы не заразиться, хватали чумные трупы, подымали и сваливали на дроги. Ходили слухи, что эти люди, которых народ называл «черными дьяволами», забирали не только мертвых, но и умирающих, для того чтобы лишний раз не возвращаться на то же место. Зараза, начавшаяся в конце лета, продолжалась до поздней осени, и зимние холода, наступившие в тот год очень рано, не прекратили ее. Вот почему те из достаточных людей, которые не связаны были важными делами, спешили покинуть Флоренцию, удаляясь в загородные виллы, где воздух был чище и здоровее.

Дядя Маттео, боясь всевозможных случайностей и не считывая на долгую покорность племянницы, торопил свадьбу под тем предлогом, что моне Урсуле с дочерью следует поскорее уехать из города, а мессер Франческо дельи Аголанти предлагает увезти Джиневру вместе с ее матерью, взяв отпуск тотчас же после свадьбы, в свою прелестную загородную виллу на склонах Монте Альбано.

Так желал мессер Маттео, так и было решено. Свадьбу назначили через несколько дней и скромно, без всякой пышности, как прилично было в столь печальные дни, совершили обряд. Под венцом Джиневра стояла бледная, как полотно, и лицо ее выражало страшное спокойствие. Но дядя надеялся, что эти девичьи прихоти как рукой снимет после свадьбы, и что мессер Франческо сумеет заслужить любовь молодой жены. Надеждам его не суждено было оправдаться: когда новобрачная, выйдя из церкви, вступила в дом своего мужа, с нею сделалось дурно, и она упала замертво. Сначала думали, что Джиневра в глубоком обмороке, стали приводить ее в чувство, но глаза не открывались, дыхание ослабевало, кожа на лице и на всем теле покрылась смертельною бледностью, члены похолодели, и когда, несколько часов спустя, позвали докторов (в то время их звали неохотно, опасаясь, чтобы не распространился слух, что в доме зараза), они приложили зеркало к бездыханным губам Джиневры и на нем не могли заметить влажного следа от дыхания, то все, пораженные невыразимою скорбью и состраданием, убедились в том, что это — не мнимая, а настоящая смерть. Соседи говорили, что Бог наказывает Альмьери за то,

что они сыграли свадьбу в такое непозволительное время, и что молодая жена мессера Франческо, только что вернувшись из церкви после венчания, заболела чумою и умерла. Слухи эти могли распространяться тем легче, что родственники девушки, опасаясь посещения «черных дьяволов», до последней минуты скрывали от всех обморок и смерть Джиневры. Но к вечеру пришли надсмотрщики, которым соседи не преминули донести обо всем, что происходило в доме Альмьери, и стали требовать, чтобы родственники выдали тело Джиневры или немедленно его похоронили: когда же, после долгих переговоров, им дали хорошую взятку, они согласились, чтобы тело усопшей оставалось в доме мессера Франческо никак не дольше, чем до вечера следующего дня.

Впрочем, в смерти Джиневры никто из родных уже не сомневался, кроме ее старой няни, на которую не обращали внимания, полагая, что она выжила из ума и заговаривается. Старуха с жалобными причитаниями молила не хоронить умершую, уверяя, что доктора ошибаются, что Джиневра не умерла, а спит, и утверждала, что, прикладывая руку к сердцу своей голубки, она «чувствует, как оно бьется слабо-слабо, — слабее, чем крыло ночной бабочки».

Прошел день, и так как молодая девушка не подавала признаков жизни, ее одели в саван, положили в гроб и отнесли в соборную церковь Санта-Рипарата. Склеп, сухой и просторный, выложенный гладкими тосканскими кирпичами, находился в углублении между двумя дверями церкви, на одном из так называемых кладбищенских дворишков (*avello*), под тенью высоких кипарисов, среди усыпальниц благородных семейств Флоренции. За эту могилу, по мнению некоторых, слишком роскошную для дочери мясника, Маттео Альмьери заплатил большие деньги, взятые, впрочем, из приданого самой Джиневры. Отпевание совершили торжественно. Восковых свечей не жалели, и нищим роздано было на поминаение души усопшей по мере ячменной крупы и масла оливкового каждому на полсольди. Несмотря на холод и страх чумы, много народу собралось на похороны; некоторые, даже незнакомые, слыша горестный рассказ о смерти новобрачной, не могли удержаться от слез и повторяли нежный стих Петрарки:

Morte bella pareva nel suo bel viso.

Смерть казалась прекрасной на ее прекрасном лице.

Мессер Франческо произнес над гробом речь, с цитатами не только латинскими, но и греческими из Платона и Гомера,

что было тогда новостью, и многим слушателям, даже не понимавшим по-гречески, нравилось.

Смятение произошло только в конце похорон, когда гроб вынесли из собора и поставили в склеп для последнего целования. Бледный человек в траурном шелковом плаще подошел к покойнице и, откинув кисейную дымку с лица ее, стал глядеть на него пристальным взором. Его попросили отойти, заметив, что ему, «как чужому», непристойно подходить к усопшей ранее, чем с нею простятся родные. Когда бледный человек услышал, что его называют «чужим», а дядю Маттео и мессера Франческо «родными», он горько усмехнулся, поцеловал мертвую в уста, опустил дымку на лицо ее и отошел, не сказав ни слова. В толпе стали перешептываться, указывать на него, называя мессера Антонио де Рондинелли, возлюбленного Джиневры, из-за которого она умерла.

Наступили сумерки, и так как обряд похорон был кончен, толпа разошлась. Мона Урсула желала провести ночь у гроба, но этому воспротивился дядя Маттео, ибо она была так истощена горем, что опасались за ее жизнь.

В склепе остался только фра¹ Марьяно, доминиканец, который должен был читать молитвы над покойницей.

Прошло несколько часов; в тишине ночи раздавался мерный голос монаха и порою медленный, медный бой часов на колокольне, «кампанилле», Джотто. После полуночи фра Марьяно почувствовал жажду, вынул из кармана флягу требианского и, закинув голову, отхлебнул несколько глотков с наслаждением, как вдруг почудился ему тихий вздох. Он внимательно прислушался; вздох повторился, и на этот раз ему показалось, что легкая кисея на лице покойной шевельнулась. Холод ужаса пробежал по спине его, но так как он был не новичок в этом деле и хорошо знал, что даже привычным людям ночью наедине с мертвым телом всякое мерещится, решил ни на что не обращать внимания, перекрестился и зычным голосом продолжал читать молитвы. Прошло еще несколько времени. Вдруг голос монаха оборвался, лицо вытянулось — он окаменел, вперив открытые глаза в лицо покойницы: теперь уже не вздох, а слабый стон вылетел из уст ее; фра Марьяно в этом более не сомневался, ибо видел, как медленно подымалась и опускалась грудь усопшей, колебля кисейный покров — она дышала. Крестясь, дрожа всеми членами, бросился он к двери и выскочил из склепа. Опомнившись на свежем воздухе

¹ Брат, монах (*итал.* fra, frate).

и подумав опять, что ему померещилось, он прошептал несколько раз Ave Maria, вернулся к двери и заглянул в склеп; в то же мгновение крик ужаса вырвался из груди: мертвая сидела в гробу с открытыми глазами. Фра Марьяно пустился бежать без оглядки через кладбище, через площадь Баптистерия Сан-Джованни, по улице Рикасоли — только деревянные сандалии, «цокколи» монаха стучали, отбивая дробь по обледелой кирпичной мостовой.

Джиневра Альмьери, проснувшись от сна или обморока, подобного смерти, с недоумением оглядывала могилу. При мысли, что ее заживо похоронили, ужас овладел ею, она сделала отчаянное усилие, вылезла из гроба и, кутаясь в саван, вышла в дверь, отворенную монахом, на кладбище, потом на площадь перед собором. Сквозь быстрые, разорванные ветром облака падал свет луны, и в нем белела мраморная колокольная Джотто. Мысли Джиневры путались, голова кружилась: ей казалось, что колокольная вместе с нею уносится в лунные облака, и она не могла понять, живая она или мертвая, во сне ли все это происходит или наяву.

Не сознавая, куда идет, прошла она несколько пустынных улиц, увидела знакомый дом, остановилась, подошла к двери и постучала. Это был дом дяди Маттео.

Шерстобой, несмотря на поздний час, не ложился, ожидая нарочного с известием о двух торговых кораблях, возвращавшихся из Константинополя. Ходили слухи, что буря недалеко от Ливорнского побережья разбила множество фелук и больших флорентийских галер, так что дядя Маттео опасался, чтобы среди них не потерпели крушение и его корабли. За ночь успел он проголодаться и заказал своей служанке Ненче, рыжей красивой девушке с веснушками и зубами белыми, как молоко, жаренного на вертеле каплуна. Дядя Маттео жил старым холостяком, но всегда имел в доме молодых служанок. В эту ночь сидел он в кухне, у очага, так как в остальных комнатах было холодно. Ненча, зарумянившись, засучив рукава, вращала над ярким огнем вертел, и веселое пламя отражалось в блестящей глине чисто вымытых горшков и блюд, расставленных на полках.

— Ненча, слышишь? — произнес дядя, насторожившись.

— Ветер. Не пойду. Вы меня и так уж три раза гоняли.

— Какой там ветер? Стучат. Это нарочный. Ступай, отопри скорее.

Толстая Ненча стала лениво спускаться по крутой деревянной лестнице, а дядя Маттео сверху, подняв над головою фонарь, освещал ей путь.

— Кто там? — спросила служанка.

— Это я... я... Джиневра Альмьери, — ответил слабый голос из-за двери.

— *Gesú! Gesù!*¹ С нами крестная сила! — пролепетала Ненча, ноги у нее подкосились, и, чтобы не упасть, она должна была схватиться за лестничные перила. Мессер Маттео побледнел и чуть не выронил фонарь из рук.

— Ненча, Ненча, отопри скорее! — умоляла Джиневра. — Пусты погреться, мне холодно... Скажи дяде, что это я...

Служанка, несмотря на тучное телосложение, так взлетела по лестнице, что ступеньки затрещали под ее ногами.

— Вот вам и нарочный! Дождались — нечего сказать. Говорила я вам, мессер Маттео, ложитесь да спите, как все добрые христиане... Ай, ай, ай! Опять стучит, слышите — стонет бедная душенька, да как жалобно. Господи, спаси и помилуй нас грешных! Святой Лаврентий, моли Бога за нас!

— Послушай, Ненча, — произнес дядя нерешительно, — пойду-ка я, посмотрю что там такое. Как знать, может быть...

— Этого еще недоставало, — крикнула Ненча, всплеснув руками, — скажите, какой храбрец отыскался! Так я вас и пустила. Сами на тот свет захотели, что ли? Нечего шляться, сидите, пока с нами чего похуже не приключилось.

Достав с полки склянку святой воды, Ненча окропила ею наружную дверь дома, лестницу, кухню и самого мессера Маттео. Он уже более не спорил и покорился умной служанке, полагая, что она лучше знает, как должно обращаться с привидениями. И Ненча громким голосом произнесла заклинание:

— «Благословенная душа, ступай с Богом — мертвая к мертвым. Господь тебя да успокоит в селении праведных».

Джиневра, услышав, как ее назвали мертвою, поняла, что ей больше нечего ждать, встала с порога, на который опустилась в изнеможении, и поплелась далее искать себе приюта.

Едва двигая замерзшими ногами, дошла она до соседнего переулка, где находился дом ее мужа, мессера Франческо дельи Аголанти.

Секретарь флорентийской Синьории писал в это время длинное философическое послание на латинском языке своему другу в Милане, Муцио дельи Уберти, такому же, как он, поклоннику древних муз. Это был целый богословский трактат под заглавием «Рассуждение о бессмертии души по поводу смерти возлюбленной супруги моей Джиневры Альмьери».

¹ Иисусе! Иисусе! (*Итал.*)

Мессер Франческо сравнивал учение Аристотеля с учением Платона, опровергая мнение Фомы Аквината, утверждавшего, что философию Стагирита можно согласовать с догмами католической церкви о рае, аде и чистилище; тогда как мессер Франческо доказывал многими ясными и остроумными силлогизмами, что отнюдь не учение Аристотеля, который был тайным скептиком и атеем, а учение великого почитателя богов — Платона, согласуется с христианскою верою.

Ровным пламенем горела медная лампада, привешенная над гладкою наклонною доскою уютного письменного поставца из точенного дерева, со многими выдвижными ящиками и отделениями для бумаги, чернил, перьев. Форма лампы изображала тритона, обнявшего с океанидой, ибо во всех мелочах будничной жизни мессер Аголанти любил подражание изящным древним образцам. На драгоценном пергаменте старинного Тимея, нежном, как шелк, твердом, как слоновая кость, светилося золото заставок, изображавших пляску голых амуров или ангелов, с гирляндами райских цветов.

Мессер Франческо только что начал разбирать с богословской точки зрения учение о метампсихозе, или переселении душ, причем остроумно пошутил над пифагорейцами, которые, как известно, не едят бобов, утверждая, что в них заключены души предков, — когда послышался слабый стук в дверь. Он нахмурил брови, ибо не выносил шума во время работы и выбирал для занятий самые тихие ночные часы, чтобы ему никто не мешал.

Тем не менее он подошел к слуховому окну, открыл его, выглянул на улицу и в бледном лунном сумраке увидел мертвую Джиневру, окутанную саваном.

В то же мгновение, забыв Платона и Аристотеля, мессер Франческо захлопнул окно так поспешно, что Джиневра не успела молвить слова, стал шептать Ave Maria и креститься в суеверном ужасе, как Ненча.

Впрочем, скоро пришел он в себя, устыдился собственного малодушия и вспомнил то, что говорят александрийские неоплатоники Прокл и Порфирий о явлениях мертвецов, а именно, что демоны, существа породы средней и двойственной, живущие между землей и небом, иногда с целью доброю, чтобы пророчествовать, иногда злою, чтобы устрашать людей, облачаются в прозрачные тела, имеющие сходство с кем-либо из умерших и образованные, по мнению одних, из влажной стихии воздуха, сгущенного холодом, по мнению других, из той огненной, бесцветной и прозрачной материи, из которой состоят и низшие

растительные души, как разумных, так и неразумных тварей, живущих на земле. Вспомнив все это и объяснив себе то, чего сперва так испугался, логическими и естественными доводами, мессер Франческо окончательно успокоился, снова открыл окно и произнес твердым голосом:

— Кто бы ты ни был, дух земной или небесный, — скройся, удались туда, откуда пришел, ибо напрасно ты хочешь устрашить того, чей разум просвещен светом высшей философии. Ты можешь обмануть телесные, но не духовные очи мои. Отойди же с миром под своды Аида — мертвая к мертвым.

И он закрыл окно на этот раз с тем, чтобы более не отвораживать его, хотя бы стучались целые легионы жалобных призраков.

А Джиневра пошла далее и, так как была недалеко от Старого рынка, скоро увидела дом своей матери.

Мона Урсула стояла на коленях перед распятием, и рядом с ней был суровый монах фра Джакомо с бледным лицом, изможденным постами. Она подняла к нему взоры, полные ужаса.

— Что мне делать, отец мой? Помогите. Нет в моей душе покорности, нет молитвы. Мне кажется, что Бог отступился от меня, и душа моя обречена на погибель...

— Покорись, покорись Богу во всем, до конца, — убеждал ее монах, — не ропщи, смири голос буйной плоти, ибо чрезмерная любовь твоя к дочери — от плоти, а не от духа. Скорби не о том, что она умерла телесною смертью, а лишь о том, что предстала на суд Всевышнего, без покаяния, великою грешницей.

В это время постучали в дверь.

— Мама, мама, это — я... пусти меня скорее!

— Джиневра!.. — воскликнула мона Урсула и хотела броситься к дочери, но монах остановил ее.

— Куда ты? Безумная! Дочь твоя лежит в гробу, мертвая, и не встанет до страшного Судного дня. Это злой дух искушает тебя голосом дочери, голосом плоти и крови твоей. Покайся же, молись, молись, пока еще не поздно, за себя и за грешную душу Джиневры, чтобы вам обоим не погибнуть.

— Мама, или ты не слышишь, не узнаешь моего голоса? Это я — живая, а не мертвая...

— Пустите, отец мой, пустите меня...

Тогда фра Джакомо поднял руку и прошептал:

— Ступай и помни, — ныне обрекаешь ты на погибель не только себя, но и душу Джиневры. Бог проклянет тебя и в сем веке и в будущем!

Лицо монаха полно было такою ненавистью, глаза его горели таким огнем, что мона Урсула остановилась, объятая ужасом, сложила руки с мольбой и в изнеможении упала к ногам его.

Фра Джакомо обернулся к двери, осенил ее знаменем креста и молвил:

— Во имя Отца и Сына, и Духа Святого! Заклинаю тебя кровью Распятого на кресте — сгинь, сгинь, пропади, окаянный. Место наше свято. Господи, не введи во искушение, но избави нас от лукавого.

— Мама, мама, сжался надо мною, — я умираю!..

Мать еще раз востропнула, простерла руки к дочери, но их разделял монах, неумолимый, как смерть.

Тогда Джиневра упала на землю и, чувствуя, что замерзает, поджала колени, обняла их руками, склонила голову и решила более не вставать, не двигаться, пока не умрет. «Мертвые не должны возвращаться к живым», — подумала она, и в то же мгновение вспомнила Антонио: «Неужели и он прогнал бы меня?» Она и раньше думала о нем, но ее удерживал стыд, ибо она не хотела идти к нему ночью одна, будучи женою другого. Теперь, когда для живых она была мертвая, — не все ли равно?

Луна закатилась; горы, покрытые снегом, бледнели на утреннем небе. Джиневра встала с порога своей матери. Не найдя приюта у родных, пошла она к чужому.

Мессер Антонио в мастерской недалеко от Понте Веккио работал всю ночь при свете огня над восковым изваянием Джиневры. Он не замечал, как пролетали часы, как в круглых стеклянных гранях окон выступил холодный свет грубого зимнего утра. Художнику помогал его любимый ученик Бартолино, семнадцатилетний отрок, белокурый и красивый, как девушка.

Лицо Антонио выражало спокойствие. Ему казалось, что он воскрешает мертвую и дает ей новую бессмертную жизнь: опущенные веки готовы были вздрогнуть и подняться, грудь дышала и в тонких жилах на висках билась теплая кровь.

Он кончил работу и старался придать губам Джиневры невинную улыбку, когда в дверь раздался тихий стук.

— Бартолино, — молвил Антонио, не отрываясь от работы, — отопр.

Ученик подошел к двери и спросил:

— Кто там?

— Я — Джиневра Альмьери, — отвечал чуть слышный голос, подобно шелесту ночного ветра.

Бартолино отскочил в дальний угол комнаты, бледный и дрожащий.

— Мертвая!.. — шептал он, крестясь.

Но Антонио узнал голос своей возлюбленной, вскочил, бросился к Бартолино и вырвал у него ключ из рук.

— Мессер Антонио, опомнитесь, что вы делаете? — лепетал ученик, стуча зубами от ужаса. Антонио подбежал к двери, отпер ее и увидел Джиневру, упавшую на пороге, почти бездыханную: в сиянии утра белел могильный саван, и на распущенных кудрях был иней.

Но он не ужасался, ибо сердце его исполнилось великою жалостью.

Он наклонился со словами любви, поднял ее и понес на руках в свой дом.

Уложил на подушки, покрыл их лучшим ковром, какой у него был, послал Бартолино за хозяйкою, старою женщиною, у которой нанимал мастерскую, развел огонь в очаге, согрел вина и напоил Джиневру из своих рук. Она вздохнула легче и, хотя еще не могла говорить, открыла глаза. Тогда сердце Антонио наполнилось радостью.

— Сейчас, сейчас, — повторял он, суетясь и бежая по комнате, — вот придет хозяйка, все устроим... Только не взыщите, мадонна Джиневра, у меня такой беспорядок...

Смущаясь и краснея за свое хозяйство, опустил он с потолка корзину на блоке, который скрипел и визжал к еще большему стыду мессера Антонио, вынул денег, отдал Бартолино, велел ему бежать на рынок за мясом, хлебом, овощами для завтрака, и, когда пришла хозяйка, важно и заботливо, как будто дело шло о спасении его собственной жизни, заказал горячего супа с курицей.

Ученик бросился со всех ног за покупками, старуха пошла резать курицу. Антонио остался наедине с Джиневрой.

Она подозвала его и, когда он опустился рядом с нею на колени, рассказала ему все, что случилось.

— О, милый мой, — молвила Джиневра, кончив рассказ, — ты один не ужаснулся, когда я пришла к тебе мертвая, ты один меня любишь.

— Хочешь, я позову твоих родных — дядю, мать или мужа? — спросил Антонио.

— Нет у меня родных — ни мужа, ни дяди, ни матери. Все чужие, кроме тебя, ибо я для них — мертвая, для тебя я — живая, и тебе одному принадлежу по праву.

Первые лучи солнца затеплились в окнах. Джиневра улыбнулась ему, и по мере того, как солнце становилось все ярче,

румянец жизни приливал к ее щекам, в тонких жилах на висках билась теплая кровь. Когда Антонио наклонился, обнял и поцеловал ее в губы, ей казалось, что солнце воскрешает ее, дает ей новую бессмертную жизнь.

— Антонио, — молвила Джиневра, — благословенна да будет смерть, которая научила нас любить, благословенна да будет любовь, которая сильнее смерти!

НАУКА ЛЮБВИ

Мессер Фабрицио, один из самых ученых профессоров Болонского университета, читал диалектику, в которой он обладал столь дивным искусством, что его называли «царем силлогизмов». Но не одна диалектика, а весь круг человеческих знаний, *trivium u quadrivium*¹, был у мессера Фабрицио, как на ладони. И замечательнее всего, что ученый муж не только в предметах важных, но и по поводу самых ничтожных житейских мелочей обнаруживал бездну премудрости. Студенты рассказывали, что однажды, когда ему надо было поставить на письме адрес: в Падую, на Винную площадь, в аптеку Луны, — мессер Фабрицио по рассеянности написал: *nelia citta Antenorea, in sul forodi Bacco, all' aromatana della Dea triorme*, то есть в город Антенора, на форум Вакха, в ароматарию Богини Трехликой. Так много и прекрасно говорил он на языке Туллия, что отчасти забыл язык своей матери, чем не сокрушался, ибо находил его ниже своего достоинства, и, будучи в дурном расположении духа, выражал мнение, что «Божественная комедия» Данте в нынешний век истинного цicerоновского красноречия пригодна разве к тому, чтобы служить оберточной бумагой в колбасных лавках. Зато, когда мессер Фабрицио объяснял, как должно писать слово *consumptum*² — с *p* или без *p*, — перед очами изумленных слушателей открывался такой кладезь учености, что самые легкомысленные и невежественные люди чувствовали трепет благоговейного ужаса.

Мессер Фабрицио был мал, хил и слаб, так как тело его было истощено непрерывными и чрезмерными занятиями, но лицо имел важное и строгое, взор глубокомысленный, брови

¹ *Trivium* — цикл из трех наук: грамматики, диалектики и риторики; *quadrivium* — цикл из четырех наук: арифметики, музыки, геометрии и астрономии (лог.).

² От лат. *consumere* — расходовать.

густые и нахмуренные, походку величественную и медленную, и никто не умел с большим достоинством носить малиновую профессорскую пелерину, подбитую заячьим мехом, и громадную шляпу, похожую на тот вкусный пирог с вареньем, который хозяйки пекут детям накануне Иванова дня.

В это время в Болонском университете изучали — один каноническое, другой гражданское право — двое знатных и богатых молодых людей из Рима, принадлежавших к благородному дому Савелли, закадычные друзья и приятели. Одного звали Буччоло, другого Пьетро Паоло. И так как всем известно, что каноническое право по объему меньше гражданского, то Буччоло, изучавший церковное право, кончил свои занятия ранее, чем Пьетро Паоло. Сделавшись лиценциатом, решил он вернуться домой — и так сказал своему товарищу:

— Любезный Пьетро, я имею лиценциат и намерен возвратиться на родину.

Пьетро возразил:

— Прошу тебя, не покидай меня здесь, на чужбине, одного. Пережди эту зиму. К весне я кончу, и мы можем ехать вместе. А пока, чтобы не терять времени, выбери себе какую-нибудь науку по сердцу и займись.

Буччоло согласился, обещал подождать друга, пошел к своему профессору, мессеру Фабрицио, и молвил так:

— Я решил обождать моего двоюродного брата и прошу вас, маэстро, тем временем преподавать мне какую-нибудь еще другую прекрасную науку.

— Хорошо, — ответил маэстро, — выбери себе, какую пожелаешь, я охотно с тобою займусь.

Тогда Буччоло сказал:

— Маэстро, ежели будет на то согласие вашей милости, я желал бы изучить науку любви.

Мессер Фабрицио, услышав такую просьбу, нахмурил брови, собираясь так намылить голову дерзкому мальчишке, чтобы у него навсегда прошла охота шутить с профессорами; но, взглянув на Буччоло, он увидел столь нежное и розовое лицо, столь простодушный и доверчивый взор, такую скромную и почтительную улыбку, что латинское ругательство замерло на его губах, ему вспомнилось что-то старое, приятное и веселое, не относившееся ни к силлогизмам, ни к грамматике Присциана и Доната; он тоже улыбнулся и ответил ученику:

— Отлично. Ты не мог выбрать науку, которая была бы более мне по сердцу. Итак, ступай в следующее воскресенье

в церковь миноритов, к заутрене, когда туда собираются женщины со всего города, и поищи, не найдешь ли такой, которая тебе понравится. Если найдешь, следуй за ней издалека, пока не узнаешь, где она живет, потом возвращайся ко мне. Вот тебе первый урок, исполни его в точности.

Буччоло сделал так, как научил его маэстро. Пошел в церковь и стал внимательно рассматривать лица женщин, которых туда собралось немало.

Более всех понравилась ему одна дама, одаренная лукавою и нежною прелестью. Когда она вышла из церкви, Буччоло последовал за нею, заметил дом, в котором она жила, из чего дама заключила, что студент намерен ухаживать за нею.

Потом вернулся к маэстро и сказал:

— Я исполнил первый урок и нашел даму, которая мне нравится.

Мессеру Фабрицио все это казалось презабавным, ибо втайне он подсмеивался над простодушным Буччоло и наукою, которой он желал учиться.

С видом важным и глубокомысленным молвил он:

— Теперь следует тебе раза два или три в течение дня пройти перед ее окнами — только держи себя скромно и прилично. Смотри на нее украдкой, так, чтобы никто не заметил, и только дама могла понять, что ты в нее влюблен. Потом возвращайся ко мне. Это — второй урок.

Буччоло простился с учителем, пошел на улицу, где жила его возлюбленная, и начал прохаживаться перед домом, соблюдая благоразумную осторожность, но все же так, чтобы она могла заметить, что он делает это ради нее. Дама увидела его. Буччоло несколько раз поклонился ей с изысканной вежливостью. Она ответила ему поклоном, из чего он заключил, что она к нему благосклонна. Тотчас же пошел он и сообщил об этом учителю, который, выслушав его, сказал:

— Прекрасно. Я тобою доволен. До сих пор все идет как по маслу. Теперь ты должен ей подослать одну из уличных разносчиц, которые торгуют в Болонье кружевом, кошельками, лентами и другим модным товаром. Вели передать своей даме, что ты во всем, чего бы она ни пожелала, готов ей служить, что никого на земле не любишь более, чем ее, и что отныне ты намерен быть ей верным рабом. Подожди ответа, потом возвращайся ко мне: я научу тебя, что следует делать далее.

Буччоло пошел, не тратя времени, отыскал услужливую старую женщину, весьма опытную в делах подобного рода, и молвил:

— Вы можете оказать мне большую услугу. Я заплачу так, что вы останетесь довольны.

Разносчица ответила:

— Я сделаю все, что вам угодно, ибо живу трудами рук моих, как честная женщина.

Тогда Буччоло дал ей два флорина и сказал:

— Прошу вас, сходите на улицу Маскарелла, где живет молодая женщина по имени мадонна Джованна, в которую я влюблен. Передайте ей, что я — верный раб ее и готов исполнить всякое ее желание. Выразите все это самыми нежными и приветливыми словами, какие сумеете придумать.

Старуха ответила:

— Уж знаю, знаю. С помощью Господа Бога и Пресвятой Марии Девы мы так обделаем это дельце, что вы будете довольны, еще другой раз придете ко мне. Главное — выбрать подходящее время, уж об этом предоставьте мне позаботиться.

— Ступайте же, — молвил Буччоло, — я подожду здесь.

Разносчица отправилась с корзиною товара на улицу Маскарелла, увидала мадонну Джованну, сидевшую у двери, поздоровалась и сказала:

— Мадонна, не приглянется ли вам что-нибудь из моего товара. Берите смело все, что понравится.

Старуха под села к ней и начала показывать ленты, кисею, кошельки, пояса, ножницы, зеркала и тому подобные вещи. Джованна долго рассматривала, наконец, понравился ей один кошелек, и она сказала:

— Если бы у меня были деньги, я охотно купила бы этот кошелек.

Старуха возразила:

— Мадонна, стоит ли заботиться о таких пустяках. Говорю вам, берите из моего хлама все, что понравится. Мне уже заплачено.

Дама удивилась и, желая объяснить любезность старухи, спросила:

— Что вы хотите сказать, добрая женщина? Что значат эти слова?

Тогда разносчица повела свою речь тихим голосом:

— Сейчас я вам все объясню, мадонна. Один юноша по имени Буччоло послал меня к вам. Он любит вас и предан вам всею душою. Нет, говорит на свете такого трудного и опасного дела, которого бы я не предпринял с радостью, чтобы заслужить любовь моей дамы. Господь Бог, говорит, не мог бы оказать мне большей милости, чем если бы ей угодно было повелеть мне

что-нибудь. А сам так и плачет, заливаясь, как свеча тает от любви к вам. Да не услышит в смертный час молитвы моей Царица Небесная, да разразит меня гром на этом месте, ежели я в чем-нибудь солгала и когда-либо в моей жизни видела более прекрасного и благородного юношу!

Когда Джованна услышала эти слова, лицо ее вспыхнуло.

— О, если бы только язык мой не удерживала скромность, я ответила бы тебе так, как ты этого заслуживаешь, старая ведьма! Смеешь ли ты с таким предложением являться к честной женщине! Да накажет тебя Господь!

И, молвив так, вынула из петель двери деревянный шест, служивший запором, и хотела ее ударить.

Старуха забрала в охапку свой товар, убежала и не прежде почувствовала себя в безопасности, чем вернулась к Буччоло.

— Ну что, как? — спросил он, увидев ее.

— Да что, плохо, свет мой, так плохо, что хуже нельзя. Никогда еще во всю мою жизнь не терпела я такого срама. Если бы поскорей не утнула, пришлось бы старым костям моим отведавать палки. Не знаю, как вы, мессер Буччоло, но что до меня, то ни за какие деньги я больше к ней не пойду, да и вам не советую.

Буччоло весьма огорчился, немедленно пошел к своему учителю и поведал ему все, что случилось.

Мессер Фабрицио утешил его и сказал:

— Успокойся, Буччоло. Ни одно дерево не валится с первого удара. Пройдись-ка еще раз под ее окнами, увидим, какое лицо она сделает. Потом опять приходи ко мне.

Буччоло собрался и пошел к дому своей возлюбленной. Только что она его увидела, как позвала служанку и приказала:

— Улива, ступай, видишь, за этим юношей и скажи от моего имени, чтобы он непременно приходил ко мне сегодня вечером.

Улива подошла к нему и молвила:

— Мессер, мадонна Джованна очень просит вас пожаловать к ней сегодня вечером, так как она желает с вами говорить.

Буччоло не знал, что подумать. Тем не менее ответил:

— Хорошо. Передай твоей госпоже, что я с радостью приду.

Затем поскорее вернулся к Фабрицио. Профессор тоже удивился и спросил:

— На какой улице живет твоя дама?

— На улице Маскарелла.

— А как имя служанки?

— Не знаю. Она такая высокая, худая, черная, хромот на левую ногу...

— Клянусь Геркулесом, — Улива! — пролепетал себе под нос профессор, краснея, как рак.

— Что вы хотели сказать, маэстро? — спросил Буччоло.

Мессеру Фабрицио казалось, что пол уходит у него из-под ног и лицо Буччоло двоится. Не чувствуя достаточно силы, чтобы перенести последний удар и боясь, чтобы Буччоло не назвал ему мадонны Джованны, его собственной жены, он не решился спросить имени дамы. В течение зимних месяцев профессор ночевал в здании университета, чтобы иметь возможность читать лекции студентам и в ночные часы, так что мадонна Джованна оставалась в доме одна со служанкой.

— Ты пойдешь на свидание, Буччоло?

— Конечно.

— Прошу тебя, зайди ко мне и скажи, когда соберешься.

Буччоло молвил: «Хорошо!» и удалился. Маэстро заключил по его виду и словам, что он ничего не подозревает.

«Я не желаю, — подумал мессер Фабрицио, — чтобы он учился этой науке на мой счет».

Вечером пришел Буччоло.

— Маэстро, мне пора.

— Ступай и будь осторожен.

— О, вы можете на меня положиться.

На груди имел он толстый панцирь, острый меч под мышкой и длинный кинжал при бедре, — словом, принял все предосторожности. Когда он вышел, мессер Фабрицио последовал за ним, тихонько, так, что Буччоло не заметил. Он подошел к двери своей дамы, и только что постучался, она отперла и впустила его. Профессор, убедившись собственными глазами, что возлюбленная Буччоло — мадонна Джованна, его жена, пришел в неопisanную ярость.

— Клянусь Минервою, теперь уже нет никакого сомнения, что он учится на мой счет.

Мессер Фабрицио побежал назад в здание университета, взял меч, кинжал и вернулся на улицу Маскарелла, намереваясь захватить врасплох Буччоло. Подойдя к двери своего дома, начал он стучаться. А мадонна Джованна тем временем сидела со своим возлюбленным у очага и, услышав стук, догадалась, что это мессер Фабрицио, взяла Буччоло за руку, повела в соседнюю комнату и спрятала под грудой мокрого белья, лежавшего на столе у окна. Потом побежала к двери и спросила: «Кто там?»

Маэстро кричал:

— Отопри, отопри же, негодная!

Джованна отперла и, увидев профессора вооруженным, воскликнула:

— Ай! Ай! Что это значит, мессер Фабрицио?

Он не унимался и вопил еще громче:

— Клянусь Аполлоном, я знаю, кто в моем доме.

— О, я несчастная, — воскликнула Джованна, — что вы говорите? В своем ли вы уме? Общайте весь дом, и, если кого-нибудь найдете, пусть меня четвертуют. Какой стыд, какой стыд, Боже мой! Стоит быть верной женой. Расспросите соседей, они могут кое-что рассказать о моей скромности и добродетели. Еще недавно сюда приходила старуха... Но зачем говорить?.. Ежели вам померещилось недоброе, оградите себя крестом и молитвой от наваждения лукавого, который ищет погубить вашу душу.

Маэстро велел зажечь свечу и начал искать в погребе между бочками потом вышел в комнаты, обшарил их, посмотрел под кроватью, проколол мечом соломенный матрац в различных местах, — словом, не оставил в доме мышиной норы необысканной, но Буччоло не нашел. Мадонна Джованна ходила за ним со свечой в руках и повторяла:

— Дорогой маэстро, опомнитесь, сотворите же крестное знамение, ибо теперь я вижу, что враг Божий искушает вас, и вам померещилось такое, что стыдно сказать; знайте, что если бы хоть один волос на голове моей пожелал чего-нибудь подобного, то я наложила бы на себя руки. Маэстро, заклиная вас именем Бога, не поддавайтесь наваждению лукавого!

Не находя Буччоло и слыша непрерывные увещания супруги, мессер Фабрицио почти поверил ей, задул свечу и вернулся в школу.

А мадонна Джованна тотчас заперла дверь на задвижку, вытащила возлюбленного из-под белья, развела яркий огонь в очаге, на котором зажарила молочного поросенка, и принесла из погреба различных вин. Они стали пить, есть, веселиться и во взаимных ласках провели ночь. Когда же наступило утро, Буччоло сказал:

— Мадонна, я должен проститься с вами. Не будет ли вашей милости угодно приказать мне что-нибудь?

— О да, — молвила она, обнимая и целуя его с нежностью, — моей милости угодно, чтобы ты пришел ко мне сегодня вечером.

Буччоло обещал прийти, вернулся в школу и молвил учителю:

— Я имею нечто рассказать, что вас позабавит.

— Говори. Я слушаю.

— Вчера вечером, — произнес Буччоло, — когда я был в доме моей возлюбленной, вдруг приходит муж, обыскивает весь дом и ничего не находит. Она спрятала меня под кучей мокрого белья и так ловко умела обойти его, что глупый поверил и ушел. А мы остались с ней наедине, поужинали молочным поросенком, отведали множество тонких вин, и могу вас уверить, маэстро, что нам было превесело и что эта наука любви кажется мне самой любезной и забавной из всех наук, так что, по моему разумению, никакая другая не может с нею сравняться. Право, я уж и не знаю, как вас благодарить, дорогой учитель!.. А теперь, с вашего позволения, я пойду немного отдохнуть, так как мало спал эту ночь и обещал сегодня вечером прийти к ней опять.

Мессер Фабрицио молвил:

— Когда соберешься, зайди ко мне и скажи.

— С удовольствием, — ответил Буччоло и пошел спать.

Профессор был вне себя от ярости; пробовал читать лекцию, но вместо силлогизмов у него выходили такие глупости, что он поскорее сошел с кафедры, сказавшись больным. Сердце его пожирала ревность, и весь день он мечтал о том, как поймает Буччоло и накажет его. У старого ландскнехта, имевшего оружейную лавочку в соседнем переулке, взял он напрокат заржавленный панцирь и допотопный шлем с забралом. Когда наступил вечер, к мессеру Фабрицио пришел беззаботный Буччоло и объявил:

— Я иду.

— Ступай, ступай, — возразил маэстро, — да не забудь прийти ко мне завтра утром рассказать, что с тобой случится.

— Не беспокойтесь, приду, — молвил Буччоло и отправился к даме.

А маэстро тем временем, надев панцирь и шлем, пошел за ним по пятам, намереваясь схватить его у дверей дома. Но Джованна ожидала возлюбленного, поспешно впустила его и заперла дверь. Тотчас же затем пришел маэстро и начал бушевать. Тогда Джованна потушила свечу, стала перед своим возлюбленным, заслонив его собою, отперла дверь и одной рукой обняла мужа, между тем как другой выпроводила Буччоло так ловко и быстро, что маэстро ничего не заметил, и принялась кричать:

— Помогите! Помогите! Маэстро сошел с ума!

И она крепко обнимала его, не выпуская. Буччоло не узнал мессера Фабрицио, так как не мог видеть лица его, спрятан-

ного забралом. Соседи сбежались на шум и, видя профессора вооруженным в несвойственный ему панцирь и шлем, слыша, как супруга его кричала: «Держите его, он помешался от чрезмерных ученых занятий!» — поверили и решили, что мессер Фабрицио не в своем уме. Соболезнуя, приступили они к нему.

— Ах, маэстро, маэстро, что это такое с вами приключилось? Ложитесь-ка скорее в постель, да отдохните как следует и впредь не утомляйте мозга чрезмерными трудами. Хотя мы люди неученые, но советуем вам от доброго сердца: право же, успокойтесь, маэстро.

— Да как же мне успокоиться, — вопил мессер Фабрицио, — когда я видел собственными глазами, как эта негодная впустила в дом любовника!

— Любовника! — воскликнула мадонна Джованна, — о, я несчастная! Да спросите же этих добрых людей, случилось ли им примечать, чтобы я в чем-нибудь провинилась перед вами!

Тогда все мужчины и женщины ответили в один голос:

— Маэстро, выбросьте из головы этот вздор — ибо не было и не будет на свете женщины более скромной и добродетельной, чем ваша супруга. Что другое, а уж это мы знаем достоверно.

— Ничего вы не знаете! — кричал маэстро, — я говорю вам, что собственными глазами видел любовника, и знаю, что он теперь в моем доме.

В это время подоспели двое братьев мадонны Джованны. Увидев их, она заплакала еще сильнее и сказала:

— Милые братья, мой муж сошел с ума и хочет убить меня. Он говорит, что я впустила к себе в дом любовника, — как это вам нравится? Вы ведь знаете, что я не такая женщина и не так я воспитана, чтобы терпеть подобные оскорбления.

Тогда братья сказали:

— Мы удивляемся, что вы смеее называть нашу сестру негодною женщиной. Сколько лет жили вы с нею в добром согласии? Что же сегодня приключилось и за что вы на нее в такой ярости?

— Я видел любовника, — твердил мессер Фабрицио, — я видел его собственными глазами!

— Хорошо, — возразили братья, — поищем. И если найдем, накажем ее так, что вы останетесь довольны.

Один из них отозвал сестру в сторону и спросил:

— Скажи правду, есть ли в доме мужчина?

— Что ты говоришь, — воскликнула мадонна Джованна, — как тебе не стыдно спрашивать об этом! Избави меня Боже от

такого позора. Я согласилась бы лучше тысячи раз умереть, чем сделать или даже подумать что-либо подобное.

Эти слова вполне успокоили братьев, и вместе с мессером Фабрицио начали они обыскивать дом. Маэстро увидел кучу белья, ринулся на нее и стал колоть мечом с такою яростью, как будто это был сам Буччоло, ибо думал, что он спрятан в белье.

— Ну, вот видите, — всплеснула руками Джованна, — не говорила ли я вам, что он рехнулся? Разве это не явное сумасшествие — портить собственное добро, которое не сделало ему никакого вреда?

Братья обыскали дом, ничего не нашли и убедились, что маэстро в самом деле не в своем уме.

Один произнес:

— Он помешался.

Другой прибавил:

— Маэстро, дорогой маэстро, согласитесь, что вы были очень неправы, называя нашу сестру негодною женщиной.

Услышав это, профессор пришел в исступление, ибо не мог сомневаться в том, что видел собственными глазами, и начал осыпать их жестокою бранью, причем все время держал в руке обнаженный меч. Тогда они напали на него, схватили, обезоружили, связали по рукам и ногам, оставили так на всю ночь, а сами с сестрою пошли спать. Утром позвали врача: он прописал микстуру, велел положить на голову больному ледяные примочки, сделал кровопускание и посоветовал, чтобы никто с ним не говорил, не отвечал на его вопросы и чтобы его держали на диете, пока ему не станет лучше. Все это было точно исполнено.

В Болонье распространился горестный слух, что мессер Фабрицио, знаменитый доктор диалектики, «царь силлогизмов», сошел с ума. Все принимали в нем участие. Студенты говорили между собою:

— А ведь я еще вчера заметил, что маэстро как будто не в себе. Помните, он не мог дочитать нам лекции, да и лицо у него было странное.

Многие втайне злорадствовали:

— Вот к чему приводит людей излишняя ученость. Того и гляди лукавый попутает.

Студенты решили навестить больного профессора. Буччоло, ничего не зная, пришел в университет, чтобы рассказать мессеру Фабрицио свои новые приключения. Но здесь сообщили ему, что маэстро сошел с ума. Буччоло удивился, весьма был огорчен и вместе с товарищами пошел навестить больного.

Когда же увидел, куда они идут и в чей дом, — недоумению, потом ужасу его не было предела, так что, поняв все, он едва не потерял сознание. Но из страха, чтобы никто не заметил его смущения, вошел с товарищами в дом и увидел мессера Фабрицио на постели, обложенного ледяными примочками, связанного и бледного. Студенты стали поочередно подходить к профессору и выражать ему участие и соболезнование. Когда очередь дошла до Буччоло, он приблизился к мессеру Фабрицио и сказал:

— Дорогой учитель, я люблю и почитаю вас, как родного отца, а потому, если могу сделать что-нибудь угодное, приказывайте мне, как сыну.

Маэстро, видя его сердечное раскаяние, добродушно молвил в ответ:

— Буччоло, Буччоло, ступай с Богом! Довольно ты на мой счет поучился, хотя, сказать правду, и меня кое-чему выучил.

Тогда мадонна Джованна поспешно прибавила:

— Не обращайтесь внимания на его слова: он бредит.

А Буччоло поскорее ушел, отыскал Пьетро Паоло и молвил:

— Брат, будь счастлив. Я столькому здесь научился, что у меня прошла охота учиться более.

С этими словами он покинул друга, тотчас собрался в путь и благополучно приехал в Рим.

ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЬЦО

Новелла XV века

Графиня Виоланта, стоя перед зеркалом, отказывалась надеть роскошное белое платье и капризничала, по своему обыкновению, к большому горю старой няни, фрейлин и прислужниц.

— Наденьте белое платье, — упрасивала няня, — утешьте старуху, не упрямьтесь...

— Нет, нет, нет, ни за что. Не приставайте. Слово мое твердо. Сказала, что не надену, и кончено...

— Да ведь сам граф, его светлость, намерен изволили приказывать... — пробовала возражать старуха.

— Ах, скажите, пожалуйста, — всплеснула руками негодующая графиня, — это еще что за новости, нынче батюшка мой заботится о цвете моих платьев... Какое ношу всегда, такое и сегодня надену. Ни одного цветочка, ни одной ленточки не прибавлю. Да знаете ли вы, что и так с моей стороны большая любезность и снисхождение выходить на смотрины к этому хваленному заморскому жениху. Может быть, ваш каталонский принц дурен, как обезьяна, и кос, и хром, и уж во всяком случае я уверена, что он отнюдь не так хорош, как о нем говорят: славны бубны за горами. Вы все только о том и думаете, чтобы я пришлась ему по вкусу, но ведь надо, чтобы и он мне понравился... Я первому встречному руки своей не отдам...

— Мадонна Виоланта, — произнесла почтенная старая фрейлина вкрадчивым голосом, — мы все уверены, что вы, при вашем ясном уме и благородном сердце, вполне понимаете, сколь важны для блага и спасения вашей родины исполнение воли вашего мудрого отца, светлейшего графа и повелителя Тулузы, Рената. Силы народа давно уже истощены долгими кровопролитными войнами с могущественным графом Ката-

лонии. Народ жаждет мира, и ничто не может так надежно закрепить союза нашего с Каталонией, как предлагаемый и столь желанный брак единственной наследницы графа тулузского с единственным сыном короля каталонского, который равно славится телесною красотою, рыцарскою доблестью и несметными богатствами. Вот почему, мадонна Виоланта, не только для вашего собственного счастья, но и для спасения ваших верных подданных, для блага народного...

— Ну, вот-вот, я так и знала, — с нетерпением воскликнула графиня, — вот мы и договорились до блага народного. Господи, да когда же кончится эта мука? Со мной ни о чем говорить не хотят, кроме как о благе народном. И почему я должна жертвовать своим счастьем для спасения отечества? Какое мне дело до вашей политики? Ежели каталонцы и тулузцы так злы и глупы, что не умеют ужиться в мире, — тем хуже для них. Поверьте, никакими союзами этому горю помочь нельзя. Народы всегда найдут удобный предлог, чтобы перессориться и подраться. Не нами это началось, не нами кончится. Пусть же никто не пристаёт ко мне с войнами, союзами, благом народов, со всей этой нелепою и лживою политикой. Конечно, меня могут силой выдать за вашего хваленого принца, но волей я не пойду...

— Вы знаете, — возразила старая фрейлина, — что король французский согласен был отдать руку дочери своей каталонскому принцу. Он отказался только для вас, графиня!

— Напрасно. Чересчур много чести! Я ведь об этом его не просила: куда уж мне соперничать с дочерью французского короля!..

— Молва гласит, — не унималась усердная советчица, — что яснейший рыцарь каталонский не имеет подобного себе по красоте...

— Может быть. Впрочем, будь он хром и крив и страшен, как смертный грех, вы объявили бы его первым красавцем в мире, только бы я поскорее вышла за него замуж. И все это, все это для вашей презренной политики, для блага народного. Какая несправедливость, какая жестокость! Лучше бы я родилась дочерью бедного угольщика или дровосека, тогда бы никто не отнимал у меня свободы...

И Виоланта, к немалому отчаянию всех нянь, прислужниц и придворных дам, залилась горькими слезами.

— Если так, — воскликнула графиня, и глаза ее вспыхнули грозно, — если все меня покинули, все против меня, то вот не выйду же, назло всем, ни за что не выйду за него замуж, и

пусть пропадает вся ваша политика, и каталонцы с тулузцами так подерутся, как еще от начала мира не дрались! Да, да, чего вы смотрите на меня, как на безумную? Не захочу — и не выйду. Вы ведь отлично знаете, что никто ничего со мной не поделает. Слава богу, в чем другом, а уж в этом я свободна: недаром же, умирая, матушка взяла с отца моего на кресте и на святом Евангелии клятву, что он против моей воли насильно не выдаст меня замуж, хотя бы от этого зависела его жизнь и спасение отечества. Граф Ренат не нарушит столь великой и ужасной клятвы, если бы даже сорок тысяч каталонских принцев требовали руки моей, угрожая войною и низвержением тулузского престола.

При этих словах графини прислужницы, приспешницы, няни и придворные дамы онемели от ужаса. Но мало-помалу гневные морщины на лице Виоланты разгладились, и она прибавила с тонкою и хитрою улыбкою:

— А впрочем, если каталонец сумеет мне понравиться, — чего ему не так-то легко будет достигнуть, — тогда, конечно, другое дело: поживем, посмотрим...

Граф Ренат был суровым и самовластным повелителем, тем не менее он скорее согласился бы погубить свой народ и сам погибнуть, чем нарушить предсмертную волю нежно любимой и рано умершей супруги и в чем-либо стеснить свободный выбор своей дочери. Это важное условие было известно каталонскому принцу. Но не будучи самонадеянным, он имел право думать, что слава его рыцарских доблестей, мужества и красоты откроют ему путь к сердцу Виоланты. Итак, граф каталонский выслал своего возлюбленного сына и единственного наследника в сопровождении великолепной свиты для свидания и обручения с невестою. Веянием пестрых шелковых знамен, громом воинственных труб и литавров встречен был юный граф в стенах благородной Тулузы. Взаимные условия утонченной французской вежливости и важного испанского приличия, которые тогда, вследствие близкого соседства обеих сторон, всем и каждому хорошо были известны и в том и в другом государстве, на этом торжественном празднике точно были соблюдены. Во дворце графа Рената произошло свидание жениха и невесты. Виоланта была одета в простое непраздничное платье без всяких украшений, лишь тонкое ожерелье бледного жемчуга окружало белую шею, но эта суровая простота одеяния не уменьшала, а скорее увеличивала прелесть лица ее. Граф каталонский, не умея скрыть своего волнения, жадно смотрел на Виоланту, и по внезапному румянцу и блед-

ности, сменившихся на щеках его, все могли заключить, что стрела крылатого бога, напоенная сладким и мучительным ядом, пронзила сердце благородного рыцаря. Украдкою из-под опущенных ресниц, почти не подымая глаз, Виоланта, в свою очередь, не однажды, а много раз успела взглянуть на юношу. Предубежденная против него чрезмерными похвалами и докучными советами, графиня коварно искала в его наружности, одеянии, в каждом его шаге и движении чего-либо достойного порицания, но ничего не находила и хотя еще не признавалась себе в том, однако втайне уже опасалась, что завистливая молва скорее уменьшила, нежели преувеличила достоинства рыцаря. Но чем больше он ей нравился, с тем большею досадою против себя и против него искала она в графе каталонском каких-либо недостатков и несовершенств. После первой встречи столы с великолепными яствами и драгоценными винами накрыты были на террасе дворца, прохлаждаемой тенью олеандров и журчанием множества фонтанов.

Согласно с обычаем страны, по окончании роскошной трапезы пажи в бархатных ливреях с вышитыми на груди соединенными геральдическими гербами каталонского и тулузского графа стали разносить гостям на золотых блюдах алые гранаты, которые, как всем известно, отличаются необыкновенной сочностью в этих местах и подаются после всякой еды как бы для прохладного омовения и очищения рта от остающегося вкуса разнообразных блюд.

Каталонец, сидевший рядом с Виолантой, взял с блюда несколько плодов, причем одно из гранатовых яблок выскользнуло из руки его. Граф подхватил яблоко на лету, как впоследствии сам рыцарь и многие из очевидцев утверждали, пока оно еще не успело коснуться пола, быть может, для того, чтобы показать ловкость руки своей, с улыбкою поднес свежий плод ко рту и вкусил от него.

Молодая графиня, которая продолжала с коварным любопытством следить за всеми движениями своего соседа, заметила, как он поднял гранат, и потому ли, что так судил рок, или потому в самом деле, что это движение, не лишенное мужественной грации, показалось ей недостойным великого и щедрого повелителя, злобно обрадовалась, как будто нашла то, чего давно искала, и в сердце своем подумала так:

«Вот, наконец, то, чего я ждала и что я предчувствовала. Теперь вижу, сколь справедливы и разумны слова тех опытных людей, которые утверждают, что из всех народов Запада каталонцы самый глупый и алчный народ, истинные скряги. А ведь

с первого взгляда мне показалось, что он отличается некоторыми достоинствами. Впрочем, скупости — матери и кормилице всех человеческих пороков — как я слышала от одного из моих наставников, присуще то особенное внутреннее свойство, что скрыть ее вполне и до конца редко удастся даже самым искусным и опытным из лицемеров. Ибо в чьем сердце гнездится этот гнусный и страшный порок, тот чувствует горе и досаду не только когда ему приходится лишаться собственного имущества, но и тогда — о диво! — как злейший из врагов его расточает свое сокровище; скупец сокрушается о том более, нежели расточитель, на глазах у коего присвоили бы несправедливо все его собственное имущество, не говоря уже о чужом. А если нрав каталонского принца таков, как я предполагаю, то, — увы! — что ожидает меня, несчастную? Если даже в великом преизбытке он выказывает скупость и готов наклоняться чуть не до земли, чтобы не потерять один ничтожный плод, то уж, конечно, в случае нужды, когда дело дойдет до его собственного золота, окажется он презреннейшим скрягою. А есть ли в мире большее несчастье для благородной и великодушной девушки, чем выйти замуж за человека богатого и скупого? Да избавит меня Господь и Пресвятая Мария Дева от такого страдания и позора! Лучше быть счастливою женою последнего из конюхов, нежели несчастною супругою славнейшего из королей. Бог с ним и со всеми его богатствами! Пусть отец мне говорит все, что ему угодно: не буду я отнюдь такою дурочкою, чтобы сердцу моему и глазам моим доверять меньше, чем молве людской, и ни для какого блага народного, хотя бы мне им уши прожужжали, не пожертвую недолговечным и невозвратимым цветом моей юности».

Когда старый граф Ренат узнал о решении своей дочери и о странной, смешной причине отказа, он почувствовал сперва немалое удивление, потом скорбь, наконец, гнев, но, вспомнив предсмертную мольбу своей нежно любимой супруги и клятву, данную ей, ответил дочери, что не желает причинять ей никакого насилия, а потому откажет каталонцу, какими бы несчастьями ни угрожал этот отказ ему и его народу: затем пошел к своему гостю, нетерпеливо ожидавшему ответа и, заведя речь издали, упомянув о необъяснимых капризах молодых девушек в делах любви, о безумном и непреодолимом упорстве, с которым женщины нередко настаивают на том, что должно причинить им же самим наибольший вред, любезнейшими словами, какие только мог придумать, объяснил жениху отказ невесты. Несмотря, однако, на все любез-

ности, каждое слово графа тулузского было острым ножом для сердца гордого каталонца, который с этой стороны менее всего ожидал каких-либо препятствий. Роберт затаил тяжелую обиду и с тихой усмешкой выразил мнение, что с подобными прихотями женщин отнюдь не следует бороться и что такого рода несчастья уже не раз постигали людей гораздо более добродетельных и достойных, чем он. Вот почему, ежели на то будет согласие гостеприимного хозяина, он завтра же намерен пуститься в обратный путь. Но для некоторой улады и утешения в испытанной неудаче ему хотелось бы, по крайней мере, знать, что именно не понравилось в нем прекрасной и добродетельной графине тулузской, так как он питает твердое намерение на будущее время исправиться от своих дурных качеств. Ренату было стыдно солгать и столь же стыдно признаться в легкомысленной прихоти дочери, но так как ничего более не оставалось делать, после некоторого колебания, он объявил каталонцу причину отказа. Гость выслушал его внимательно и промолвил:

— Сердечно благодарю вас, любезный граф, за вашу дружескую откровенность. Если когда-нибудь еще раз придется мне ехать на свидание с невестой, я постараюсь выбрать такое время года, когда гранаты не поспели, ибо они лишили меня супруги так же, как некогда лишили богиню Цереру дочери Прозерпины.

Потом похвалил он графа за верность слову, за любовь к покойной жене, попросил его не сомневаться в том, что условия заключенного мирного договора будут соблюдены свято и ненарушимо, насколько это зависит от отца его, графа каталонского, и со свойственной светским людям ловкостью перешел к спокойному и легкому разговору о других предметах, как будто ничего особенного не случилось.

На следующее утро он поблагодарил хозяев за гостеприимство, попрощался и так скоро, как только мог, направился обратно в Каталонию.

На границе своих владений граф Роберт отпустил почетную свиту под тем предлогом, что желает в уединении посетить святую обитель, находившуюся в нескольких милях от барселонской дороги. Почти все придворные поверили ему, полагая, что в самом деле он направит свой путь в Монферрато к Пречистой Деве Марии.

Только что спутники его удалились и Роберт остался наедине с двумя верными старыми слугами, как он открыл им свое намерение: переодеться в чужое платье, посредством фальши-

вых волос изменить свою наружность до неузнаваемости и направиться пешком обратно в Тулузу. Так было решено, так они и поступили. Граф каталонский переоделся странствующим купцом, и на руке его был один из тех обитых кожей коробов, какие можно постоянно видеть на улицах Парижа, а также и в городах остальной Франции, отчасти Италии: в таких ящиках носят они бесчисленные и разнообразные товары, как-то: платки, ленты, иголки, булавки, гребни, запястья, ожерелья, духи, румяна, молитвенники, помаду, сонеты Петрарки, деревянные осколки от колеса св. великомученицы Екатерины, заговоры от мышей и от зубной боли и множество других полезных и любопытных предметов, которые и предлагают в селениях поденщикам и служанкам, а в замках благородным дамам и синьоринам. В точно таких же простых ящиках, чтобы не возбудить подозрения и алчности воров, носят иногда евреи и ломбардцы весьма дорогие товары и золотые вещи, искусно спрятанные на самом дне или между стенками, так что и опытный таможенный чиновник отыскал бы их с трудом. Такой именно ящик наполнил граф всякими драгоценностями, тонким шелковым товаром, золотыми безделушками и многими другими предметами роскоши и прибавил к ним два-три самоцветных камня из тех, что привез с собою для подарка невесте. Сбрил бороду, которую в это время носили при дворе в Каталонии и, простившись с верными слугами, один направился к Тулузе.

Здесь с утра до позднего вечера бродил он по улицам, предлагая товары то одному, то другому, торгуясь, как настоящий купец. Но усерднее и чаще всего ходил поблизости дворца, где жил граф Тулузы и Лангедока.

Однажды вечером, на одной из тех прохладных террас перед домом с аркадами и колоннами, которые в Италии называются *loggia*, в кругу благородных дам и рыцарей увидел он свою возлюбленную. Сняв истертый бархатный берет, с подобострастными поклонами и приветствиями, как подобает смиренному странствующему купцу, подошел он к террасе и, выхваляя добротность и дешевизну товара, предложил — не угодно ли именитым и прекрасным дамам купить что-нибудь. Его подозвали, расспросили и, когда увидели необыкновенное великолепие драгоценных товаров, окружили и стали наперебой с любопытством рассматривать. Одна вынимала одну вещь, другая — другую, и все вместе болтали, смеялись, спрашивали, так что, не имея опытности в этом деле, он немало смутился и не знал, что кому отвечать, потому решил обращаться к одной графине и давал ответы, какие умел, на

предлагаемые вопросы. Продав за довольно дешевую цену несколько вещей из тех, которые им особенно понравились, он удалился, так как уже стемнело. С этого дня купец стал приходить ежедневно в то же место и в тот же час, так что все дамы скоро привыкли к нему и другие странствующие купцы в Тулузе завидовали его успеху, ибо приближенные графини, отказывая всем наотрез, говорили между собою: «Останемся верными нашему наваррцу». Наваррцем называл он себя, не достаточно владея французским языком и желая скрыть свое испанское происхождение.

Скоро представился ему случай говорить наедине с тою из приближенных Виоланты, которую, как он заметил, она особенно любила и отличала. Продав этой молодой фрейлине две-три великолепных вещи за бесценок, он шепнул ей, что в доме своем, по соседству, хранит драгоценность, величайшую из всех, о каких когда-либо слышали на земле: не носить же с собою среди остального товара, опасаясь воров, ибо это сокровище так ему дорого, что он не отдал бы его и для спасения собственной жизни. Затем он умолк и вскоре ушел.

Вероника (таково было имя приближенной дамы) сгорала от нетерпения, дожидаясь удобного случая рассказать госпоже своей то, что слышала она от наваррца. Вечером, раздевая графиню, она поспешила сообщить ей о дивном сокровище; по обычаю такого рода людей, украсила истину собственными измышлениями и прибавила в заключение, что будь она, Вероника, на месте графини, то уж, конечно, сумела бы найти средство, чтобы овладеть драгоценным камнем, хотя купец и уверяет, что не продаст его ни за какую цену.

— Ибо на все есть средство, — молвила приспешница, — исключая смерти, от которой уже никакие человеческие средства не помогают.

На основании множества примеров из книг священных и светских всему миру известно, что дьявол, древний враг рода человеческого, на искушение и погибель нашу не создавал ни единой столь дерзновенной и неутолимой страсти, как женское любопытство. Не оно ли побудило и праматерь нашу Еву протянуть преступную длань к запретному плоду, поданному змием?

Когда Виоланта услышала о необычайных свойствах, о редкости драгоценного камня и о том, что купец скорее согласился бы продать свою душу, чем свое сокровище, то почувствовала, как сердце ее разгорается любопытством и желанием, если не обладать этим чудесным камнем, то, по крайней мере, увидеть

его. Она ничего не ответила Веронике, легла в постель и велела потушить огонь. Но сон бежал ее глаз, и только утомленные веки слипались, как таинственный драгоценный камень мерещился ей. Рано утром графиня вскочила с постели, объятая таким вожделением, что не могла дальше терпеть, позвала к себе Веронику, которую в это время мучило не меньшее любопытство, и велела ей идти, не медля, к наваррцу, молить и требовать, пока он не согласится продать драгоценный камень за какую угодно цену, если же это ей не удастся, то устроить так, чтобы, по крайней мере, он позволил графине взглянуть на сокровище, ибо — кто знает? — может быть, когда она увидит его, оно покажется ей менее прекрасным, чем она воображает по слухам, и таким образом чрезмерное желание само собою утихнет.

Вероника тотчас же отправилась к наваррцу, рассказала ему все, что случилось, и, чрезвычайно этим обрадованный, начал он снова и еще подробнее объяснять ей, как и почему считает он этот камень столь драгоценным. Если и ранее восхвалял он его немало, то теперь уже окончательно превознес до небес и стал уверять ее клятвенно, что скорее расстался бы с жизнью, чем с этим сокровищем. Тем не менее, желая сделать ей угодное, — прибавил наваррец в заключение, — он, так и быть, согласен показать камень ее госпоже, но только под условием, чтобы при этом никто, кроме их двоих не присутствовал. Вероника, которой не оставалось ничего лучшего, должна была на все согласиться; они условились, в какой час ночи он принесет во дворец свое сокровище, затем она поспешила к Виоланте, изнемогавшей от нетерпения и любопытства, и рассказала ей все.

В условленное время пришел наваррец и принес камень. Это был заостренный бриллиант необыкновенной величины и столь прекрасной воды, что ничего подобного невозможно было себе представить. Повелителю Барселоны достался он от каталонских морских разбойников, которые, миновав Гибралтарский пролив, на своих галерах доплыли до острова Мадеры и отняли этот камень у неких нормандских пиратов, приехавших в те отдаленные страны в поисках за тем же самым сокровищем. Каталонцы победили норманнов, захватили их в плен и овладели бриллиантом. Впоследствии многие годы принадлежал он королю неаполитанскому, а в настоящее время, как мы слышали, находится у великого турка, повелителя мусульман, который ценит его выше, чем все остальные свои сокровища, вместе взятые.

Оставшись наедине с Виолантой и ее приближенной дамой, наваррец, прежде чем вынуть из шкатулки драгоценный камень, с особенною важностью, свойственной испанцам, начал его хвалить, причем клялся им честью, что менее всего ценит в камне его красоту, ибо внутренние свойства его дают ему неизмеримо большую ценность, чем внешняя красота, затем прибавил, что позволяет им взглянуть на камень, не более, — наконец, отомкнул шкатулку и вынул бриллиант.

Сколь прекрасным ни воображала его себе графиня — в действительности показался он ей еще бесконечно прекраснее, и, когда она им любовалась, душа ее находила неизъяснимую отраду в холодных нежных лучах самого твердого из камней, в котором природа заключила свою первобытную тайну. И загорелось в ее сердце непобедимое желание иметь это сокровище у себя, чтобы вечно им утешаться, ибо она почувствовала, что лучше ей вовсе не жить, чем не утолить свое вожделение. Тем не менее, побуждаемая женскою хитростью, сделала графиня такой вид, как будто была разочарована и камень ей не слишком понравился; затем спросила наваррца, о каких именно внутренних качествах бриллианта он упомянул. После некоторого колебания, как бы неохотно, ответил он ей.

— Мадонна, когда кто-нибудь сомневается и не знает, какое принять решение в деле трудном и важном, то взглянув в этот камень, ежели предстоит удача, увидит он его прозрачным и светлым, как бы в нем сокрыт был солнечный луч; в противном случае бриллиант покажется чернее беззвездной ночи. Некоторые знатоки утверждают, что это и есть камень мудрости, которого алхимики так долго и тщетно искали, другие же видят в нем скорее произведение белой магии, чем природы. Говорят также, что в древности принадлежал он Александру Великому, который никогда не пускался в поход без него, потом — Юлию Цезарю, и благодаря силе этого бриллианта оба сделались непобедимыми, как вы об этом, конечно, слышали и читали не раз.

Кончив свою речь, наваррец взял камень, запер в шкатулку, простился и ушел.

А Виоланта, оставшись наедине с Вероникой, тяжело вздохнула и хотя не произнесла ни слова, но подумала про себя так:

«Стократ блажен тот, кто обладает столь великим сокровищем! Воистину это и есть камень мудрости, ибо в чем и заключается высшая мудрость, как не в предвидении будущего? Если бы я обладала этим камнем в то время, как за меня сватался граф каталонский, то уж, конечно, не сомневалась бы и знала, как должно поступить».

Наконец, после многих подобных размышлений, попросила Виоланта свою верную наперсницу еще раз сходить к наваррцу и во что бы то ни стало добиться того, чтобы он продал камень за цену, какую сам пожелал назначить. Вероника, хотя и мало надеялась на успех, чтобы доказать преданность госпоже своей, пошла к нему раз и два, но ничего не достигла и вернулась с ответом, что более никогда никому в мире не решится он показывать камень, не говоря уже о том, чтобы его продавать. Только на третий раз наваррец счел благовременным приступить к тому, что предусматривал с первого дня возвращения в Тулузу.

— Мадонна, — обратился он к Веронике, — так как ваши усердные мольбы и несравненная прелесть повелительницы вашей графини Тулузы и Лангедока сломили мою волю и побуждают меня лишиться столь великого сокровища, то пойдите и передайте ей мой последний ответ: я готов отдать ей бриллиант, ежели вместо всякой платы дарует она мне единственный поцелуй, как своему жениху, и, кроме того, поклянется носить вечно на левой руке, не снимая до самой смерти, вот это простое по виду, но дивное по свойствам железное кольцо: ибо некогда мне было предсказание, что ежели кольцо это будет носить та из женщин, которую я назову прекраснейшей в мире, и ежели она дарует мне хотя бы единственный поцелуй, то на страшном судилище Христовом я буду убелен паче снега, и грешная душа моя спасется. Прошу вас помнить, мадонна, и точно передать вашей госпоже, что кроме клятвы носить это железное кольцо вечно, я ничем ее не связываю и, так как вполне сознаю низость и ничтожество моего темного имени и неизмеримую бездну, отделяющую меня, бедного странствующего купца, от яснейшей графини тулузской, то она может быть вполне спокойна и уверена, что никогда не дерзну я выдать тайны этого первого и последнего поцелуя, а если бы и дерзнул — никто не поверил бы мне, и меня сочли бы жалким безумцем. Не удивляйтесь, мадонна, что за этот единственный поцелуй я отдаю величайшее сокровище, какое у меня есть на земле, ибо я однажды прочел в комментариях к божественному Платону, что и грешному человеку порою достаточно бывает одного мгновения высшего блаженства, чтобы темная душа его очистилась и соединилась с Богом. После этих слов моих, надеюсь, графиня Виоланта убедится, что в сердцах низкородившихся людей скрывается иногда рыцарское благородство, и более не будет предлагать жалкое золото за то сокровище, в сравнении с коим все золото мира не имеет никакой цены.

Когда наперсница передала графине это неожиданное условие странствующего купца, та не знала, что ей делать: смеяться или негодовать.

— Да он с ума сошел, — воскликнула, наконец, Виоланта, — сколько благородных рыцарей готовы были умереть, не дождавшись моего благосклонного взгляда, а этот жалкий торгош смеет требовать моего поцелуя. И еще собирается учить меня комментариям Платона! Ему ли помышлять о небесной любви и высшем блаженстве, награде рыцарской доблести? Впрочем, на такую нелепость и сердиться нельзя: должно, скорее, смеяться.

Строго-настрого велела графиня своей приближенной даме отныне не пускать ей на глаза этого сумасшедшего купца и никогда ни единым словом не упоминать ни о нем, ни о его бриллианте, ибо она желала забыть о них, как будто их вовсе не существовало.

Но чем более старалась Виоланта не думать о бриллианте и не желать его, тем более думала и желала, и сердце ее грызла жадная тоска: она впервые в жизни испытывала горечь неисполненного желания. Ночью томила ее бессонница, она потеряла охоту к пище, лицо ее побледнело и осунулось, так что старый граф Ренат смотрел на нее с тревогою и спрашивал — не чувствует ли себя графиня больною.

Каждый вечер, когда Виоланта сидела под тенью лавровых и гранатовых деревьев на террасе перед дворцом, странствующий купец проходил мимо, и чем бледнее и печальнее казалось лицо графини, тем большего радостью и надеждою наполнялось его сердце.

Наконец однажды приступила к ней Вероника, томившаяся любопытством и желанием знать, чем все это кончится. Долго убеждала она графиню покориться и в заключение молвила так:

— Вы знаете, ваша светлость, как сильно я люблю вас, и не можете сомневаться в том, что худого я вам не посоветую. Подумайте же, из-за чего вы терпите такие страдания — из-за какой-то малости. Конечно, я говорю не о драгоценном камне, который в самом деле есть великое и неоценимое сокровище, — нет, я говорю лишь о плате, которой требует этот по одежде странствующий купец, а по уму и благородству истинный рыцарь. Не лучше ли носить вечно самое уродливое и грубое железное кольцо на пальце, чем такую печаль в сердце? И что значит этот единственный, первый и последний поцелуй, за который вы получите столь царственную награду? И какой вам может быть стыд от него, ежели никто ничего не увидит

и не узнает? Я на десять лет старше вас, и у меня больше опытности в делах житейских: поверьте же мне, графиня, если бы сразу все женщины, которые хоть раз в жизни ошибкою поцеловали не того, кого следует, облысели, то промышляющие изданием париков сделались бы скоро самыми богатыми людьми в мире. Итак, пошлите меня к наваррцу с хорошим ответом.

Когда, услышав все эти и еще многие другие доводы, графиня горько заплакала, но не разгневалась, то хитрая Вероника поняла, что упорство ее сломлено и она согласится на все, только бы иметь драгоценный камень. Вот почему удвоила наперсница свои красноречивые убеждения и просьбы, пока Виоланта в знак согласия не кивнула ей головой. Тогда Вероника побежала к наваррцу и сообщила ему благоприятный ответ.

Все так и случилось, как было заранее условлено. Странствующий купец в присутствии наперсницы поцеловал Виоланту весьма почтительно и тотчас же передал ей бриллиант вместе с железным кольцом, которое она надела на безымянный палец левой руки, чтобы никогда более не снимать его. Желание обладать драгоценным камнем, обида и стыд были так сильны в душе Виоланты в то время, как она решилась исполнить требование наваррца, что она не взвесила опасности, которая ей предстояла: ибо рано или поздно отец должен был заметить кольцо на ее руке и спросить, откуда оно. Графиня могла солгать и успокоить отца, сплетая хитрые вымыслы. Но теперь, когда ее желание было утолено, прежняя гордость и благородство проснулись в душе Виоланты и солгать отцу казалось столь же унижительным, как снять железное кольцо, нарушив клятву, данную наваррцу. Вот почему всеми силами старалась она, чтобы граф Ренат ничего не заметил и не спросил ее, и при свиданиях с ним прятала левую руку свою под одежду. Но опасения и заботы так мучили Виоланту, что она не имела ни минуты покоя, и сокровище, которого некогда она страстно желала, стало ей теперь ненавистным. Отец, видя, как тайный червь тоски или болезни подтачивает едва распустившийся цвет ее жизни, нередко спрашивал ее с отеческой нежностью и тревогою о причине скорби, но ответы графини были так уклончивы, что погружали его в еще большие сомнения.

Наконец однажды за вечерней трапезой отец, предлагая Виоланте обычный вопрос, обнял ее с ласкою и взял за руку, которую она прятала под одеждой и на которой было железное кольцо. Граф Ренат заметил его сперва осязательно, потом глазами и спросил ее:

— Откуда это кольцо, дитя мое?

Виоланта опустила глаза и безмолвствовала. Но по ее внезапной бледности и молчанию, он понял, что коснулся сокровенной причины ее скорби и неоднократно повторил вопрос, когда же увидел, что она продолжает безмолвствовать, то сердце его наполнилось несказанной печалью и опасением, что в тайне, связанной с железным кольцом, скрывается нечто постыдное для него и его дома.

— Виоланта, — молвил старый граф, — я даю тебе на размышления эту ночь, но завтра утром я приду в твою опочивальню, и ты скажешь мне все, что у тебя на сердце. Помни, я поверю тебе, что бы ты мне ни сказала, ибо знаю и готов поручиться моей рыцарской честью в том, что графиня Тулузы и Лангедока, хотя бы правда ей стоила жизни, не солжет.

Только что граф удалился, прибежала Вероника и стала горько упрекать ее за то, что она не солгала и не успокоила графа Рената каким-либо вымыслом. Но Виоланта, выслушав ее с презрением, ничего не ответила, ибо непреклонная решимость была в ее сердце, так что она уже более не колебалась и знала, как должно поступить: тотчас же велела наперснице призвать к себе наваррца и, когда он пришел, молвила ему не как слабая, робкая девушка, а как разумная и сильная женщина:

— Мессере, я убедилась в том, что ваш талисман обладает более могущественными чарами, нежели я предполагала. Железное кольцо соединило нас навеки не только перед Богом, но и перед людьми: я должна быть вашей супругой. Приказывайте мне, и я последую за вами, куда вам будет угодно, покорствуя моей судьбе.

Когда граф Роберт услышал эти слова и увидел, что цель его уже почти достигнута, немалого труда стоило ему скрыть свою радость. Но в то же время сердцем его овладела великая жалость к Виоланте, так что он почувствовал желание сделать то, чего она не делала, будучи слабою женщиною, — дать волю слезам. Тем не менее преодолел он свое волнение и молвил так:

— Мадонна, вы знаете, что я человек низкого рода — бедный странствующий купец. Но все мои желания направлены к тому, чтобы жить и умереть свободным от брачного ига. А потому прошу вас: возьмите свои слова назад, ибо я вполне уверен, что из нашего союза ничего, кроме дурного, не могло бы выйти, как для меня, так и для вас. — Он хотел еще многое сказать, но сострадание к Виоланте, надежда ею обладать и страх, чтобы она не раскаялась в своем предложении, заставили его умолкнуть.

— Не забывайте, мессере, — возразила ему графиня, — что человеку дается счастье в жизни только раз, и берегитесь, чтобы Фортуна, посылающая вам ныне такое благополучие, не разгневалась, ежели вы не воспользуетесь им и, будучи бедным странствующим купцом, отвергнете руку графини Тулузы и Лангедока, которая недавно еще не удостоила своим союзом благороднейшего графа Каталонии.

При этих слишком гордых словах Виоланты прежняя обида и жажда мести проснулись в сердце юноши: более не возражая, ответил он, что готов принять ее предложение, но только под тем условием, чтобы графиня забыла навеки, что она — дочь славнейшего графа тулузского, так как, чтобы, не возбуждая подозрений, избежать опасности, грозящей ему как похитителю дочери столь могущественного владыки, им придется немедленно покинуть эту страну, переодевшись в нищенское платье, и по пути останавливаться для отдыха в самых бедных гостиницах, где Виоланта должна будет безропотно терпеть всевозможные лишения — усталость, жажду, голод, оскорбления.

— Я предвижу все, — ответила графиня, — и на все готова. Испытайте покорность мою не на словах, а на деле.

— Мадонна, вы меня еще мало знаете, — возразил граф Роберт, — может быть, я человек нрава угрюмого и жестокого. Что, ежели потребую я от вас того, что не согласилась бы исполнить не только благородная графиня, но и последняя из ваших служанок? Будете ли вы мне послушной во всем до конца и в жизни, и в смерти, ибо без великого послушания не может быть разумного, доброго союза между женщиной и женщиной?

— Так же, как некогда, — отвечала графиня, — свобода, так ныне покорность моя будет беспредельной, ибо не вы меня, а я сама себя победила.

Когда на следующее утро старый граф вошел в комнату дочери — она была уже далеко от стен Тулузы, на большой дороге к Пиренеям вместе со своим новым супругом — странствующим купцом. Граф долго не хотел верить своему несчастью: так же, как многие придворные, полагал он, что Виоланта удалилась тайно в один из многочисленных монастырей, находившихся поблизости Тулузы, и что все это — не более, как одна из ее обычных своевольных прихотей. Вот отчего первые поиски направлены были не туда, куда следовало, чему способствовала и хитрость Вероники, которая лгала за двоих, успокаивала графа и так ловко выгораживала себя, что ей удалось выйти сухой из воды.

Когда же через некоторое время граф Ренат начал поиски по большим дорогам и на постоянных дворах, беглецы, выдавая себя за пилигримов, идущих по обету в монастырь Якова Галисийского, давно уже переступили границу Лангедока.

Виоланта оставалась верной данному слову, безропотно переносила все лишения, ела грубую пищу, спала на голых досках, терпела зной и холод, несказанную усталость, муки тела и духа с молчаливою покорностью. Но по странной прихоти своего сердца граф Роберт не чувствовал себя удовлетворенным этим наружным смирением. Лицо ее загорело и осунулось, ноги были изранены острыми камнями, золотые кудри потускнели от пыли. Но, хотя она не жаловалась, ему казалось, что есть непобедимое упрямство и скрытое высокомерие в ее молчании и покорности, и красота ее под бедною одеждою странницы была более царственной и величавой, чем под роскошною одеждою графини тулузской.

«Унижение паче гордости, — думал граф, — она покорилась мне телом, но не духом. О чем она думает? Зачем она молчит? Может быть, уже догадалась, кто я, ждет, чтобы я заговорил с нею первый, и не просит, не хочет моего прощения. Теперь она презирает меня более, чем в тот день, когда отвергла руку из-за упавшего граната!»

Но порою в тишине ночи, когда он оставался один, душу его наполняла неизъяснимая жалость и по дивному противоречию сердца человеческого он плакал от сострадания, вспоминая те муки, которые сам ей причинил. Когда же они снова встречались и граф Роберт видел ее гордое смирение, то жалость изгонялась из сердца его жестокостью, ибо непобедимая, молчаливая покорность Виоланты казалась ему притворной и оскорбительной.

«Унижение паче гордости!» — повторял он про себя и, чем более жаждал он простить ее, тем более казнил и мучил, так что железное кольцо любви, неумолимой, как ненависть, и ненависти, страстной, как любовь, соединяло их все неразрывнее.

Через некоторое время пришли они в главный город Каталонии — Барселону, где, по своему обыкновению, граф Роберт остановился в одном из самых тесных и грязных постоянных дворов на выезде из города. Здесь, согласно с волей своего повелителя, зарабатывая хлеб трудами рук своих, как последняя из служанок, должна была графиня исполнять всякую черную работу: убирать постели, мыть посуду, задавать корму ослам и мулам поселян, приезжавших на ярмарку из окрестных селе-

ний. Но так как все это делала она послушно и безропотно, причем муки телесные и унижения только увеличивали ее недостижимую прелесть, то граф недоумевал, какое изобрести новое и неслыханное испытание, чтобы узнать, есть ли предел ее непреклонному смирению.

— Слушай, Виоланта, — сказал он ей однажды, — завтра в мастерской портного я хочу устроить выпивку, чтобы отпраздновать именины одного колбасника, моего закадычного друга. Надо купить хлеба, но так как в настоящее время он вздорожал, а денег с тех пор, как ты со мною, и без того выходит чересчур много, то вот что я придумал: завтра на заре хозяйка этой гостиницы будет печь хлеб: предложи ей помочь и, возвращаясь от печи с корзиной готового хлеба, будто у тебя что-нибудь упало, наклонившись, вынь из корзины четыре хлеба и спрячь их к себе в карман. Услужи мне в этом деле, будь доброю. Часа через два или три после завтрака я приду за хлебом.

Так он промолвил и пристально взглянул ей в глаза, ожидая ответа. Довольно было бы одного упрека или жалобы, чтобы вся его жестокость сразу превратилась в жалость к Виоланте. Но графиня молча потупила глаза и покорным наклоном дала ему понять, что готова исполнить его приказание.

Наутро, с точностью следуя воле супруга, украла она у хозяйки четыре хлеба.

В это же самое время граф Роберт в одежде пилигрима вернулся во дворец к немалому утешению своих родителей, которые давно беспокоились о его долгом отсутствии, тотчас же переоделся в роскошное платье, взял с собою блестящую свиту пажей и рыцарей, сел на коня и поехал, как бы для прогулки, к той самой бедной гостинице, в которой оставил свою жену. Завидев столь великолепных всадников, все обитатели постоялого двора высыпали на улицу; вышла также и хозяйка гостиницы с Виолантой, только что укравшей четыре хлеба. Граф Роберт, у которого на лице была черная маска, остановился перед крыльцом, указал на Виоланту и спросил хозяйку:

— Кто эта девушка?

Хозяйка почтительно ответила ему и объяснила все.

— Послушайте, добрая женщина, — произнес граф Роберт, — судя по вашему виду, вы немало времени прожили на белом свете, а между тем ничему не научились. Если я что-нибудь смыслю в наружности людей, то эта девушка — самая искусная воровка. Смотрите же за ней в оба, а то она вас обокрадет.

Хозяйка, огорченная столь грубыми и обидными для Виоланты словами, начала ее оправдывать и восхвалять. Тогда незнакомец в черной маске промолвил:

— Если так, то я желаю, чтобы вы собственными глазами убедились в правоте моих слов: подымите ей платье и загляните в карман юбки. Вы увидите, что недаром семь лет в университете Толедо изучал я белую магию и некромантию.

Виоланта побледнела, но из уст ее не вырвалось ни жалобы, ни упрека, когда хозяйка, более из послушания столь важному и ученому господину, чем из подозрения, заглянула в ее карман и в самом деле нашла украденные хлебы. Честная женщина казалась не менее опечаленной и пристыженной, чем сама Виоланта, а некромант рассмеялся недобрым смехом; спутники начали восхвалять его за удачную шутку и, прищипав коней, все поехали дальше.

В это время мать Роберта, графиня каталонская, вышивала жемчугом великолепные церковные воздухи для придворной капеллы. Сын, узнав об этом, пообещал прислать ей одну бедную и скромную французскую мастерицу, весьма искусную в рукоделии, затем, переодевшись купцом, пошел в гостиницу и велел жене своей тотчас же идти во дворец, где ожидает ее выгодная работа, и во время вышивания украсть побольше крупных жемчужин, положив их в рот.

Виоланта исполнила все, что ей было приказано, пошла во дворец, принялась за работу и, уловив удобную минуту, положила себе в рот под язык четыре крупные жемчужины. Только что это сделала, как в комнату вошел знакомый некромант в черной маске и при всех обличил ее кражу насмешливыми и жестокими словами.

Когда несчастная Виоланта вернулась домой на постоянный двор, туда же пришел граф Роберт, опять переодевшись странствующим купцом, и, приступив к ней, молвил так:

— Сколь великое и несносное бремя навалил я себе на плечи, взяв тебя в жены, ибо я убедился, что нет и не будет мне от тебя никакого проку: вот уже дважды осрамила ты меня перед людьми сначала с хлебами, потом с жемчугом. Но хотя я, может быть, и кажусь тебе человеком суровым, на самом деле сердце у меня доброе, и я жалею тебя. Так как завтра большой праздник и работы не будет — нечего тебе сидеть дома да скучать. Ступай-ка лучше во дворец, где будет великолепное и невиданное торжество по случаю бракосочетания наследного графа каталонского с дочерью короля арагонского, самую разумную и прекрасную девушкою, какую когда-либо видели

в Испании. Воистину, граф Роберт должен благодарить Бога, что ты отказала ему из-за упавшего граната, ибо теперешний брак его куда счастливее по родне, богатству и красоте невесты. Итак, ступай-ка во дворец — походишь, посмотришь, а главное, постарайся украсть что-нибудь поинтереснее, чтобы тебя снова не поймали и не осрамили. Ежели ты на этот раз исполнишь все так, как я этого желаю и приказываю, то я тебя прощу и отныне буду считать не балованной и ленивой дармоедкой, а покорною женою и разумною помощницею.

Так он сказал, сам в тайниках души ужасаясь своей жестокости, и хотя Виоланта близка была к отчаянию, но до конца не изменила себе и не выдала своих страданий ни слезой, ни упреком, ни жалобой.

На следующий день, исполняя волю господина своего, графиня пошла во дворец, где увидела множество веселых и прекрасных дам, пажей и рыцарей. Посередине залы накрыт был длинный стол, уставленный золотыми и хрустальными сосудами, с двумя престолами под царственным балдахином — один для жениха, другой для невесты. Виоланта остановилась робко в темном и дальнем конце залы среди придворных служителей, которым из милости дозволили взглянуть на празднество, и, затаив дыхание, ни живая ни мертвая, ожидала появления новобрачных. Грянули трубы и литавры, и в толпе послышался шопот: «Идут новобрачные». Потом наступила тишина, и любопытные взоры устремились на запертые двери, в которые должны были войти жених с невестою.

Двери открылись, но, вместо жениха и невесты, вошел хорошо знакомый Виоланте некромант, рыцарь в черной маске. Она вскрикнула от ужаса, ноги у нее подкосились, так что она едва не упала. Но рыцарь сквозь толпу подошел прямо к ней, к девушке в бедных, рабских одеждах, преклонил колени и, когда снял он маску, Виоланта узнала в нем своего жениха, графа каталонского.

— Светлейшая графиня Тулузы и Лангедока, — молвил рыцарь, — я умоляю вас о прощении тех страшных и бесчисленных обид, которые в образе странствующего купца я причинил вам моею жестокостью, ибо, как ни отлична любовь от ненависти, но нередко случается, что и мудрые люди принимают одну за другую и, любя, причиняют обиды и страдания любимому, как бы питая к нему величайшую ненависть. Я предоставляю вам, мадонна Виоланта, свободный выбор — и вы можете во второй раз отвергнуть меня, как недостойного: перед людьми и перед Богом я освобождаю вас от связующей нас клятвы, от

железного кольца. Но ежели вы пожелаете принять мое раскаяние и простить, то любовь моя отныне будет непрестанным благоговением перед величием вашей покорности.

Виоланта ничего ему не ответила, но слезы счастья струились по ее щекам и, наклонившись к нему, она поцеловала его в уста.

Трубы и литавры грянули еще торжественнее, граф каталонский взял свою супругу за руку, повел ее на приготовленный престол, и сердца их соединились в таком блаженстве, какого мы и вам пожелаем во веки веков, любезные слушатели, благороднейшие дамы и рыцари.

РЫЦАРЬ ЗА ПРЯЛКОЙ

Новелла XV века

Предки барона Ульриха были богаты и вели роскошную жизнь. Отец, расточив большую часть имения, оставил сыну замок в Богемии и немного земли, которая приносила доходов столько, сколько нужно, чтобы жить одному непрехотливому человеку. Молодой барон был нрава беспечного и доброго, не умел выжимать из крепостных оброки, как это делали соседние помещики, и когда ему предстояли неожиданные расходы, предпочитал занимать деньги за высокие проценты у ростовщиков или закладывал клочки дедовского имения алчным немцам и жидам. Рыцарь мало заботился о будущем, и так как редко принимал гостей, вел тихую уединенную жизнь и, кроме двух страстей — к лошадям и книгам, привычки имел скромные, то ему хватало, и он никогда не думал о своей бедности. Случалось, что старый верный управитель-кастеллан приносил ему с тревожным лицом толстые прихода-расходные книги, записи жидовских долгов и хозяйственные счета, но молодой барон отмахивался от него, как от надоедливой мухи, и не хотел заглянуть в эти единственные из рукописных книг, которые были ему ненавистны.

— На мой век хватит, — говаривал Ульрих с беспечной улыбкой и продолжал покупать привозимые из Италии и Византии драгоценные пергаменты с миниатюрами и благородных лошадей, потихоньку разоряя свое имение, к прискорбию сумрачного управителя.

Ульрих был честен и ленив — два главных свойства, которые мешают людям приобретать деньги. Пробовал он служить, но военная служба показалась ему тяжелой. Скоро вернулся барон в свой замок и окончательно поселился в нем. Жил он совсем один с немногими старыми слугами, не томясь

одиноким, скорее находя в нем отраду; из великолепного опустевшего замка занимал Ульрих не более двух-трех покоев, которые казались ему уютнее других. Соседи называли его полупомешанным, философом, алхимиком или же попросту, деревенским увальнем и рохлей. Но рыцарь мало заботился о том, что говорят соседи. Он чувствовал себя если не счастливым, то беспечным и свободным. Большую часть дня проводил в охоте на волков и медведей, которых в те времена водилось множество в лесах Богемии. Удил рыбу, потому что любил тишину глубоких вод, которые иногда казались ему похожими на его собственное сердце. Или же, подобно старому римскому императору Диоклетиану, удалившемуся от суетной власти, о котором он читал в книге итальянского гуманиста Флавио Биондо, озаглавленной «*Libri Historiarum ab inclinatione Romanorum*»¹, — копал гряды на огороде, сажал плодовые деревья и обчищал их, подрезая лишние ветви большим садовым ножом. Но самая приятная часть дня наступала после ужина: в долгие осенние и зимние вечера, когда ставни на окнах содрогались от ветра, шумел дождь или завывала вьюга, в громадном закоптелом очаге с пышными каменными гербами разводили огонь. Ульрих в мягкой заячьей шубе садился поближе к трескучему пламени, наливал кубок доброго вина, брал одну из любимых книг и погружался в чтение. То были латинские хроники деяний греков и римлян, описания путешествий в далекие страны, только что тогда входившие в моду новеллы итальянских писателей или сладкозвучные сонеты божественного Петрарки. Ульрих порой отрывался от книги, подолгу смотрел на пламя в камине, и слезы одинокого счастья, рождаемого гармонией, струились по его щекам. Или же, размахивая руками, громко декламировал те строки, которые ему особенно нравились, пробуждая ночное эхо в темных сводах; и под завывание северной вьюги удивительными и волшебными казались певучие рифмы, созданные в стране южного солнца.

Ульрих был высок, худощав, обладал большою силою в руках, голос имел тихий и приятный, волосы такие светлые, что они казались почти белыми, как будто седыми, глаза ленивые, бледно-голубые, но в них вспыхивал иногда огонь, — и медведицы богемских лесов, на которых он хаживал один с двумя охотничьими псами, чувствовали перед смертью, как опасен этот внезапный огонь в глазах Ульриха.

¹ «Историческая книга об упадке римских владений» (лат.).

Однажды, в зимнюю стужу, случилось барону выехать на медвежью охоту в дремучий лес, далеко отстоявший от замка. Охота была счастливой, доезжачие взвалили на сани пушистую громаду убитого зверя и собрались домой. Завечерело, поднялась вьюга, снегом замело лесные тропы, и охотники заблудились. Ночью напало на них стадо волков. Они едва не погибли и не замерзли. К счастью, Ульрих заметил в горах сквозь белую мутную мглу огонек. Подъехали к замку. Когда на крики и стук их отворились ворота и рыцарь услышал имя владельца, то сперва хотел вернуться назад в лес. В замке жил враг; отцы и деды этого рыцаря с незапамятных времен ненавидели семейство Ульриха. Столетия длилась вражда, породившая многие злодеяния. Только в последние годы, когда почти все члены обоих родов, кроме двух сыновей, перемерли, вражда утихла. Молодые люди никогда не встречались.

Ульрих подумал, что ему надо выбрать одно из двух: или замерзнуть и быть съеденным волками в лесу, или искать убежища в доме врага. Он предпочел последнее. Когда Арнольф — так звали владельца замка — узнал имя неожиданного гостя, то, исполняя рыцарский долг, тронутый благородною доверчивостью Ульриха, дружески пригласил его в свой дом. Замерзшие охотники скоро отогрелись у гостеприимного очага, и Ульрих с Арнольфом разговорились так, как будто они были старыми друзьями. Когда подали ужин, к столу вышла молодая девушка, сестра Арнольфа. Ее звали Дианорой, и Ульрих узнал впоследствии, что ее мать была итальянкой, дочерью одного сиенского купца. Арнольф родился от первого брака, от другой матери.

Дианора с первого взгляда понравилась Ульриху. Вспоминая выражение одного итальянского поэта о прекрасной флорентинке Симонетти, он мысленно назвал прелесть Дианоры «смиренно-гордою». Матовая бледность ее лица под гладкими, черными и блестящими волосами напоминала твердые и свежие лепестки белых цветов в черно-зеленой листве апельсинных и лимонных деревьев той страны, которую Дианора считала своей родиной и любила, хотя никогда ее не видела.

Оба рыцаря расстались друзьями, и память о старой вражде рассеялась, ибо они были молоды, великодушны и не имели причины желать друг другу зла.

С тех пор Ульрих стал посещать замок Арнольфа, благословляя ту жестокую вьюгу, которая привела его в жилище Дианоры, и каждый раз она казалась ему еще прекраснее.

Скоро он узнал, что Арнольф беден и должен выдать сестру замуж почти без приданого: это сделало Ульриха смелее

и, уверившись в его благосклонности, он решился попросить у брата руки сестры. Видя благородную любовь рыцаря и желая увековечить кровным союзом новую дружбу, Арнольф, после некоторого колебания, согласился.

Беликолепные покои замка, где молодой отшельник недавно вел тихую жизнь, наполнились брачным весельем. Скоро Ульрих увидел, что не ошибся в своем выборе, так как Дианора была доброю женою.

Несмотря на свою бедность, он делал ей роскошные подарки, купил прекрасную флорентийскую лютню, украшенную перламутром, и, когда проезжали московские купцы с мехами, поспешил продать тополиную рошу и подарил Дианоре драгоценную шубу пунцового бархата, опушенную соболем.

В замке все чаще стали появляться подозрительные заимодавцы, все с большею решимостью подписывал Ульрих жидовские векселя. И лицо старого верного управителя становилось мрачнее. Наконец он добился своего, показал Ульриху счетные книги, объяснил все, и рыцарь увидел, что через год ему предстоит нищета.

Дианора ничего не знала и казалась совершенно счастливою. Теперь только понял Ульрих горечь бедности. Беспечность покинула его, и скоро жена заметила сердечную тревогу мужа. Но так как жемчужина всех женских добродетелей — стыдливая скромность — украшала Дианору, то она не дерзала спросить супруга о причине этой тревоги.

Наконец, однажды вечером, когда, по старому обычаю, он сидел с кубком вина и книгой у камина и думал невеселую думу, а Дианора тонкими пальцами перебирала струны лютни, решилась она спросить мужа, какая забота омрачает душу его. Ульрих смутился и хотел скрыть тревогу притворною веселостью, но, чувствуя в ее взорах нежную укоризну за то, что он не хочет разделить с нею горя, не вытерпел и сам открыл ей все. Тогда Дианора воскликнула радостно:

— Благословен да будет Создатель мой, посылающий мне такое легкое испытание! Ибо я ждала гораздо худшего. В юдоли плача и вздыхания, именуемой земною жизнью, человека подстерегают на всех путях его вражда, болезнь, безумие, смерть и многие другие страдания, среди которых бедность еще самое отрадное. Да не смущается сердце господина моего. В доме брата я не привыкла к роскоши. В этом прекрасном замке есть все, что нам нужно. С голода мы не умрем: хлеба, плодов и вина хватит на двоих. О чем же горевать? Мы будем жить просто и умеренно, как учат древние мудрецы, книги которых так лю-

бит ваша милость, и я питаю уверенность, что многие земные владыки могли бы позавидовать нашему счастью.

Так сказала она, — мудрость озарила лицо ее, и никогда красота Дианоры не казалась Ульриху такую царственной. Рыцарь склонил перед нею колени, поцеловал ее тонкие бледные руки и скачал:

— Слова твои, Дианора, кажутся мне прекрасными. Но ты как женщина молодая и не искушенная опытом жизни заботишься только о сегодняшнем дне и о нас двоих, между тем как я предвижу будущее. Тебе, быть может, неизвестно, что мой великодушный король и повелитель Маттиас Корвин любит меня не меньше, чем отца моего и деда. Я слышал, что готовится новый поход в землю неверных: король с радостью примет меня, даст мне почетное место в своей войске, и ежели мне удастся заслужить его милость, — на что я питаю твердую надежду, — то он наградит меня с обычною щедростью, за которую стоустая молва недаром прославила его у всех народов.

Ульрих умолк на мгновение, и жена спросила его:

— Что же препятствует господину моему исполнить это мудрое намерение?

— Дианора! Как оставлю я тебя одну в этом уединенном замке, такую молодую и неопытную?

— Но разве ваша милость еще не уверилась в том, что я добрая хозяйка? Вам нечего бояться. Старые верные слуги не покинут меня. К тому же у замка глубокие рвы и железные решетки...

— О, милая, ни глубокие рвы, ни железные решетки не защитят тебя от этих двуногих волков, которые, почуяв, что есть для них лакомая добыча (ибо ты ведь знаешь, Дианора, что красота твоя славится по всей Богемии), сбегутся, чтобы похитить у меня самое драгоценное...

Тогда Дианора подняла на него свои ясные глаза и молвила:

— Я сохраню честь господина моего и в жизни и в смерти.

И она взглянула на него так, что рыцарь поверил, и, если бы теперь весь мир свидетельствовал против нее, не усомнился бы. Тогда он уже более не колебался и решил поступить на службу к королю.

Не желая медлить, продал все лишнее, часть денег взял с собою на дорогу, другую оставил жене и назначил день отъезда.

Знаменитый король венгерский Маттиас Корвин благоклонно принял Ульриха и дал ему при дворе столь же почетное, как и выгодное место. Когда же Маттиас выступил в давно замышляемый им поход против неверных, то поручил богем-

скому рыцарю защиту пограничной крепости, которую осаждал предводитель турков Мустафа-паша. Рыцарь вел войну с таким успехом, что скоро приобрел славу храброго и мудрого военачальника. Каждый день получал он от государя щедрые подарки, между прочим, прекрасный замок с обширными землями и угодьями, приносившими немалый доход. Скоро Ульрих настолько поправил свои дела, что мог заплатить долги, выкупить заложенные земли и уже помышлял о возвращении домой.

Жена Маттиаса Корвина, прекрасная королева Беатриче Арагонская, дочь неаполитанского короля Фердинанда Старшего, подобно большинству тогдашних итальянских принцесс, будучи женщиной образованной, считала своим долгом покровительствовать ученым, поэтам и привлекать их к своему двору. Многие знаменитые гуманисты приезжали к ней из Франции, Италии и Греции.

Барон Ульрих, который был приятным собеседником, заслужил особенную милость королевы. Она не раз ходатайствовала за него перед супругом и, так как рыцарь справедливо считал самым презренным из всех человеческих пороков неблагодарность, то ему нередко случалось сетовать на судьбу за то, что она не представляет удобного случая доказать королеве его преданность.

Когда он вернулся из похода на неверных, Беатриче попросила его остаться при дворе ее некоторое время. Как ни стремился Ульрих домой, но не мог отказать великодушной покровительнице в этой просьбе и согласился отложить свой отъезд.

Беатриче, следуя приятному итальянскому обычаю, по вечерам, когда спадал жар, приглашала все общество, сходявшееся вокруг нее, — придворных дам, кавалеров, ученых, поэтов, гуманистов — в обширный прекрасный сад, находившийся неподалеку от дворца. Здесь, под открытым небом, среди цветов и деревьев, царствовала непринужденная веселость. Юноши и молодые девушки играли в мяч, водили хороводы, пели песни на свежем зеленом лугу. А старшие, под тенью сосен и дубов, на удобных скамьях из дерева, вокруг журчащего фонтана, вели беседы, рассказывали по очереди смешные или поучительные новеллы, затевали споры, которые Беатриче всегда умела направлять к возвышенным предметам человеческого созерцания.

Однажды, в летний вечер, как это часто бывает в обществе, где есть много прекрасных дам и кавалеров, зашла речь

о любви. Одни, по преимуществу люди старые, искушенные в лицемерии и пороках, превозносили любовь небесную, платоническую. Другие, более молодые и чистые сердцем, выражали насмешливое недоверие к неземной любви, стараясь показаться более старыми и опытными во зле, чем были на самом деле. И, как тоже всегда бывает, в подобных разговорах, среди собеседников нашелся один наиболее упорный и яростный враг женщин, который, извинившись перед королевой и признав, что она — единственное прекрасное исключение из правила, дал волю злему языку и начал доказывать красноречивыми примерами из древних и новых писателей, из Библии и мифологии, что женщины — самые порочные и опасные существа под луною. С особенным озлоблением нападал он на непостоянство их — причину всех человеческих бедствий, утверждая, что не было, нет и не будет такой женщины, за верность которой можно бы поручиться. Ему возражала сама королева Беатриче и намекнула на супруга барона Ульриха Дианору, которая славилась своей добродетелью не менее, чем красотою. Ульрих тихонько встал и удалился.

Тогда Беатриче, заметив его отсутствие, начала уже открыто восхвалять добродетели прекрасной Дианоры, называя ее по имени, что было неприятно многим, ибо ее мужу все при дворе завидовали. Между прочим, один из присутствующих, приезжий польский рыцарь пан Владислав, человек неглупый, но самонадеянный, считавший себя победителем женщин, молвил так:

— Ваше величество, я не имею чести знать добродетельной супруги барона Ульриха, которую вы только что восхваляли с обычным вашим красноречием, скорее Божественным, нежели человеческим. Но не во гнев будь сказано вашей мудрости, я считаю себя не меньшим знатоком в этих делах, чем кто-либо другой, и полагаю, что мадонна Дианора — такая же дочь прародительницы нашей Евы, пожелавшей вкусить от запретного плода, как и все остальные жены. Не раз случалось мне замечать, что именно те из них, которые особенно прославляются за добродетель и с наибольшим упорством противятся самым жарким и долгим мольбам, неожиданно-негаданно уступают любовному взгляду первого встречного юноши, одному слову, одному вздоху, одной притворной слезе и гораздо быстрее других попадают в сети соблазна. Есть ли кто-нибудь из живущих на свете, кто мог бы иметь твердую уверенность в подобном деле? Кто знает неисповедимые тайны их сердца? Полагаю, что никто, кроме Господа Бога. Что это так и что Дианора несколько

не лучше других женщин, я берусь доказать не на словах, а на деле и побиться об заклад, причем поставил бы не каких-либо двести-триста дукатов, а все мое имущество.

— Мессер Владислав, — возразила королева с вежливой улыбкой, хотя не без досады, — вы говорите с такою смелостью только потому, что знаете, что в этом споре никто не пожелает биться с вами об заклад.

Тогда все заговорили еще с большею горячностью, перебивая друг друга, споря, смеясь. Одни, желая угодить королеве, превозносили до небес добродетель Дианоры, а другие, надеясь, что из этого может выйти что-нибудь неприятное для Ульриха, подзадоривали самонадеянного поляка, который славился своей неблагоразумной любовью ко всяким хвастливым спорам, поединкам и закладам.

— Ваше величество, — воскликнул, наконец, пан Владислав, — никогда еще не отступал я от слов моих и теперь не отступлю: я утверждаю и готов поручиться в том всем моим достоянием, что если бы я находился там, где обитает прославленная Дианора, и мог бы некоторое время побыть с нею наедине, то мне скоро удалось бы смягчить это сердце, которое отличается, ежели верить молве, твердостью адаманта и алмаза.

Все немало удивились необыкновенной смелости Владислава и, хотя явно оспаривали его, втайне сочувствовали и желали ему успеха. Многие из присутствующих дам уже смотрели на польского рыцаря как на героя и не отказались бы подвергнуться искушению Дианоры — так понравилась им безумная решимость его, которую они громко, с притворным негодованием порицали.

Среди придворных кавалеров был один друг Владислава — венгерский барон Альберт, юноша красивой наружности, с розовыми щеками, как у молодой девушки, и длинными золотистыми кудрями. Он одевался роскошно, по ломбардской моде, в шелковые разноцветные ткани с вырезами, фестонами, зубчиками, лентами и бантами, так что походил на редкую заморскую птицу с блестящими перьями; был придворным поэтом, краснобаем и любимцем женщин. Альберт присоединился к своему другу и объявил королеве, что ежели пари состоится, то и он вместе с польским рыцарем готов биться об заклад, поручившись всем своим имуществом, что одному из них удастся склонить к неверности добродетельную Дианору.

Никакие увещания и доводы не могли сломить упорства обоих друзей — поляка и венгерца, которые стояли на своем, как будто от этого зависела их честь.

В это время по саду проходил король Маттиас Корвин, наслаждаясь вечернею прохладой. Услышав громкие голоса споривших, он подошел и пожелал узнать, о чем они беседуют. Когда же ему все рассказали, король весело рассмеялся и молвил так своей супруге:

— Я не советовал бы вашей милости настаивать в таком деле, слишком опасном для нашего общего друга, доблестного рыцаря Ульриха, которому вы, надеюсь, не менее, чем я, желаете блага. Воистину, кто поручится за добродетель самой добродетельной из женщин? Полагаю, что от такого неверного поручительства откажется и барон Ульрих, как человек благо-разумный и предусмотрительный. Что может быть ненадежнее сердца женщины, муж которой отсутствует из дома почти два года? Оставьте же этот спор и лучше уступите.

Шутливые слова короля задели Беатриче за живое. Она обратилась к присутствующему приезжему легисту из Падуанского университета Курцию Аттелану и спросила, можно ли придать этому делу законную форму. Доктор обоих прав, желая показать свое искусство, ответил, что ничего не может быть легче. Тогда королева с женским упорством и горячностью велела принести бумагу, чернила, перья и тотчас же в присутствии короля пригласила падуанского легиста составить необходимый нотариальный акт: пан Владислав и рыцарь Альберт обязываются отдать все свое имущество, движимое и недвижимое, знаменитому и доблестному рыцарю богемскому Ульриху в том случае, ежели ни одному из них не удастся склонить к неверности в течение двух месяцев от заключения этого договора супругу вышереченного Ульриха — Дианору.

Королева втайне надеялась, что в последнюю минуту поляк и венгерец поймут свое неблагоразумие, не подпишут договора, и что таким образом ей удастся обратить все дело в шутку и пристыдить хвастливую самонадеянность мужчин к торжеству женщин.

Но случилось иначе. Альберт и Владислав подписали договор, и теперь оставалось только получить подпись барона Ульриха.

Королева тотчас же удалилась в свои покои и, оставшись наедине с Ульрихом, попросила его согласия. Барон не сомневался, что выиграет заклад, что все это дело должно обратиться в смех и стыд обоим рыцарям и в прославление целомудренной Дианоры, а потому, не желая оказаться неблагодарным перед великодушной покровительницей и зная, каким непобедимым упорством в прихотях отличаются женщины, когда они избало-

ваны властью, он, чтобы доказать сердечную преданность королеве, дал свое согласие и подписал неслыханный договор.

На следующее утро Альберт, который должен был первым попытаться счастья, собрался в путь и через несколько дней прибыл в Богемию, в то место, где находился замок барона Ульриха.

Он остановился с лошадьми и слугами в соседней гостинице и послал предупредить Дианору, что он явится в замок засвидетельствовать свое почтение и передать ей сердечный привет от королевы Беатриче и от ее мужа.

На следующий день, не подозревая ничего дурного, Дианора встретила Альберта ласково, как и подобало гостеприимной хозяйке. Зная о необыкновенной любви Дианоры к Италии, родине ее матери, венгерец придумал целую басню, чтобы заслужить ее первое внимание: рассказал, что несколько лет тому назад имел счастье посетить эту прекрасную страну, и она так ему понравилась, что с тех пор он тоскует о ней, как о своей родине, и желает вернуться в нее. В настоящее время, исполняя это давнее намерение, перед тем, чтобы направить свой путь в Италию, он приехал в Богемию повидать больного старого дядю. Таким образом объяснив свой приезд, он заговорил о прекрасных городах Италии, о царице лагун — Венеции, о Милане, Флоренции, Риме и Сиене. Рассказы его очень понравились Дианоре, и она попросила Альберта прийти еще раз.

Он стал посещать замок, играл ей на лютне, читал стихи, пел, забавлял веселыми шутками, новеллами, и во всех его действиях, взорах и словах ничего не выражалось, кроме невинной дружбы и рыцарской почтительности.

Но скоро тени глубокой задумчивости все чаще стали омрачать лицо юноши. Он слушал ее рассеянно, отвечал невпопад, смотрел на нее подолгу, молча, как будто хотел что-то сказать или спросить, но ничего не говорил и уходил поспешно. Дианора была так неопытна в любви, что не понимала этой игры и расспрашивала Альберта с искренним участием, что с ним, какая забота наполняет его сердце.

Однажды, играя на лютне, той самой, которую подарил ей Ульрих, Альберт запел тихую старую песню любви, унылую и нежную, как долгий страстный вопль. Дианора заслушалась и почувствовала неодолимое смущение. Вдруг он оборвал песню, отложил лютню в сторону и закрыл лицо руками.

Полная сострадания, она тихонько коснулась его плеча и спросила о причине скорби.

— Мессер, если я что-нибудь могу сделать для вашего блага, — прибавила она, — то, видит Бог, я готова.

Тогда он упал перед ней на колени и, обливаясь горячими слезами, стал говорить о любви.

Дианора молчала в ужасе. Наконец, опомнившись, велела ему уйти.

Когда Альберт увидел, что мольбы напрасны, то решил прибегнуть к последнему средству. Сбросив с себя личину притворного смирения, он объявил, что не остановится ни перед каким преступлением, чтобы достигнуть цели, что готов погубить свое тело, свою душу и рыцарскую честь, ибо любовь оправдывает все; что он сумеет оклеветать ее перед мужем: нанести себе сам в ее доме тяжелую рану и скажет, что она велела своим слугам убить его из мести за то, что он не соглашался обмануть с нею Ульриха.

Когда Дианора услышала эти угрозы, то жалость к нему превратилась в ненависть.

Притворившись побежденной страхом и любовью, она сказала, что во избежание больших несчастий уступает ему, но так как уверена, что барон Ульрих убьет ее, если узнает от слуг об измене, то просит Альберта прийти на свидание в одну отдаленную башню замка, где никто не может их видеть и слышать, подробно объяснив ему те приметы, по которым он мог найти эту башню.

Одевшись в роскошные одежды, Альберт на следующий день в условленный час пошел в замок и по указанным приметам отыскал темную пустынную галерею, которая привела его прямо к двери желанного покоя в отдаленной башне, который назначен был для свидания.

Дверь была открыта настежь, и рыцарь не вошел, а впорхнул в нее, не чувствуя под собою ног от радости. Он притворил тяжелую, окованную железом дверь, устроенную так, что изнутри ее нельзя было открыть без ключа. Когда Дианора, спрятавшаяся неподалеку, услышала, что мышеловка захлопнулась, она заперла ее еще снаружи на замок и унесла ключ с собой.

Альберт удивился, что дама выбрала такое странное место для свидания: голые стены, решетчатое окно так высоко, что до него нельзя было достигнуть без лестницы, и никакого убранства, кроме узкой постели, какие употребляются в монашеских кельях, и двух-трех деревянных стульев. Эта башня была в прежние времена тюрьмою, где содержались знатные пленники в пожизненном заключении.

Пока рыцарь ожидал с радостною тревогою появления Дианоры, в двери открылось окошечко, такое маленькое, что в него едва можно было подать заключенному хлеб и кубок вина. Альберт увидел насмешливое лицо одной из служанок Дианоры и услышал следующие слова:

— Мессер Альберт, моя госпожа велела передать вам, что так как вы проникли в замок как вор, чтобы похитить ее честь, то она заключила вас в тюрьму как вора, выбрав такое наказание, какое считает наиболее справедливым. Пока вы будете находиться в этой темнице, вы должны зарабатывать себе пропитание пряжею, и чем больше нарядите за день, тем будет вкуснее ваш обед, а ежели вздумаете лениться — ничего не получите, кроме хлеба и воды.

И окошечко захлопнулось.

Рыцарь хотел что-то закричать ей вслед, но голос ему изменил, и только тихий стон вырвался из горла. Он побледнел, шатаясь подошел к постели и упал на нее почти без сознания. Когда же опомнился, стал помышлять о самоубийстве. Но у него не было меча, а повеситься он не мог, ибо своды темницы были слишком высокие. К тому же в сердце его сохранилась надежда, что все это окажется шуткою и что скоро его выпустят.

Он ходил по тюрьме, ломал руки, говорил сам с собой, как сумасшедший, проклинал день и час, когда пришла ему несчастная мысль биться об заклад, богохульствовал, молился, плакал, и ему казалось, что он сходит с ума. Вспоминал также о потере имущества, и хотя скорбел, но скорбь была ничто перед болью стыда, от которого сердце его ныло и горело, как будто его сжимали острыми клещами. В этих муках прошел день и наступила ночь. В то время как он ходил взад и вперед по келье при бледном сиянии луны, луч которой проник в окно, рыцарь увидел в одном углу темницы новую хорошенькую прялку, с свежешю паклею и веретеном, как будто ожидавшую работы. В припадке ярости Альберт хотел схватить ее и разбить в щепки. Но что-то удержало его, и он толкнул ее ногою осторожно. Перед самым утром, уснув тревожным сном, пленник скоро проснулся от голода и жажды. Идя на свидание, он ничего не ел от радости, а так как большое горе не менее заставляет чувствовать пустоту желудка, чем большая радость, то теперь с немалым нетерпением ожидал он, когда окошечко в тюремной двери откроется и служанка подаст ему хлеба и воды. Веселые ласточки защебетали под окном, замычали коровы, заиграл рожок пастуха, раздался тихий колокольный звон, повеяло

утреннюю свежестью лугов: несчастный Альберт почувствовал то же, что пойманная птица чувствует, в первый раз встречая утро в клетке. Тюрьма осветилась, и в углу, выступив из мрака, нелепая прялка торчала теперь, лезла в глаза, преследовала его с оскорбительною назойливостью.

Наконец желанное окошечко открылось, и, как вчера, из него высунулось лукавое, беспощадно-веселое и розовое лицо молодой служанки.

— Ну, как наши дела, мессер Альберт? Много ли поработали? Покажите пряжу, и говорю вам, что должна видеть ее и смерить точно, чтобы знать, какой обед принести.

Тогда рыцарь не выдержал, стал кричать, топтать ногами, требовать немедленного освобождения, грозить, осыпать господжу и служанку отборными ругательствами. Наученная Дианорой, служанка ответила ему спокойно:

— Напрасно изволите гневаться, мессер. Я тут ни при чем: только исполняю волю госпожи. Мой совет — успокойтесь, будьте благоразумнее. Перемелется — мука выйдет. Злоба в беде не помогает. Лучше покоритесь. Госпожа моя желает знать, какое намерение привело вас к ней в замок, так как она вполне уверена, что все это случилось неспроста. Послушайте, рыцарь, вы должны как можно скорее открыть тайну, а кроме того, для вашего собственного блага, советую вам заняться пряжей. Не бойтесь, это дело немудреное, и ежели мы, глупые женщины, справляемся с ним, то вам и подавно покажется оно легким. Помните же, Альберт, решение Дианоры неумолимо. Вы из этой башни не выйдете и не получите на обед ничего, кроме воды и хлеба, пока не назовете ваших сообщников и не сядете за прялку. Не упорствуйте же, принимайтесь-ка за работу скорее: сегодня к полудню я снова наведаюсь к вам и, ежели вы довольно напрядете, принесу превкусный обед.

И Барбара — так звали служанку — захлопнула окошечко смеясь.

В это время Дианора велела тайно захватить слуг и лошадей мессера Альберта, содержать их в плену в полной сохранности, так, чтобы люди его не испытывали никаких других лишений, кроме лишения свободы, и распространила слух, что рыцарь вернулся к себе домой в Венгрию.

Дни проходили за днями, и так как Альберт все еще не сдвинулся за прялку, которая одна могла избавить его от невольного поста, то ему приходилось довольствоваться черствым хлебом и водою. Голод почти все время терзал его внутренности, ибо он получал пропитания не более, чем нужно было

для того, чтобы не умереть от истощения. Теперь несчастный уже не помышлял о самоубийстве, о потере имущества, о стыде, о любви: все это казалось ему далеким и неважным: с гораздо большим волнением мечтал он о жирных каплунах, об огромных паштетах из дичи с поджаренной хрустящей коркой, о прохладных, душистых винах. И как нарочно, именно в это мгновение, когда слюнки текли у него от этих мечтаний и, расширяя ноздри, он вдыхал лакомый запах воображаемых блюд, — прялка была тут как тут, так и металась ему в глаза, так и лезла, как будто подсмеивалась над ним, кивала своим длинным дурацким шестом, обмотанным паклей.

Голодный рыцарь кидался на нее с яростью, чтобы уничтожить, но всякий раз что-то удерживало его, он останавливался, сжав кулаки, подолгу смотрел на ту, которая каждое мгновение согласна была сделаться его кормилицей, и не то с отвращением, не то с любопытством, брезгливо, тихонько трогал веретено. Потом, тяжело вздыхая, отходил в другой угол тюрьмы, подальше от соблазна.

Однажды, в оцепенении от голода, почти не думая о том, что делает, он подошел к прялке, сел и взял в руки веретено. Детство Альберт провел в деревне, нередко случалось ему наблюдать, как поселянки прядут свою грубую серую пряжу, и он учился у них играя, как это делают переимчивые дети. Теперь бедный рыцарь вспомнил старые уроки, и потихоньку, неумелыми пальцами, стал сучить нитку и наматывать на веретено. Она выходила у него пресмешною — в одном месте слишком толстой, в другом слишком тонкой, — но занятие это показалось ему легким и довольно забавным, ничуть не хуже других человеческих дел. По крайней мере, труд избавлял его от нестерпимой скуки, которую он испытывал, проводя целые дни в праздности. Мало-помалу рыцарь совсем увлекся пряжей, забыл и горе, и голод, не слышал, как пролетали часы, и только тогда, когда предательское окошечко стукнуло и в нем появилось ненавистное насмешливое лицо Барбары, он отскочил от прялки, ужаленный стыдом, покраснев до ушей, как школьник, застигнутый за шалостью. Но плутовка ничего не сказала, не заметила, или, пожалев беднягу, притворилась, что не замечает.

Еще несколько дней крепился он, убеждая себя, что прядет только так, для собственного развлечения, от скуки, что никто никогда об этом не узнает, и весьма тщательно скрывал нарабатанную пряжу в постели, под изголовьем. Наконец, однажды, когда волчий голод сжимал ему внутренности и миражи

пирогов с дичью обессилили его мужество, он сунул в окно всю наработанную пряжу, отвернувшись, не подымая глаз, желая провалиться сквозь землю. Барбара приняла нитки как ни в чем не бывало и серьезно похвалила его, как будто это было дело обычное, свойственное благородным рыцарям. Тогда, чтобы кончить сразу, он тут же, запинаясь и кусая губы, пробормотал свою исповедь и, пока она внимательно, с едва уловимую усмешкой женского лукавства, рассматривала пряжу, как бы оценивая добротность ниток, объяснил ей все, как с согласия королевы Беатриче он, Альберт, и его друг, польский рыцарь Владислав, побились об заклад с бароном Ульрихом, что одному из них в течение двух месяцев удастся склонить добродетельную Дианору к неверности. Служанка передала это признание госпоже, и в тот же вечер принесла отощавшему рыцарю вкусный ужин, питательный, но легкий, заботливо предупредив, что чересчур наедаться после долгого голода нездорово.

С тех пошло все как по маслу. Каждое утро усаживался рыцарь за прялку и работал весь день усердно, не стыдился и не отскакивал от нее, когда Барбара неожиданно открывала окошечко и выглядывала из него. Пленника щедро вознаграждали за долгий пост. Никогда еще не едал он так много и сладко. Из благодетельного окошечка, как из рога изобилия, сыпались дары Цереры, Вакха и Помоны — плоды, пирожное, паштеты, рыба, дичь, мясо, вино — одно вкуснее другого. Скоро он отъелся, расцвел, повеселел и, сидя за прялкой, стал напевать беззаботную песенку, как это делают сельские женщины. С хорошенькой тюремщицей беседовал он дружелюбно, даже слегка приударял за ней. Барбара была этим, кажется, довольна и строила ему глазки. Если молвить правду, то Альберт гораздо менее скучал, чем в иных блестящих забавах королевского двора, и так вошел во вкус простодушной, невинной работы, как будто отроду ничего иного не делал. Мало-помалу достиг он в прядильном искусстве изрядного мастерства, и нитки выходили у него почти совсем ровными, так что, пожалуй, и добрая сельская пряжа не постыдилась бы признать его работу своею.

В это время пан Владислав беспокоился о долгом отсутствии друга: так как срок, назначенный для его пребывания в замке барона Ульриха, миновал, а рыцарь не возвращался и не было о нем ни слуху ни духу, то Владислав решил, более не мешкая, отправиться в Богемию, чтобы провести о товарище и самому попытать счастья.

Дианора была предупреждена и ожидала гостя.

Он остановился в той же гостинице, неподалеку от замка: здесь ему сказали, что Альберт давно уехал и вернулся к себе в Венгрию.

Поляк недоумевал, но хозяйка приняла его так любезно, что он успокоился и подумал:

«Ого! Ну, здесь мы живо справимся. Видно, подъем на гору менее крут, чем все предполагают».

Дианора знала, куда он гнет, и, чтобы скорее покончить, сама направила воду на мельничное колесо.

Не сомневаясь в победе, пан на всех парусах поплыл к мели, на которой должен был сесть. Чтобы сказать кратко, доблестного польского рыцаря постигла точь-в-точь такая же плачевная участь, как и венгерца.

Так же ему было назначено свидание в уединенной башне, так же попался он в западню и был заперт рядом с другом в соседней темнице. Так же открылось окошечко в двери и из него выглянуло лукавое лицо Барбары. Только работа, назначенная ему, была иная: он должен был большими костяными спицами, какие можно видеть в морщинистых руках старых ключниц, вязать чулки из тех самых ниток, которые наработал в соседней темнице его товарищ.

Нечего и говорить, что пан пришел в неописанную ярость, ругался, кричал, безумствовал не меньше, чем Альберт, также помышлял о самоубийстве, и в припадке отчаяния ударился головой о тюремную дверь, но ничего из этого не вышло, кроме шишки на лысом лбу. Владислав был эпикуреец и обжора, а потому пост, не означенный в календаре, показался ему отвратительной пыткой. Посидев дня два-три на одном хлебе и воде, пан сделался как шелковый, принял веселый вид при печальной игре, и притворился, что все это считает презабавной шуткой. Развязно объяснил он панне тюремщице, что всегда считал своим первым рыцарским долгом во всем угождать очаровательным дамам, владычицам сердец, беспрекословно исполняя прихоти и капризы их, которые, ежели молвить правду, бывают иногда немного странными. Но вот беда: пан отроду не вязал чулок и не умеет взять спицы в руки. Барбара ответила, смеясь, что не велика беда, что было бы только со стороны пана усердие, она в несколько уроков научит его вязать. И тут же, просунув длинные спицы с Альбертовой пряжей в окошечко, стала ему показывать, как должно делать петли. Владислав оказался непонятливым учеником, но так как нужда — прекрасная наставница, то в конце концов с грехом пополам

научился нехитрому делу. Правда, петли выходили нелепые и такие громадные, как будто предназначались для повешения конокрада. Но усердие ценили более, чем искусство, и пана тоже стали кормить отборными яствами. Через некоторое время он начал действовать спицами довольно проворно, но так как у него не было природного дара к женскому рукоделию, то в этом искусстве он никак не мог бы поспорить с посредственной чулочницей.

Когда прошло условленных два месяца, барон Ульрих вернулся в замок; верная Дианора встретила его с великою радостью и повела в башню, где сидели птицы в клетке. Сперва она тихонько открыла окошечко в двери Альбертовой кельи — Ульрих взглянул и залюбовался. Солнце проникало в темную келью снопом лучей и освещало прилежно наклоненную голову сидящего за прялкой юного рыцаря, с падавшими локонами, золотистыми и длинными, как у молодой красавицы. Царствовала тишина, только веретено однообразно жужжало и пело. Вверху, на окне, в паутине, товарищ узника, неутомимый паук пряд свою серую тонкую пряжу; внизу рыцарь так же безмолвно, так же проворно сучил и тянул из кудели тонкую белую нить.

Потом Дианора подвела мужа к другой двери и также тихо открыла слуховое окно. Барон заглянул в келью и едва удержался от смеха: посреди комнаты, широко расставив ноги, держа в руках нелепый громадный чулок, сидел пан Владислав, и уморительно было видеть в его толстых неуклюжих пальцах вязальные спицы; он делал усилия, чтобы не спустить петли, — сморщив лысый лоб, высоко подняв брови, выпятив губы, пыхтя и отдуваясь, как будто ворочал тяжелые камни, потный и красный.

— Как нравятся вашей милости птицы в клетке? — спросила Дианора мужа, и в глазах ее светилось торжество женской хитрости.

Ульрих великодушно простил пленников и не пожелал отнимать у них имущества, на что имел право по договору. Впрочем, пан Владислав, не ожидая решения своей участи и забрав с собой все, что имел, — а это сделать было ему легко, так как им же распущенный слух о богатых польских поместьях оказался хвастовством, — счел благоразумным бежать через Триест в свободный город Яснейшей республики Венеции. Что же касается до рыцаря Альберта, то по настоянию королевы Беатриче барон Ульрих потребовал, чтобы этот неисправимый щеголь, угодник дам, на придворном балу протанцевал

в огромных безобразных чулках, связанных в тюрьме из его же собственной пряжи паном Владиславом. Бедный рыцарь, чтобы спасти свое имение, протанцевал бы еще и не в таком наряде.

Пан зажил в Венеции припеваючи: он любил хвастать своими победами над венгерскими красавицами и подробно рассказывал, как однажды побился об заклад при дворе короля Маттиаса Корвина с доблестным рыцарем Ульрихом. Но, доходя в повествовании до того места, как Дианора назначила ему свидание в уединенной башне замка, умолкал, скромно и самодовольно улыбаясь.

Если же юный внимательный слушатель спрашивал его: что же дальше?

— Много будете знать, мессер, рано состаритесь, — говорил ему пан, лукаво подмигивая и покручивая длинный крашеный ус.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

Флорентийская новелла XV века

Те, кто бывали во Флоренции, помнят величественный купол собора Мария дель Фьоре — истинно Божественное создание человеческого духа. Со времени греков и римлян ничего во всей Европе не было построено столь светлого и разумного. Замысел купола, как бы повешенного в воздухе волей строителя, реющего над городом на страшной высоте, легкого, прекрасного и незыблемо утвержденного по вечным законам механики, казался таким дерзновенным и неисполнимым, когда был предложен на собрании опытных строителей, что архитектора, придумавшего этот план, Филиппо сире ди Брунеллеско сочли безумцем. Чтобы исполнить свой замысел, Филиппо должен был всю жизнь бороться с ненавистью и презрением глупцов, с боязнью и упорством умных людей, не смевших поверить в законы собственного разума.

Великий строитель с виду был важен, мрачен и тих. Но под грубою корою в сердце его таились родники неистощимого веселья. Эта свобода и веселье — в куполе Санта-Мария дель Фьоре, в светлых, открытых солнцу loggi, легких, как бы воздушных арках и колоннах построенных им галерей, в новой эллинской обнаженности простых и чистых линий созданной им архитектуры. Свобода и веселье были и в жизни Филиппо. Все эти строгие, молчаливые, деловитые флорентинцы с нахмуренным челом любили смех и при всяком удобном случае предавались шалостям, как резвые школьники, вырвавшиеся на волю.

Я хочу рассказать одну из таких шалостей знаменитого архитектора, того, чья жизнь была непрерывным трудом, страданием, борьбою с людьми и напряженной мыслью.

Однажды в городе Флоренции, в 1409 году, воскресным вечером собралось к ужину общество молодых людей в доме

одного вельможи по имени Томмазо де Пекори, человека благородного и умного, любившего повеселиться.

Когда после ужина убрали со стола, подали лакомства и лучшее вино, и все стали громко и непринужденно разговаривать о том и о другом, как это обыкновенно бывает в подобных собраниях, один из собеседников произнес:

— Почему, скажите на милость, сегодня вечером чудак Манетто Амманнатини ни за что не хотел прийти сюда, и его никак нельзя было убедить?

Этот Манетто Амманнатини славился как превосходный художник-столяр, мастер деревянных инкрустаций; лавка его, или как во Флоренции говорят, «боттега», находилась на площади Сан-Джованни. Манетто все любили за веселый нрав и весьма почитали его талант, ибо в прекрасном столярном искусстве не было ему равного мастера. Но в житейских делах он был доверчив, прост и неопытен, как ребенок: его обманывали, над ним потешались, что не нарушало его добродушной веселости. Славный был человек Манетто Амманнатини, которого в приятельском кружке за неуклюжесть и высокий рост звали Верзилою. Лет 28, громадный, широкоплечий, с ясными глазами, с вечно рассеянной улыбкой, с волосатыми, мозолистыми, запачканными лаком и клеем руками столяра, из которых выходили тонкие небесные лица херувимов, веселые, дерзкие рожи сатиров из точеного кипариса и дуба, — Верзила был неисправимым чудачком: несмотря на обычную общительность, вдруг находила на него внезапная прихоть, припадок черной меланхолии, — и тогда он ни с кем не говорил, смотрел как волк на лучших друзей, огрызался, когда его спрашивали, что с ним, и уже никакими силами нельзя его было затащить в приятельский кружок. Потом нелепое чудачество проходило само собою, и Верзила возвращался к друзьям добродушнее и беззаботнее, чем когда-либо.

К великому прискорбию и досаде собеседников, которые считали его приятным и любезным членом своего общества, одно из этих чудачеств напало на столяра как раз в тот воскресный вечер, когда они собрались к ужину в прекрасный палаццо сире Томмазо де Пекори.

— Этого так оставить нельзя, — воскликнул один из гостей, немного подвыпивший, ударяя кулаком по столу, — надо проучить Верзилу!

— Но, может быть, у него дела, — заступился другой. — Я слышал, что наместни герцогиня Мантуанская заказала ему свадебный сундук...

— Вздор! Я знаю дела его, как свои пять пальцев. Что за работа в воскресенье вечером? Это у него опять меланхолия. Сидит где-нибудь один в таверне и пьянствует. Или, еще хуже, лежит в постели и дрыхнет. Говорю вам, что следует, наконец, хорошенько проучить его за эти чудачества, для его же собственного блага, чтобы он уже более никогда не смел пренебрегать друзьями из-за каких-то дурацких бредней.

— А чем могли бы мы проучить Верзилу? — усомнился третий. — Побить его, что ли? Так ведь шкура у него дубленая — ничем не проймешь. И притом в руках такая силища, что ежели сдачи даст, не поздоровится. Или надуть его, чтобы заплатил за всех по счету в гостинице, — так ведь какой это урок? Над нами же он посмеется. Денег Верзила не жалеет.

Тогда заговорил бывший в этом веселом кругу друг и почитатель Верзилы, Филиппо сире ди Брунеллески, славный архитектор Санта-Мария дель Фьоре. Лицо у него было и теперь, как всегда, строгое, почти суровое, сумрачное, взор холодный, и только на гладко выбритых тонких губах играла хитрая, пронзительная усмешка, и по этой усмешке собеседники тотчас же поняли, что наступает истинное веселье, — такой смех, от которого животики подведет. У юношей, особенно лакомых до всяких шалостей, даже глаза разгорелись, и все притихли, замерли и ожидали благоговейно, что-то выйдет из уст этого нового оратора. Тогда Филиппо не торопясь, обвел всех глубокомысленным взглядом, как будто речь шла о важном деле, и молвил:

— Любезные друзья, вот что я сейчас придумал. Мы можем сыграть с Верзилой презабавную шутку, которая, полагаю, доставит вам немалую утеху. Шутка моя заключается в том, чтобы убедить столяра Манетто, что он — не он, а совсем другой человек.

Тогда многие стали возражать Филиппо, утверждая, что это невозможно. Но, по своему обыкновению, он с математическою ясностью, как будто дело шло об изящной теореме, привел им свои доказательства и сумел их убедить, что этот замысел исполним.

Все подробно до последней мелочи обсудили они и составили заговор против злополучного Верзилы. И этот заговор с тем большею легкостью мог им удасться, что во Флоренции все, от мала до велика, от важного седовласого приора, заседающего в Palazzo Vecchio, до босоногого уличного мальчишки, который спускает бумажные кораблики в дождевые ручьи, находятся как бы в непрерывном безмолвном заговоре и всегда готовы помочь друг другу, чтобы посмеяться над простодушным человеком.

И нет такого сурового блюстителя законов, нет такого тяжеловесного купца, состарившегося над счетными книгами, который при всяком удобном случае с радостью не пожертвовал бы временам, трудом, даже деньгами, чтобы учинить своему ближнему какую-нибудь веселую школьническую шалость, «beffare», как они там говорят. Флорентинцы смеются над лучшими своими друзьями, и те не думают сердиться, а только в свою очередь ждут удобного случая пересмеять насмешника. Такими создал их Бог, такой у них воздух в Тоскане, недаром есть пословица: «Тосканцы бедовый народ — не клади им пальца в рот». Они иногда и рады бы не смеяться, да не могут. Смех в крови флорентинцев, как соль в морской воде. Вот почему великий искусник в таких шалостях, Филиппо сире ди Брунеллески, с полной уверенностью составил заговор и знал, что каждый знакомый и незнакомый будет ему всячески служить и способствовать, и он мог обделаться это дельце начистоту так, что и комар носа не подточил бы.

Решено было, что на следующий день, в понедельник вечером, начнется Овидиево превращение, или метаморфоза Манетто-Верзили.

В тот час, когда солнце заходит, желтые пески Арно развеют и ремесленники запирают потемневшие мастерские, Филиппо зашел в боттегу своего друга, столяра Манетто, на площади Сан-Джованни и весело болтал с ним до тех пор, пока расторопный мальчуган — как было условлено — не прибежал в мастерскую и не спросил, запыхавшись и торопясь, как будто дело было важное и спешное:

— Не в эту ли боттегу заходит иногда Филиппо сире ди Брунеллески, и не здесь ли он теперь?

Филиппо выступил, назвал себя и спросил посланного, чего он желает.

— Идите-ка скорее домой, мессер, — произнес мальчуган, — часа два тому назад с теткой вашей приключилось недоброе, и она при смерти. Вас всюду ищут. Бегите же, не медлите.

Филиппо притворился пораженным дурною вестью и воскликнул:

— Господи, помоги!.. Этого еще недоставало!..

И тотчас же попрощался с Верзилою, который, как человек добрый и услужливый, молвил с дружеским участием:

— Пойду-ка и я с тобою, Филиппо. Быть может, на что-нибудь пригожусь. Знаешь, в таких случаях всегда полезно иметь около себя друга.

Немного подумав, Филиппо ответил:

— Теперь ты мне не нужен. Но если что-либо понадобится, я сюда пришлою за тобою.

Филиппо пошел как будто по направлению к своему дому, но когда Манетто уже не мог его видеть, повернул за угол и Направился к дому Верзила, находившемуся в узком переулке, как раз наискосок от церкви Санта-Рипарата. Он искусно отомкнул запертую дверь без ключа, тонким лезвием перочинного ножа, вошел в дом и крепко, железным болтом, запер дверь изнутри так, чтобы никто не мог войти. С Верзилою жила мать, которая на эти дни уехала в загородное местечко Полверозу, где у них было именье, — на ежемесячную большую стирку, которую домовитые флорентийские хозяйки для удобства и дешевизны устраивают за городом.

Тем временем Верзила, заперев боттегу, прошелся, как это он обыкновенно делал, несколько раз взад и вперед по площади Сан-Джованни; из головы его не выходила мысль о Филиппо, и сердце было исполнено сочувствия к другу, перед великим гением и умом которого он преклонялся.

Спустя час после солнечного заката, когда наступили сумерки и площадь опустела, Верзила подумал:

«Филиппо так и не послал за мной: теперь уж я, должно быть, ему не нужен».

И он решил вернуться домой. Подошел к своей двери, поднялся на две ступеньки, которые к ней вели, и, по обыкновению, хотел отпереть, но, как ни старался, это ему не удалось. Наконец он заметил, что дверь крепко-накрепко заперта изнутри железным болтом. Верзила подумал и позвал:

— Эй, кто там наверху? Отоприте!

Филиппо, подстерегавший его внутри дома, спустился с лестницы, подошел к двери и сказал:

— Кто там?

Он говорил голосом Верзила, ибо весьма искусно умел подражать всевозможным голосам. Но тот закричал:

— Отопри же!

Филиппо притворился, что принимает стучавшегося в дверь за Маттео, в которого Верзила, — как они сговорились, — должен был превратиться, сам же Филиппо притворился Верзилою и молвил так:

— Эй, Маттео, ступай-ка с Богом. Я очень расстроен: у меня в мастерской только что был Филиппо сире ди Брунеллески, когда ему пришлось сказать, что тетка его при смерти. Это меня опечалило на весь вечер: я просто не свой. Зайди, братец, как-нибудь в другой раз.

И потом, обернувшись к лестнице, как будто говорил с тем, кто внутри дома, прибавил:

— Мона Джованна, — ибо так звали мать Верзилы, — соберите скорее поужинать. Что это, право, за беспорядки? Вы обещали быть здесь два дня тому назад, а возвращаетесь только сегодня ночью.

И он еще немного поворчал, все время подражая голосу Верзилы.

Верзила, не только услышав свой собственный голос, но и видя во всем, что произносил этот голос, отражение своих затаенных мыслей и чувств, как в зеркале, не мог прийти в себя от изумления и думал:

«Это еще что такое? Не чудится ли мне, будто тот, кто там у двери, — я сам, и будто он мне же, моим собственным голосом, рассказывает, что Филиппо только что был у меня в мастерской, когда пришли сказать, что тетка его заболела?.. И кроме того, он разговаривает с мной Джованной. Экая пакость! Видно, со мной творится неладное. Голова совсем кругом пошла...»

Верзила спустился с двух ступенек крыльца и немного отошел, чтобы крикнуть в окна дома. В это же время приблизился к нему, как было условлено, знаменитый флорентинский скульптор Донателло, создатель бронзовой статуи Иоанна Крестителя, тоже искусный насмешник, участвовавший в заговоре, друг Верзилы. Как бы случайно проходя в сумерках, Донателло взглянул на него и сказал:

— Доброй ночи, Маттео!

— Не Маттео, а Манетто, — крикнул ему Верзила.

Но Донателло, не останавливаясь, быстро пропел и сказал, как будто не расслышал:

— Да, да, я зайду к тебе завтра поутру, Маттео, — и скрылся во мраке.

— Фу, ты, пропасть! — воскликнул Верзила, — сговорились они, что ли, называть меня Маттео! И померещится же человеку такая дрянь! Надо пройтись, освежиться, и главное — не думать об этом. Тогда все пройдет. А то, черт возьми, этак ведь и спятить немудрено...

И Верзила, понурив голову, медленными шагами удалился от своего дома. Стемнело. Улицы опустели. Ночь была безветренная, жаркая и душная. Как это нередко бывает в Тоскане летом, землю сжигала засуха. Перепадали капли скупого дождя, но прекращались, и бледное, изнеможенное небо не имело силы разразиться грозой. В эту ночь над холмами Фьезоле громоздились тяжелые тучи, и, как судорожные крылья подстре-

ленной птицы, бледные зарницы трепетали беззвучно и безнадежно над черепичными кровлями домов. Черный мрак был жарок и душен, как черный мех, и от него веял такой же запах, как летом от меховой шубы. Слабый дальний гром напоминал глухие раскаты злого, сумасшедшего, тихого смеха. Кровь ударила в виски, нечем было дышать.

Верзила остановился, чтобы отереть пот с лица. В это время из подворотни выскочила и шарахнулась ему в ноги черная кошка. Он задрожал, побледнел, ибо был суеверен, и, перекрестившись, начал бормотать: «Ave Maria». А кошка или, может быть, ведьма, отвратительно мяукнув, скрылась.

Верзила слышал, как сердце у него в груди колотится тяжкими, мерными ударами, точно молот о наковальню. Вдруг в мертвой тишине донесся издали, должно быть, из предместья Сан-Сеполькро, протяжный, зловещий вой собаки.

«Поскорей бы домой, — подумал Верзила, — да в постель, да головой под одеяло. А то эта ночь — не хорошая, не благословенная... В такую ночь всякая нечисть по земле шляется...»

На душе его было скверно. Ему хотелось не то плакать, не то кричать и бить кого-нибудь, а лучше всего зарыться в холодную, сырую землю, как слепые кроты зарываются, и там замереть так, чтобы никто его не видел и не слышал.

Он вернулся на площадь Сан-Джованни, где находилась его боттега. Здесь было легче дышать. Верзила поднял голову и увидел меж туч, вверху, открытое небо и робкие звезды. Он обрадовался им. Оттуда сверху, как будто от звезд, веяло тихое, едва уловимое дуновение неземной свежести.

«Чего я так перепугался, дурак, — подумал он, ободрившись, — оборотень я, что ли? Какое мне дело до Маттео? Я Верзила — Манетто Амманнати, столяр, вот и боттега моя. Мало ли что иной раз почудится? На это не надо обращать внимания... Само собою пронесет, как рукой снимет... Вот я похожу здесь немного, подышу чистым воздухом, а потом вернусь домой, отопру дверь ключом, который у меня здесь в кармане... Это еще что за новости, чтобы не пускать человека в его собственный дом?.. Что я — старый шут Каландрино?¹ Смеяться над собой позволю?.. Нет, шалишь, брат... Отопру и войду... И хотел бы я посмотреть на такого человека, который помешает мне сделать это сейчас же?..»

¹ Простофила (*итал.* — *calandrino*); вероятно, имеется в виду флорентийский художник XIV в. Джаноццо ди Перино, отличавшийся, судя по всему, недальним умом. Он фигурирует в 3-й и 6-й новеллах восьмого дня «Декамерона» Джованни Боккаччо.

Он уже собирался вернуться домой, как услышал на площади шаги. Верзила обрадовался живым людям и подумал:

«Наверное, встречу знакомых, они назовут меня Верзилою, и все объяснится».

При свете смоляных факелов увидел он, что это были городские стражники флорентийского торгового суда. С ними был нотариус и кредитор того самого Маттео, в которого бедный Верзила ни за что не хотел превратиться. Кредитор приступил к Верзиле и сказал нотариусу и стражникам, вооруженным аллебардами:

— Вот мой должник Маттео!.. Держите его!.. Ага, голубчик, наконец-таки попался мне в руки. Небось теперь не убежишь!

Стражники суда и нотариус крепко схватили его за руки и собирались увести.

Тогда Верзила обернул свое бледное, растерянное лицо к тому, кто назвал его своим должником, и воскликнул:

— Я тебя не знаю и никогда не имел с тобою никаких дел. Скажи сейчас же, чтобы они меня отпустили!.. Ты принимаешь меня за другого... Слышишь?.. Ты ответишь перед судом за тяжкое оскорбление, наносимое незнакомому человеку... Я — столяр Верзила, и никакого Маттео знать не знаю, ведать не ведаю!

С этим словами он попробовал освободиться от стражников, ибо обладал большою силою. Но их было много, они держали его крепко за руки и не отпускали. Кредитор подошел к нему вплотную, заглянул прямо в глаза и молвил:

— Как? Тебе нет до меня никакого дела? Неужели я не знаю Маттео, должника моего, и не сумел бы его отличить от столяра Манетто Амманнатини, по прозвищу Верзила?.. Ну, нет, братец, дудки! Этим ты от меня не отвертишься. Долг твой записан в моей счетной книге, и вот уже целый год, как я имею по нашему делу решение торгового суда. Конечно, тебе выгодно отречься и говорить, что ты не Маттео, но теперь ты не выскользнешь, и я заставлю тебя заплатить весь долг до последнего сольдо, и не помогут никакие превращения. Ведите-ка этого оборотня, — мы сейчас увидим, тот ли он, за кого мы его считаем, или кто-нибудь другой!..

Верзила похолодел от ужаса: он вспомнил и черную кошку, и вой собаки, и старую косоглазую нищенку, похожую на ведьму, которая дня два тому назад посмотрела на него «дурным глазом», когда он отогнал ее от порога, не подав милостыни. Звон стоял у него в ушах, сердце билось, как будто твердило ему: «Быть худу, быть худу, ой, смотри, Верзила, быть худу!»

Крича и споря, стражники повели его в торговый суд, и так как время было позднее, то по дороге не встретили ни одного знакомого Манетто. Бедняга был так пристыжен и растерян, что не сообразил, что в такой час, когда добрые люди, поужинав, ложатся спать, в торговом суде не может быть никакого заседания, кроме шуточного. Теперь все казалось ему возможным. Мысли мешались в его голове, и он встряхивался и щипал себя, чтобы проснуться. Но не так-то легко было проснуться: чары проклятой ночи тяготели над ним, мороз пробегал по коже и он думал:

«Чего только на свете не бывает?... Что, если со мною случилось такое несчастье от дурного глаза, и я взял да и обернулся в Маттео?..»

В торговом суде нотариус написал мнимую бумагу о заключении Маттео в долговую тюрьму и сделал вид, что прикладывает к бумаге судебную печать. И его повели в тюрьму.

Верзила вступил в залу с высокими сводами и решетчатыми окнами и увидел многочисленных товарищей по заключению. Одни разговаривали, другие пели, третьи играли в шашки, в карты, в кости при свете оплывших сальных огарков. Иные просто лежали на постелях, наслаждаясь праздностью. Все это был веселый, разбитной народ, как будто стоило только попасть в общество несостоятельных должников, чтобы хлебнуть воды из Леты и сразу освободиться от всех человеческих забот и неприятностей. Один уморительный подвыпивший старикашка, по прозвищу Вислоухий, приплясывал и притоптывал под звуки самодельной скрипицы, ко всеобщему удовольствию, исполняя модную тогда испанскую пляску «равана». Хотя час был поздний, но, по-видимому, спать еще никто не думал, так всем было весело, отрадно на душе.

Увидев входящего Верзилу, они загалдели с единодушным восторгом:

— Новичок, смотрите, братцы, новичок!

Верзиле казалось, что он умер, и душа его попала в ад. Заключенные спросили стражников, как зовут нового товарища, и когда узнали его имя, то загалдели еще громче:

— Доброго вечера, Маттео! Как ты себя чувствуешь, Маттео? За какие добродетели, Маттео, попал ты к нам в царствие Божие?

Так называли они свою тюрьму.

Верзила стоял растерянный, бледный, щурился на свет, беспомощно моргал глазами, улыбался из вежливости и не знал, как отвечать на приветствия. Ему казалось неприличным и даже зазорным отречься от имени Маттео, которое,

по-видимому, крепче пристало к нему, чем колючий репейник к ослиному хвосту. Он решил покориться плачевной участи, разыгрывать роль ненавистного Маттео, и робко, запинаясь и путаясь, объяснил новым товарищам, что попал сюда потому, что не успел вовремя заплатить долга своему кредитору, но что он питает надежду завтра утром освободиться.

Тогда заключенные сказали:

— Ступай ужинать, Маттео. А потом, если у тебя есть дватри сольди, мы испытаем, хорошо ли ты играешь в кости. Ночь проведешь с нами, а утром иди с Богом. Только мы можем сказать тебе по опыту, что утро вечера мудренее и что отсюда выйти не так легко, как оно кажется с первого взгляда.

Когда наступил час отходить ко сну, Вислоухий, который оказался человеком сердобольным, уступил Верзиле часть своей постели.

Потушили огни, все утихло, и раздался ровный, единодушный храп, ибо несостоятельные должники спали сном праведников. Но Верзила всю ночь не мог уснуть и лежал с открытыми глазами. Удушливый мрак июльской ночи опять навалился на него, как тяжелая, черная меховая шуба. Теперь он уже не видел собственного тела, и, обливаясь холодным потом от ужаса и отвращения, чувствовал ясно, как весь с головы до ног, и внутри и снаружи неудержимо превращается в проклятого Маттео. Верзила казался ему другим человеком, отличным от него, как прежде Маттео.

— О, Господи, помоги! — стонал он в отчаянии. — Только бы мне узнать положительно и твердо, кто же я, наконец, Манетто или Маттео? Я не могу, не хочу быть в одно и то же время обоими. Ну, хорошо, положим, я не Верзила, а Маттео, как это ясно из всего, что со мной происходит. Что же, однако, мне в таком случае предпринять? Ведь, если я пошлю домой к моей матери моне Джованне, и Верзила окажется там, у нее, то все надо мною будут смеяться и скажут, что я сошел с ума. А с другой стороны, мне все еще кажется, что я — Верзила.

Так бедный столляр — как говорится — заблудился между двумя соснами.

В темноте, где-то над его головой, муха в паутине однообразно бесконечно ныла и жужжала, все тоньше и жалобнее. И ему иногда казалось, что это не муха, а сердце его ноет, бьется и замирает в паутине, из которой нет выхода.

Наконец стало светать. Верзила не без тайного опасения взглянул на свое тело и увидел с радостью, что оно несколько не изменилось за ночь. Он смотрел внимательно на жили-

стые руки с веснушками, на каждый палец, на каждый волосок и убеждался, что это руки, несомненно, Верзилы, и ноги его, и грудь. Он ощупал на щеке своей родинку, и родинка была Верзилина. Все это его несколько ободрило.

«Может быть, — подумал он, — вместе с окаянною ночью рассеялись и дьявольские чары. Только бы мне увидеть знакомого человека, который знает меня в лицо и скажет всем, что я — Манетто, а не Маттео. Тогда сейчас же все объяснится, и меня выпустят».

Между тем должники проснулись и опять заговорили весело, продолжая называть Верзилу — Маттео, что, впрочем, было не удивительно, так как среди них никто с ним раньше не был знаком.

Он вышел на двор, стал к небольшому окну, проделанному в тюремной двери, и начал смотреть, ожидая с нетерпением, не пройдет ли мимо кто-нибудь из знакомых. К зданию торгового суда, соединенного в те времена с долговою тюрьмою, подошел один знатный флорентийский юноша по имени Джованни ди Мессер Франческо Ручеллаи, который участвовал в шуточном заговоре, составленном Филиппо сире ди Брунеллески. Джованни, хороший знакомый Верзилы, недавно заказал ему резной балдахин из дерева для Пречистой Девы Марии. Еще намерен заходил он в мастерскую столяра, просил поскорее кончить работу, и Верзила обещал, что дня через четыре балдахин будет готов. Проходя к торговому суду по узкому переулку мимо долговой тюрьмы, Джованни взглянул в окошко и увидел столяра лицом к лицу. Верзила тоже посмотрел и рассмеялся: тогда Джованни с удивлением, как будто прежде никогда его не видывал, произнес:

— Чего ты смеешься, любезный?

— Так себе смеюсь, ваша милость, — молвил добродушный Верзила, надеясь, что Джованни сейчас его узнает. — Скажите мне, пожалуйста, не знаете ли вы некоего столяра Верзилу, его мастерская на площади Сан-Джованни.

— О, да, — ответил Джованни, — я его знаю. Мы с ним друзья, и я сейчас отсюда иду в его боттегу, чтобы поговорить насчет одного заказа.

Когда Верзила услышал эти слова, увидел, что Джованни смотрит ему в лицо и не думает узнавать, то сердце у него так и екнуло, ибо он понял, что и при свете дня злые чары продолжают действовать и отнюдь не рассеиваются, как он сперва надеялся. Мало было ему радости в том, что самому себе казался он прежним Верзилою, если лучшие друзья все-таки принимали его за другого.

— Не окажете ли вы мне одной услуги, мессер? — продолжал Верзила вежливо, преодолев смущение. — Вы ведь сейчас идете в мастерскую Манетто; передайте же ему, что здесь, в долговой тюрьме, находится один из старых друзей его, что он просит Манетто забежать сюда на минутку, чтобы переговорить о важном деле.

Джованни еще раз пристально посмотрел в лицо Верзиле, едва удерживаясь от хохота.

— Хорошо, я с удовольствием исполню вашу просьбу, — молвил он и пошел по своим делам.

А Верзила остался у тюремного окна и, едва не плача, говорил себе так:

— Конечно, теперь не может быть никакого сомнения: я превратился в Маттео. О, да будет проклят день рождения моего! Ежели я открою то, что со мною произошло, люди назовут меня глупцом, уличные мальчишки будут указывать на меня пальцами. А если промолчу, то могут произойти еще тысячи недоразумений таких же, как вчера вечером, когда меня задержали... И в том и в другом случае будет мне плохо... Посмотрим, однако, придет ли сюда Верзила... Ежели придет, то я расскажу ему все, и увидим, что значит эта притча.

Он прождал у ворот еще некоторое время; но, убедившись, что надежда его тщетна, с тяжелым вздохом отошел, уступил окно другому заключенному и стал в унынии бродить взад и вперед по мощеному тюремному двору.

В числе несостоятельных должников в тюрьме находился старый, почтенный человек по имени Паоло ди Сайта Кроче, бывший судья, опытный легист, славившийся глубокою ученостью по многим отраслям человеческого знания, главным же образом — по церковному и гражданскому праву. Паоло раньше не был знаком с Верзилой, но, видя его мрачным, постоянно вздыхающим, погруженным в раздумье, вообразил, что бедняга сокрушается о долгах, и пожелал несколько утешить его:

— Ты так горюешь, Маттео, — молвил он, — как будто дело идет о твоей жизни, а между тем, судя по тому, что я слышал, — долг твой ничтожный. В несчастиях никогда не следует терять присутствие духа. Отчего ты не пошлешь за кем-нибудь из друзей своих или родственников и не попробуешь заплатить кредитору, или, по крайней мере, войти с ним в соглашение, чтобы тебя выпустили на волю, и чтобы тебе совсем не впасть в отчаяние?

Когда Верзила услышал, с какой добротой утешает его судья, то решился открыть ему свое горе. Он отвел ученого мужа в сторону, в дальний угол двора, где никто не мог их слышать,

и здесь, то и дело боязливо оглядываясь, обратился к нему с таинственным видом.

— Хотя вы не знаете меня, досточтимый синьор, я, однако, слышал о вас и знаю, что вы — человек ученый и благородный. А потому я решил открыть вам причину моей горести. Не думайте, пожалуйста, что меня сокрушает забота о каком-нибудь пустячном долге, о, нет! Тут, видите ли, дело иного рода...

И, обливаясь слезами, как ребенок, рассказал он ему с начала до конца все, что с ним произошло со вчерашнего вечера, и заключил свою необыкновенную исповедь двумя просьбами: во-первых, чтобы Паоло ни с кем не говорил о его признании, во-вторых, чтобы он дал ему какой-либо добрый совет или оказал помощь.

— Я знаю, — прибавил Верзила, — что вы целые годы изучали право в Болонском университете и прочли множество книг, в которых рассказывается о всяких чудесах и приключениях. Скажите же мне на милость, случалось ли вам читать во всех этих книгах о чем-либо подобном?

Бедный Верзила, ожидая ответа, смотрел на старого законоведа широко открытыми, недоумевающими глазами, полными слез и надежд. Паоло, услышав его признание и обдумав все про себя, пришел к тому заключению, что надо допустить одно из двух: или что он имеет дело с помешанным, или что все это (как оно и было на самом деле) злая флорентийская шутка. И в том и в другом случае судья считал благоразумным не противоречить Верзиле, а потому немедленно ответил, что неоднократно читал в старых книгах о подобных превращениях одного человека в другого, и что это случай обыкновенный.

— Собственными глазами, — прибавил он, — видел я однажды романьольского поселянина, с которым приключилась точь-в-точь такая же неприятная история, как с тобою.

Верзила побледнел и не находил, что ответить.

— Божественный Гомер, — продолжал ученый невозмутимо, — рассказывает о таком же превращении спутников Улисса и многих других, которых очаровала колдунья Цирцея. По знаменитой поэме латинского поэта Овидия Назона о «Метаморфозах» видно, с какою необычайною легкостью люди превращаются не только в зверей и в растения, но и в неодушевленные предметы, как, например, — в скалы, планеты, реки и тому подобное.

Верзила слушал, выпучив глаза, открыв рот, затаив дыхание, и можно было подумать, что с ним начинается Овидиева метаморфоза, и он сейчас превратится в дерево или статую.

— Впрочем, ты не предавайся безмерному отчаянию, — успокаивал Паоло беднягу, — судя по тому, что я слышал и читал, если только память мне не изменяет, случается иногда, что потерпевший метаморфозу возвращается в прежний образ. Но, конечно, довольно редко, и тем меньше надежды, чем дольше пребывает он в своей новой оболочке.

— Скажите, пожалуйста, — полюбопытствовал Верзила, — ежели я превратился в Маттео, то что же случилось с ним, со старым Маттео?

— Несомненно, — ответил ученый, — Маттео превратился в Верзилу.

— Ну, хорошо, — молвил столяр, — мне, однако, было бы интересно увидеть, каков-то этот новый Верзила.

Среди таких разговоров наступило послеобеденное время. Двое братьев Маттео пришли в долговую тюрьму и спросили нотариуса-казначея, не находится ли в заключении их брат по имени Маттео, и как велик долг, за который его задержали, ибо они, мол, его братья и желают заплатить, чтобы Маттео выпустили на свободу. Нотариус, участвовавший в заговоре, так как он был закадычным другом Томмазо де Пекори, ответил, что, действительно, Маттео находится в тюрьме, сделал вид, что перелистывает тюремные книги, и сказал:

— Он посажен в долговую тюрьму за такую-то и такую-то сумму, по требованию такого-то и такого-то кредитора.

Все это Верзила слышал и видел со двора.

— Мы желали бы, — сказали братья, — поговорить с Маттео, а потом доставить деньги.

И, подойдя к тюрьме, попросили одного из заключенных, который смотрел в окошко:

— Будь добр, скажи Маттео, что пришли братья, чтобы освободить его из тюрьмы. Мы желали бы с ним переговорить.

И, взглянув в окошко, они узнали судью Паоло ди Санта Кроче, который беседовал с Верзилою. Услышав, что его спрашивают братья, он спросил законоведа, что случилось с его романьольским поселянином, и когда Паоло сказал, что превращенный уже никогда не возвращался к своему первоначальному виду, то Верзила еще более опечалился, подошел к решетке и поздоровался с гостями.

Старший из братьев молвил так:

— Ты помнишь, Маттео, как часто мы советовали тебе бросить дурную жизнь, которая, несомненно, приведет и тело, и душу твою к гибели. Бывало, то и дело предостерегали

мы тебя: «Ой, смотри, Маттео, что ни день, навязываешь ты себе на шею все новые и новые долги, сегодня с одним, завтра с другим, никому не платишь, и вследствие безумных трат, до коих доводит тебя игра и другие скверные пороки, у тебя нет в кармане ни одного сольдо». Видишь, любезный, то, что мы предсказывали, исполнилось. Кредиторы упрятали тебя в долговую тюрьму... Легко ли это нам, братьям... А? Какое пятно для честного нашего имени... Слушай, вот мы говорим в последний раз, Маттео, и ты хорошенько заруби себе это на носу: на гадкие прихоти ты уже расточил целое сокровище, а потому, если бы не заботы о нашем добром имени и о твоей бедной матери, которая молит за тебя и не дает нам покоя, мы оставили бы тебя здесь покорпеть, чтобы ты несколько пришел в себя и опомнился. Но уже так и быть, еще на этот раз мы тебя освободим и уплатим долг: но смотри, ежели ты опять сюда попадешь, то придется посидеть здесь дольше, чем хочется. Пока об этом довольно. Мы придем за тобой сегодня вечером к Ave Maria, в сумерки, когда на улицах мало народу, для того чтобы какие-нибудь знакомые не увидели нас в тюрьме и чтобы не было лишних свидетелей нашего стыда, и нам не пришлось еще более краснеть за тебя.

Верзила сделал вид раскаявшегося грешника, ответил им благоразумными словами и торжественно обещал исправиться, изменить жизнь и отказаться от гадких расточительных привычек, чтобы более не причинять такого стыда их честному дому. Он умолял их ради Христа не покидать его в долговой тюрьме и прийти в условленный час. Они повторили обещание и удалились, а Верзила отошел в сторону и молвил так законоведу:

— Все более удивительные вещи происходят со мною, мессер Паоло: только что были здесь двое братьев того самого Маттео, за которого меня все принимают, говорили со мною, как с Маттео, и прочли мне целое нравоучение, пообещав сегодня в сумерки, к Ave Maria, прийти сюда и освободить меня. Но вот вопрос, — прибавил он в горьком недоумении, — если меня отсюда выпустят, куда же я денусь? В мой дом я уже не могу вернуться, ибо там живет Верзила, и начни я только с ним объясняться, — меня непременно сочтут за помешанного и подымут на смех, ибо я ведь знаю, какой бедовый народ флорентинцы. С ними надо держать ухо востро. А с другой стороны, мне теперь кажется несомненным, что Верзила живет в моем доме, у Санта-Репарата, ибо если бы его там не было, то, конечно, моя матушка стала бы меня всюду искать и только потому, что видит Верзилу, не замечает она своей горестной ошибки.

Паоло с трудом удержался от смеха, и эта великолепная, истинно флорентийская шутка, в которой он узнавал руку большого мастера, каким и был на самом деле строитель Филиппо сире ди Брунеллески, доставила ему немалую утеху.

— Не ходи в свой дом, — посоветовал он Верзиле, — ступай за теми, которые считают себя твоими братьями. Слушайся их и делай, что они тебе скажут. Уж если, брат, на то пошло, то теперь главное — окончательно и, так сказать, чисто-начисто превратиться в Маттео, чтобы в тебе от Верзилы и духу не осталось.

Верзила покорно, но тяжело вздохнул: ему было жаль себя, как-никак, а он все-таки любил Верзилу: ему казалось, что этот новый столяр Манетто ни за что не кончит как следует начатого херувима в раме из черного дерева и, пожалуй, перепортит всю работу. Он готов был плакать от грустной нежности к старому Верзиле.

Наступил вечер, пришли братья Маттео и сделали вид, что удовлетворяют кредитора, уплачивают тюремной кассе и получают расписку. Тогда нотариус встал, взял связку ключей, подошел к двери и спросил в окно:

— Кто из вас Маттео?

Верзила выступил вперед и произнес:

— С вашего позволения, мессер, я самый и есть Маттео...

Нотариус посмотрел на него пристально и сказал:

— Вот эти твои братья уплатили долг: ты свободен, Маттео.

И он открыл ворота тюрьмы, выпустил Верзилу и молвил:

— Ступай с Богом!

Так как было уже темно, то мнимые братья поскорее повели его в свой дом у Санта-Феличита, в переулке, как раз там, где подъем в Сан-Джоржо. Они вошли с ним в комнату нижнего этажа, вровень с землей, и сказали:

— Посиди-ка здесь до ужина, Маттео.

И притворились, что делают так, не желая пускать сына на глаза больной матери, чтобы не расстраивать ее на ночь.

Один из братьев остался посидеть с Верзилою, а другой тем временем пошел к приходскому священнику Санта-Феличита, их духовному отцу, который был немного простоват, но человек прекрасный. И брат сказал ему так:

— Я прихожу к вашей милости с полным доверием, как это водится между добрыми соседями. Надо вам сказать, что нас у матери трое братьев, из которых одного зовут Маттео. За некоторые неуплаченные долги посадили этого самого Маттео в тюрьму, и заключение, должно быть, так сильно подействовало

на него, что мы боимся, не сошел ли он с ума. Впрочем, у него только одно больное место, а во всем остальном он еще прежний Маттео: он, видите ли, вообразил, что превратился в другого человека, и ни за что не хочет отказаться от этой нелепой мысли. Слыхали ли вы когда-нибудь о такой странной выдумке? Маттео утверждает, что он более не Маттео, а столяр Верзила, у которого боттега на площади с церковью Сан-Джованни, а дом недалеко от Санта-Мария дель Фьоре. И в этом мы не могли его разубедить никакими доводами, а потому поспешили взять из тюрьмы, привели домой, посадили в отдельную комнату, чтобы по городу не начали говорить о сумасшествии, тем более что он еще, может быть, и придет в себя, ибо вы ведь знаете, кто раз по этой дорожке прошелся, на того потом всегда смотрят как-то косо, если даже к нему и вернется рассудок. Кроме того, мы не хотели бы, чтобы наша мать узнала о его помешательстве: из этого могут выйти неприятности. Женщины так легко пугаются, она же старая и больная. А потому и решили мы просить вашу милость — из сострадания к нам зайти в наш дом, чтобы поговорить с братом и попробовать, нельзя ли как-нибудь разубедить его в этой нелепой мысли. За услугу были бы мы вам по гроб благодарны.

Священник как человек добрый охотно согласился, ответил, что, поговорив с Маттео, сейчас увидит, в чем тут дело, и представит ему такие ясные доводы, что с Божией помощью надеется вытащить этот гвоздь, как бы крепко он ни засел в его голове. Тогда брат Маттео привел его к себе в дом и вошел с ним в ту комнату, где находился Верзила. Когда Верзила, погруженный в свои мрачные мысли, увидел входящих, то сейчас же встал, а священник молвил:

— Доброй ночи, Маттео!

— И вам также доброй ночи, — ответил Верзила. — Что скажете, отец?

— Я пришел, любезный Маттео, чтобы кое о чем поговорить с тобой.

Священник сел и сказал Верзиле:

— Сядь-ка вот здесь, рядом со мною, и я тебе скажу, какая у меня к тебе надобность.

Верзила, чтобы не противоречить, уселся рядом, и священник начал так свое увещание.

— Причина, по которой я сюда пришел, Маттео, есть одно дело, весьма меня огорчающее. Судя по тому, что я слышал, намерении тебя посадили в тюрьму за долги и, говорят, ты так принял это к сердцу, что легко можешь лишиться рассудка.

Между прочими глупостями, которые ты делал или делаешь, ты утверждаешь, что ты уже более не Маттео, а другой человек, некий столярных дел мастер, по прозвищу Верзила. Не похвально, сын мой, весьма не похвально, что из-за ничтожной неприятности допустил ты в сердце свое такое безмерное отчаяние, которое сделает тебя, вследствие твоего упрямства и неразумия, жалким посмешищем людей. И все из-за каких-то шести дукатов... Ну, стоит ли, почтенный, так сокрушаться? Тем более, что они уже уплачены!

Священник ласково пожал ему руку и продолжал так:

— Любезный Маттео, злого я тебе не посоветую: оставь-ка ты эту прихоть, говорю тебе, как родному сыну: обещай мне, что отныне ты уже не станешь возвращаться к своим глупостям и опять примешься за обычные дела, как подобает человеку здравомыслящему и как поступают прочие люди, чем ты доставишь великое утешение братьям своим, мне и каждому, кто только желает вам доброго. Разве этот Верзила такой удивительный мастер, что ли, или такой богач, что ты лучше хочешь быть им, чем собою? Ну, какая тебе в этом корысть? Допустив даже, что он — человек достойный и богаче твоего, — а ведь это не так, судя по тому, что я слышал от твоих братьев, — утверждая, что ты в него превратился, ты тем самым не приобретаешь ни его достоинств, ни его денег. А между тем, если в городе узнают, что ты сошел с ума, то уже, конечно, ты — человек погибший: хотя бы потом и выздоровел, и сделался мудрее царя Соломона, все-таки люди будут говорить, что ты помешанный. Короче сказать, опомнись, будь человеком, а не скотом, и брось все эти пустяки свои — убедительно прошу тебя об этом. Какой там Верзила или не Верзила? Послушайся меня, тебе же будет лучше!

И старик смотрел ему в глаза с отеческою добротою. Когда Верзила услышал совет, хорошенько взвесил в уме своем и обдумал каждое слово священника, то уже более не сомневался, что он — Маттео, и, не размышляя, ответил, что готов сделать все, чтобы быть приятным священнику, который, как это он ясно видит, заботится о его благе. Он обещал употребить все силы, чтобы более не допускать в свой ум мысли, что он — не он, то есть не Маттео, и чтобы окончательно выбить Верзилу так, как будто его никогда не существовало. Но вместе с тем он просит как о единственной милости, если это возможно, в последний раз поговорить с Верзилою, чтобы уж совсем убедиться.

— Это принесло бы тебе более вреда, чем пользы, — возразил священник. — Я вижу, что эта нелепая мысль все еще

не вышла из твоей головы. Ну посуди сам, для чего тебе говорить с Верзилою? Какие такие у тебя с ним могут быть дела? Чем больше ты будешь говорить, чем больше будет свидетелей твоего безумия, тем больший позор ты навлечешь на своих братьев.

Так убеждал он Верзилу, пока, наконец, тот не согласился и не отказался от своего желания переговорить в последний раз с Верзилою. Тогда священник вышел и рассказал братьям, как он убедил Маттео и как тот обещал ему не настаивать более на своей нелепой мысли. Затем он попрощался с ним и пошел домой. Один из братьев, пожимая ему руку, вложил в нее серебряный гроссо для того, чтобы сделать все это еще более вероятным. Тем временем, пока священник убеждал Верзилу, в дом потихоньку вошел Филиппо ди сире Брунеллески, и в отдаленной комнате среди бесконечного смеха и веселья братья рассказали ему, как привели Верзилу из тюрьмы, что говорили ему по дороге, и все прочее. Филиппо налил большой кубок вина, подсыпал в него снотворного порошка и сказал одному из братьев:

— Надо, чтобы Верзила во время ужина выпил это вино — напиток безвредный, от которого он уснет так крепко, что не почувствует в течение двух часов, если бы его стали сечь розгами. Часам к пяти я снова наведаюсь, и мы тогда устроим все.

Братья вернулись в комнату Верзилы и сели за ужин, когда уже прошел третий час по закате солнца. Во время ужина поднесли ему усыпительного напитка так ловко, что он не заметил, как проглотил его. Скоро лекарство начало действовать, и Верзила с большим трудом держал глаза открытыми — так хотелось ему спать.

Тогда братья сказали ему:

— Маттео, ты, кажется, падаешь от усталости. Должно быть, эту ночь ты плохо спал?

Они угадали верно.

— Признаюсь, — молвил Верзила, — мне никогда во всю мою жизнь не хотелось так спать. Кажется, как будто я целых два месяца не спал. Лягу-ка я в постель...

Он начал раздеваться, но едва имел силу снять обувь и броситься в постель, как тотчас же захрапел. В условленный час вернулся Филиппо ди сире Брунеллески с шестью товарищами и вошел в комнату, где спал Верзила. Они потихоньку взяли его, положили на носилки вместе со всеми одеждами и отнесли в дом его, который стоял совершенно пустым, так как мать еще не возвращалась из имения. Здесь уложили его в кровать, ря-

дом бросили платье на то место, на которое он обыкновенно его клал, но самого Верзилу повернули головой туда, где должны были находиться его ноги. Потом взяли ключи от боттеги, которые висели на крючке в спальне, отперли лавку, вошли в нее, перемешали, перепутали все его столярные инструменты, повынимали из плотничьих стругов все железные языки, вложили их, повернув острыми концами вверх, а толстыми вниз. То же самое проделали они со всеми молотками и топорами и во всей мастерской произвели такой беспорядок, такую путаницу, как будто здесь перебивалось сто тысяч дьяволов. Потом опять заперли лавку, отнесли ключи на прежнее место в спальню, заперли и там двери, вернулись домой и легли спать. Верзила, одурманенный снотворным зельем, проспал всю ночь, ни разу не просыпаясь. На следующее утро к часу Ave Maria в соборе Санта-Мария дель Фьоре кончилось действие усыпляющего напитка: он проснулся, открыл глаза и при свете солнца, проникавшего в окна, узнал собственную спальню, мало-помалу стал припоминать все, что с ним приключилось, и когда понял, что он опять в своем доме, на своей постели, то великое изумление и радость овладели им. Припомнил он также священника и дом Маттео, где он вчера уснул, и вдруг на него напало сильное сомнение, тогда ли ему это снилось, или теперь. Правдою казалось ему то одно, то другое; сон сливался с действительностью, проникал в нее, смешивался, и невозможно было провести границы между тем, что было, и тем, что снилось.

За ночь прошла гроза. Воздух освежился. Голубое небо виднелось в окнах, такое нежное и радостное, что Верзила, несмотря на все свои сомнения, почувствовал веселье. Он соскочил с постели, оделся, взял ключи боттеги, побежал туда, отпер и увидел мастерскую в беспорядке, все железные инструменты перевернутыми и перепутанными, чему весьма подивился. Мало-помалу привел он все в порядок, поправил и положил на обычное место. В это время в боттегу вошли двое братьев Маттео, и один из них сказал Верзиле так, как будто раньше никогда его не видел:

— Доброго утра, маэстро.

Верзила обернулся, узнал их, покраснел, но тотчас же ответил:

— Доброго утра и доброго года. С чем приходите, господа?

Тогда один из братьев молвил:

— Я сейчас объясню тебе все. Есть у нас брат по имени Маттео, намереваясь его посадили в долговую тюрьму, и от горя он едва не сошел с ума. Между прочим, утверждает, что он

уже более не Маттео, а хозяин этой мастерской, которого зовут Верзилю. Мы его всячески уговаривали образумиться и вчера вечером привели к нему приходского священника, которому Маттео обещал отказаться от своей нелепой выдумки, так что, чувствуя себя недурно и поужинав, он при нас лег спать. Но сегодня утром он незаметно убежал, никто не знает куда. Вот почему мы и пришли в эту лавку, чтобы проведать, не заходил ли он сюда, или, по крайней мере, не может ли Верзила что-нибудь сообщить нам о нем.

При этих словах у бедного Верзилы в глазах потемнело, холодный пот выступил на теле.

— Я не понимаю, о чем вы говорите, — возразил он дрожащим голосом, — и чего вам от меня нужно. Никакого Маттео здесь не было, и ежели он, в самом деле, выдает себя за меня, то с его стороны это большая наглость. Клянусь спасением души моей, если только когда-нибудь я с ним повстречаюсь, то спина его придется испытывать Верзилиных кулаков, и тогда мы увидим достоверно, я ли — он, или он — я. Что это еще за чертовщина происходит в последние дни, от которой нельзя никуда деваться?

С этими словами он схватил плащ, яростно захлопнул двери боттеги, повернул спину двум братьям, корчившимся от безмолвного хохота, и большими шагами, все время грозя и ворча себе под нос, направился в собор Санта-Мария дель Фьоре.

Здесь он начал ходить взад и вперед, как разъяренный лев, — так был озлоблен всем, что с ним происходило. Туда же в собор зашел случайно товарищ его, который вместе с Манетто учился столярному и токарному ремеслу у знаменитого маэстро Пеллегрино в Терма. Этот молодой человек несколько лет тому назад уехал из Флоренции, переселился в Венгрию и здесь стал получать много заказов благодаря покровительству другого флорентинца — Филиппо Сколари, который в то время был главным военачальником в армии Сигизмунда, сына чешского короля Карла. Этот Филиппо Сколари благосклонно принимал всех приезжих флорентинцев, которые отличались знаниями или искусством, и оказывал им всяческую помощь, так как был человеком великодушным, любил земляков своих и заслуживал их любовь, оказывая им многие благодеяния.

В то время приехал во Флоренцию столяр, товарищ Верзилы, поселившийся в Венгрии, рассчитывая найти и взять с собой какого-нибудь флорентийского мастера, который помогал бы ему в работе, так как он имел столько заказов в Венгрии, что уже не мог один справиться. Неоднократно приглашал он

Верзилу, объясняя ему, как легко им было бы за несколько лет разбогатеть в этой стране.

Увидев его в соборе, Верзила сказал:

— Ты уже много раз приглашал меня поехать в Венгрию, но я отказывался. Теперь, вследствие одного странного приключения и некоторых несогласий с моею матерью, я окончательно решил принять твое предложение, если, впрочем, ты еще по-прежнему желаешь меня взять с собою. Мне хотелось бы уехать завтра же утром, ибо в случае замедления что-нибудь снова могло бы мне помешать.

Молодой человек ответил, что он весьма рад, но завтра утром не может выехать, так как у него есть еще некоторые дела во Флоренции, но ничто не мешает Верзиле завтра же отправиться в Болонью и подождать его там, куда и он подоспеет через несколько дней. Верзила согласился, и они ударили по рукам. Маннето вернулся в боттегу, взял свои инструменты, некоторые мелочи, которые удобно было увезти с собою, пошел в предместье — «борго» Сан-Лоренцо, нанял лошадь и на следующее утро направился в Болонью, оставив письмо своей матери, в котором заключалось, что она может взять себе в подарок все, что есть в его мастерской, и продать, чтобы выручить деньги, и что он, побуждаемый большою неминуемой опасностью, грозящею ему в родном городе, на некоторое время уезжает в Венгрию.

Так Верзила уехал из Флоренции, дождался в Болонье своего товарища и вместе с ним отправился в Венгрию, где их дела так хорошо устроились, что через три-четыре года, благодаря покровительству названного Филиппо Сколари, они разбогатели.

Впоследствии Верзила, женившись на красивой венгерке, достигнув славы и преуспевания, вполне довольный своею судьбою, вернулся во Флоренцию, которую он все-таки любил с нежностью, как родную мать, и считал прекраснейшим городом в мире, и зажил здесь припеваючи. Он навсегда излечился от припадков черной меланхолии, и однажды, в беседе с Филиппо сире ди Брунеллески, когда тот расспрашивал его, по какой причине он переселился в Венгрию, Верзила откровенно и подробно рассказал ему о своем чудесном превращении.

СВЯТОЙ САТИР

Флорентинская легенда

Из А. Франса

Consors paterni luminis,
Lux ipse lucis et dies,
Noctem canendo rumpimus,
Assiste postulantis;
Aufer tenebras mentium;
Fuga catervas daemonium;
Expelle somnolentiam,
Ne pigritantes obruat.

*(Breviarium romanum.
Feria tertia; ad
matutinum)*¹

Фра Мино превосходил смирением своих братьев и, несмотря на молодость, мудро управлял обителью Санта Фьоре. Он был набожен, любил предаваться долгим созерцаниям и молитвам. Иногда бывали у него экстазы. Подобно святому Франциску, своему духовному отцу, сочинял он песни на языке простонародном о совершенной любви, которая есть любовь к Богу. И эти гимны не погрешали ни против размера, ни против смысла, потому что он учился семи «*artes liberales*»² в Болонском университете.

¹ Сопричастный Отцовскому свету.

Сам светоч света и дня,
Прогоняем ночь, воспевая Тебя,
Предстань перед просящими,
Унеси мрак лжи;
Изгони полчища бесов,
Прогони праздность,
Дабы не одолела она ленивых.

*(Римский молитвенник.
Праздник третий.
Утренняя молитва)*

² Свободным искусствам (лат.).

Однажды вечером, гуляя под аркадами монастыря, Мино вдруг почувствовал, как его сердце наполнилось смятением и печалью при воспоминании об одной флорентинской даме, которую он некогда любил в цвете первой юности, когда одеяние св. Франциска еще не охраняло его плоти. Он обратился к Богу с молитвой, прося отогнать грешный образ. Но сердце его осталось печальным.

«Колокола, — подумал он, — поют, как ангелы: Ave Maria; но голос их умирает в вечернем тумане. На стене монастыря художник, которым прославился город Перуджа, изобразил искусно святых Жен Мироносиц, созерцающих с несказанною любовью Гроб Спасителя. Но сумерки застилают их слезы, заглушают их плач, и я не могу рыдать вместе с ними. Этот колодец посреди двора только что был покрыт голубями, прилетевшими напиться, но они улетели, не найдя воды в углублениях каменной ограды. И моя душа, о Господи, безмолвствует, подобно колоколам, омрачается, подобно Женам Мироносицам, иссыхает, подобно колодцу. Зачем же, Иисусе сладчайший, сердце мое так сухо, мрачно и немо, когда Ты для него — и заря, и пение птиц, и ключ живой воды?»

Он убоился вернуться в келью, и, думая, что молитва рассеет печаль и успокоит тревогу, вошел через дверь монастыря в общую церковь. Немой мрак наполнял здание, построенное великим Маргаритоном более ста пятидесяти лет тому назад на развалинах древнего римского капища. Фра Мино, пройдя церковь, стал на колени в часовне алтаря, посвященной Архангелу Михаилу, чье повествование изображено было на стене. Но тусклый свет лампы, подвешенной к своду, не позволял видеть Архангела, сражающегося с дьяволом и взвешивающего на весах души людей. Только луна, сияя в окно, озаряла бледным лучом гробницу св. Сатира, которая находилась под аркадой, справа от алтаря. Эта гробница, продолговатая и круглая, наподобие чана, была более древней, чем церковь, и во всем походила на языческие саркофаги, за исключением креста, который высечен был трижды на ее мраморных стенах.

Фра Мино долго лежал, простертый ниц перед алтарем, но не мог молиться и в середине ночи почувствовал, что им овладевает то оцепенение, которое удручало Христовых учеников в саду Гефсиманском. И между тем, как он лежал, недвижимый, лишенный всякого мужества и бдительности, он увидел как бы некое белое облако, подымавшееся над гробом св. Сатира, и скоро заметил, что это большое облако состояло из множества меньших, и каждое из них было женщиной. Они реяли в темном

воздухе; сквозь легкие туники блистали легкие тела; среди них были козлоногие юноши, которые преследовали женщин. В наго-те их видна была страшная необузданность желаний. Но нимфы убегали, и под их быстрыми шагами рождались цветущие луга и ручьи. И каждый раз, как юноша с козлиными ногами протягивал руку, чтобы схватить одну из них, вдруг вырастала ива и скрывала нимфу в дупле, глубоком и черном, как пещера, и белокурая листва наполнялась легким шелестом и насмешливым хохотом.

Как все женщины спрятались в ивах, то козлоногие, усевшись на траве, стали играть на тростниковых дудках, извлекая такие звуки, которые могли бы повергнуть в смущение всякую тварь. Нимфы, очарованные музыкой, выставляли головы из ветвей и, мало-помалу покидая тенистые убежища, приблизились, привлекаемые непобедимою свирелью. Тогда люди-козлы бросились на них со священной яростью. В объятиях дерзких юношей нимфы еще одно мгновение пытались шутить и смеяться, потом смех умолк. Закинув голову, с глазами, мутными от блаженства и ужаса, они призывали своих матерей или кричали: «Я умираю!» или сохраняли грозное молчание.

Фра Мино хотел отвернуть лицо свое, но не мог, и против воли глаза его остались открытыми.

А нимфы, обвивая руками чресла козлоногих, кусали, ласкали, раздражали косматых любовников и, предаваясь им, обливали, обливали их своею плотью, более волнующейся и живою, чем вода ручья, который у ног их струился под ивами.

При таком зрелище фра Мино намерением и мыслями впал в грех. И пожелал он быть одним из демонов — полулюдей, полужверей, чтобы держать, подобно им, на своей груди флорентийскую даму, которую он некогда любил, в цвете своей юности, и которая умерла.

Но люди-козлы уже рассеялись в полях. Одни собирали мед в дуплистых дубах, другие делали из тростника свирели или, с разбега прыгая один на другого, стукались рогатыми лбами. И неподвижные тела нимф, нежные останки любви, покрывали весь луг. Фра Мино стонал, лежа на каменных плитах, потому что желание было в нем так сильно, что теперь он уже чувствовал весь стыд греха.

Вдруг одна из нимф, случайно обернувшись в его сторону, закричала:

— Человек! Человек!

И пальцем указала на него подругам.

— Посмотрите, сестры, ведь это — не пастух. У него нет тростниковой свирели. Он и не хозяин одного из окрестных

владений, чьи крохотные сады, повисшие на склоне холмов над виноградниками, охраняются богом Приапом, выточенным из букового дерева. Что же он делает среди нас, если он не пастух, не погонщик быков, не садовник? Он имеет вид мрачный и суровый, и я не замечаю в его взорах любви к богам и богиням, населяющим великое небо, и леса, и горы. На нем одежда варваров. Может быть, это — скиф. Приближмся к чужестранцу и узнаем, не пришел ли он к нам, как враг, чтобы возмутить наши источники, срубить наши деревья, проникнуть в недра гор, открывая жестоким людям тайну наших блаженных обитателей. Пойдем, Мнаис, пойдем, Эгле, Нэра и Мелибея!

— Пойдем, — отвечала Мнаис, — с оружием!

— Пойдем! — воскликнули все вместе.

И фра Мино увидел, что, поднявшись, они начали срывать и собирать розы пригоршнями и приблизились к нему, вооруженные розами и шипами. Но расстояние, отделявшее их и казавшееся ему сперва таким ничтожным, что, по-видимому, он мог прикоснуться к ним и чувствовать на своем теле их дыхание, вдруг стало увеличиваться, и ему показалось, что они идут как из далекого леса. И угрозы вылетали из их цветущих уст. И по мере того, как они подходили, перемена совершалась в них. И с каждым шагом теряли они частицу своей прелести и своего блеска, и цвет их юности увядал так же, как розы, которые они держали в руках. Сначала глаза впали, углы губ опустились. Шея, недавно чистая и белая, покрылась глубокими складками, и пряди седых волос упали на морщинистый лоб. Они подходили, и веки глаз краснели, и губы, втягиваясь, морщились на беззубых деснах. Они подходили, держа сухие розы в руках, почернелых и узловатых, как старые лозы, сжигаемые поселянами Кьянти в зимние ночи на кострах. Они подходили с трясущейся головой, прихрамывая на дряхлых ногах.

Достигнув того места, где фра Мино оцепенел от ужаса, они окончательно превратились в страшных ведьм, лысых и бородатых, с носом до подбородка, с пустыми и повисшими сосцами. Они столпились над ним:

— О, какой хорошенький! — молвила одна, — он бледен как полотно, и сердечко бьется у него, как у зайца, затравленного гончими. Эгле, сестрица, что же нам делать с ним?

— Милая Нэра, — отвечала Эгле, — следует разорвать ему грудь, вынуть сердце и вложить губку.

— Нет, нет! — сказала Мелибея, — это было бы слишком жестокое наказание за любопытство и удовольствие подсма-

тривать наши игры. На этот раз не будем так строги. Посечем его только розгами.

И тотчас, окружив монаха, сестры засучили ему одежду на голову и стали сечь связками колючих шипов, оставшихся у них в руках.

Нэера дала им знак остановиться, когда показалась кровь.

— Довольно! — сказала она, — это — мой милый! Я только что заметила, как он посмотрел на меня с нежностью.

Она улыбалась: такой длинный и черный зуб выставила изо рта, что он щекотал ей ноздри. Она шептала:

— Приди ко мне, Адонис!

Потом вдруг с бешенством:

— Что это? Не хочет? Он холоден? Какая обида! Он презирает меня. Сестры, отомстите! Мнаис, Эгле, Мелибея, отомстите за вашу подругу!

При этом воззвании все подняли колючие розги и стали сечь несчастного фра Мино так жестоко, что скоро тело его превратилось в сплошную язву. Они останавливались на мгновение, чтобы откашляться и плюнуть, и потом опять, с еще большим усердием, принимались бить его. Перестали, только совсем выбившись из сил.

Тогда Нэера сказала:

— Надеюсь, в следующий раз он не окажет мне незаслуженного презрения, от которого я до сих пор краснею. Поощадим ему жизнь. Но если он откроет тайну наших игр и наслаждений, мы умертвим его. До свидания, красавчик.

Молвив так, старуха присела над монахом и облила его зловонною жидкостью. Все подруги поочередно сделали то же, потом вернулись одна за другою к гробнице св. Сатира и проникли в нее сквозь узкую щель крышки, покинув жертву, распростертую в зловонной луже.

Когда исчезла последняя, петух пропел. Фра Мино очнулся и встал. Разбитый усталостью и болью, оцепенелый от холода, дрожа в лихорадке, полузадушенный отвратительным запахом он поправил одежду и доплелся до своей кельи на рассвете.

С этой ночи фра Мино не находил нигде покоя. Воспоминание о том, что ему довелось видеть в часовне Сан-Микеле, над гробом святого Сатира, смущало его среди служб церковных и благочестивых занятий. Объятый трепетом, сопровождал он своим братьям, когда они вступали в храм. И между тем, как по правилам он должен был целовать каменные плиты в часовне, губы его чувствовали с ужасом следы нимф, и он шептал: «Спаситель, или не слышишь Ты, что я говорю Тебе, как Ты Сам

говорил Отцу Своему: Не введи нас во искушение!» Сначала думал он послать владыке-епископу отчет обо всем виденном. Но, по зрелом размышлении, счел за лучшее сперва самому на досуге рассудить о необычайных явлениях и поведать их миру, обследовав все в точности. К тому же случилось тогда, что владыка-епископ, вступив в союз с гвельфами Пизы против гибеллинов Флоренции, вел войну с таким жаром, что за целый месяц ни разу не развязал ремней своей железной брони. Вот почему, не говоря ни с кем, фра Мино произвел глубокие изыскания о гробе св. Сатира и о часовне, в которой этот гроб находился. Испушенный в премудрости книжной, перелистывал он страницы древних и новых писателей, но нигде не находил указаний.

Однажды утром, проведя, по своему обыкновению, всю ночь в работе, пожелал он утешить сердце свое прогулкой в полях, и пошел по горной тропинке, которая, извиваясь среди виноградных лоз, висевших гирляндами между вязами, вела к миртовой и оливковой роще, называемой римлянами в былые времена священной. Погружая ноги в мокрую траву, освежая чело каплями росы, падавшими с остролистых гордовин, фра Мино долгое время шел по лесу, как вдруг заметил источник, над которым тамарисы тихо колебали легкую листву и пух своих розовых кистей. Ниже, в том месте, где ручей расширился, виднелись неподвижные цапли. Маленькие птицы пели в миртовых ветвях. Благоухание влажной мяты подымалось от земли, и в траве блистали те самые цветы, о которых Господь сказал, что царь Соломон, во славе своей, не одевался так, как каждый из них. Фра Мино сел на мшистый камень и, хваля Бога, начал размышлять о тайнах, заключенных в природе.

Так как воспоминание о том, что он видел в часовне, никогда его не покидало, то он сидел, сжимая лоб руками, в тысячный раз обдумывая, что означает этот сон: «Потому что такое видение, — говорил он себе, — должно иметь некоторый смысл, должно иметь даже несколько смыслов, которые следует открыть или внезапным наитием, или точным применением правил схоластики. И я полагаю, что в этом случае поэты, которых я изучал в Болонье, как например, Гораций-сатирик или Стаций, должны бы оказать мне также немалую помощь, так как многие истины примешаны к их басням».

В течение долгого времени взвешивая в уме своем такие мысли и другие, еще более утонченные, фра Мино поднял, наконец, глаза и заметил, что он — не один. Прислонившись спиной к дуплистому стволу древнего каменного дуба, некий старец

смотрел в небо сквозь листву и усмехался. Над его седой головой возвышались два маленьких притупленных рога. Курносое лицо обрамляла белая борода, и сквозь нее виднелись мясистые наросты на шее. Жесткие волосы щетинились на груди, ляжки были покрыты косматою шерстью, и ноги кончались раздвоенным копытом. Приложив губы к тростниковой свирели, извлек он слабые звуки. Потом запел чуть слышным голосом:

Засмеялась, убежала,
Гроздя спелые кусая.
Но, обвив ее руками,
Поцелуем в алых губках
Раздавил я виноград!

Увидев и услышав это, фра Мино сотворил крестное знамение. Но оно ничуть не смутило старика, который остановил на монахе лукавый взор. Среди глубоких морщин лица его голубые и прозрачные глаза блестели, как вода источника между корнями старых дубов.

— Человек или зверь, — воскликнул фра Мино, — повелеваю тебе именем Господа Иисуса Христа, скажи, кто ты!

— Сын мой, — ответил старик, — я — святой Сатир! Но говори тише, чтобы не спугнуть птиц.

Фра Мино продолжал менее громким голосом:

— Старик, так как ты не бежал от святого и страшного знамения крестного, то я не могу допустить, чтобы ты был демоном или духом нечистым, вышедшим из ада. Но, если ты, как утверждаешь, воистину человек, или, лучше сказать, душа человека, освященного трудами праведной жизни и благодарью Господа нашего Иисуса Христа, то объясни мне — прошу тебя — чудо твоих козлиных рогов и волосатых ног, которые кончаются черным и раздвоенным копытом.

При этом вопросе старик поднял руку свою к небу и сказал:

— Сын мой, природа людей, животных; растений и камней есть тайна бессмертных богов, и я не более, чем ты, знаю, почему мой лоб украшен рогами, вокруг которых нимфы обвиняли некогда цветочные гирлянды. Я не знаю, зачем на шее моей эти мясистые наросты и почему мне даны ноги отважного козла. Я могу тебе только поведать, сын мой, что в былые дни в этих лесах были и жены, которые имели так же, как я, рога на лбу и косматые икры. Но груди у них были белые и крутлые. Их чрева, их бедра блистали гладкою кожей. Солнце, тогда еще молодое, любило сквозь листья осыпать их золотыми стрелами. Они были прекрасны, сын мой! Увы, с тех пор они исчезли из

лесов — все до единой. И мои товарищи погибли так же, как они; вот и я — последний из моего племени... Я очень стар.

— Старик, скажи мне, сколько тебе лет, и кто твои родители, и где твоя родина?

— Сын мой, я родился из земли гораздо ранее, чем Юпитер низверг с престола Сатурна, и глаза мои видели цветущую молодость мира. Тогда род человеческий еще не создан был из глины. И со мною одни сатиresses в хороводных плясках ударяли о звонкую землю раздвоенным копытом. Они были большего роста, силы и красоты, чем нимфы и женщины; и чресла их, более широкие, обильно принимали семя первенцев земли.

«В царство Юпитера нимфы поселились в родниках, горах и лесах. Фавны соединялись с ними в легкие хороводы в глубине лесов. Между тем я жил, счастливый, услаждаясь вволю и кистями дикого винограда, и устами веселых подруг моих. Я вкушал от мирного сна в глубокой траве. Я пел на сельской флейте хвалу Юпитеру после Сатурна, потому что душе моей свойственно прославлять богов, властителей мира.

Но — увы! — и я состарился, ибо я — только бог, и века посеребрили волосы на голове и на груди моей, века потушили жар моих чресл. Я уже обременен был столетиями, когда умер Великий Пан, и Юпитер, испытывая ту же участь, на которую некогда обрек Сатурна, низвергнут был с престола Галилеянином. С тех пор я влачил такие жалкие дни, что, наконец, умер и положен был во гроб. И в самом деле, я теперь лишь собственная тень. Если я еще немного существую, то только потому, что ничто не исчезает и никому не дано умереть до конца. Смерть не более совершенна, чем жизнь. Существа, потерянные в океане мира, подобны волнам, которые, как ты можешь видеть, о, дитя мое, поднимаются и опускаются в море Адрии. Нет у них ни конца, ни начала, они рождаются и погибают неуловимо. Неуловимо, как они, умирает и душа моя. Бледное воспоминание о сатиresses золотого века еще оживляет глаза мои, и на устах витают древние гимны бесшумно.

Он сказал и умолк. Фра Мино взглянул на старика и увидел, что он — только призрак.

— Что ты рожден козлоногим, — ответил он ему, — не будучи, однако, демоном, я, пожалуй, могу допустить. Твари, созданные Богом и лишённые им участия в наследии Адама, не могут ни спастись, ни быть осужденными. Я не думаю, чтобы кентавр Хирон, который мудростью превосходил всех людей, обречен был на вечные муки в пасти Левиафана. Некий старик, проникнувший в царство теней, утверждает, что он видел

Хирона, сидящим на зlatih лугах и беседующим с Рифеем, справедливейшим из троянцев. Другие же уверяют, что райские врата открылись Рифею Троянцу. И сомнение дозволено по этому предмету. Но тем не менее ты солгал, странник, утверждая, что ты — святой, ты, который не рожден человеком.

Козлоногий ответил:

— Сын мой, в юности моей я не более лгал, чем овцы, чье молоко я сосал, чем козлы, с которыми я бодался, радуясь своей силе и красоте. В те времена ничто не лгало, и тогда еще не умели красить лживыми красками шерсть овец. И душа моя с тех пор не изменилась. Видишь, я — наг, как в золотые дни Сатурна. И на уме моем нет никаких покровов так же, как и на теле. Нет, я не лгу. И почему же ты удивляешься, сын мой, что я сделался святым пред лицом Галилеянина, не будучи рожден от той матери, которую одни называют Евою, другие Пиррою и которую должно чтить под обоими именами? Святой Михаил тоже родился не от женщины. Я его знаю, и мы иногда беседуем с ним. Он рассказывает мне о тех временах, когда был пастухом быков на горе Гарган...

Фра Мино прервал сатира:

— Я не могу позволить, чтобы святого Михаила называли пастухом быков за то, что он некоторое время охранял стада человека по имени Гарган на горе того же названия. Но Расскажи мне, старик, как сделался ты святым?

— Слушай, — ответил козлоногий, — и любопытство твое будет удовлетворено.

Люди, пришедшие с Востока, возвестив в сладостной долине Арно, что Галилеянин низверг с престола Юпитера, срубили дубы, на которых поселяне вешали маленьких богинь из глины и заповедные таблички из воска, и водрузили кресты над священными родниками, и запретили пастухам приносить в пещеры нимф дары из вина, молока и ячменных лепешек. Племя фавнов, панов и сильванов почувствовало себя оскорбленным такою несправедливостью. В гневе своем восстали они на возвестителей нового бога. Ночью, когда проповедники спали на своих ложах из сухих листьев, нимфы, подкрадываясь, дергали их за бороду, и молодые фавны, проникая в стойла святых мужей, выщипывали волосы из хвоста их ослиц. Тщетно пытался я обезоружить злобу братьев и советовал им покориться. «Дети мои, — говорил я, — время легких игр и лукавого смеха прошло». Неосторожные не послушали меня. И беда постигла их.

Но я, видевший, как царство Сатурна кончилось, находил естественность и справедливость, чтобы и Юпитер погиб в

свою очередь. Я с покорностью ждал падения великих богов. Я не противился вестникам Галилеянина и даже оказывал им маленькие услуги. Зная лучше их лесные тропинки, я собирал ежевику и ягоды терновника и клал на свежие листья у входа в пещеры, где обитали святые мужи. Я предлагал им также яйца ржанки. И если они строили хижину, таскал на плечах ветви и камни. В награду они окропили мою голову водою и благословили меня во имя Христа Иисуса.

Я жил с ними, подобно им. Тот, кто их любил, любил и меня. Я участвовал в почестях, воздаваемых им, и святость моя казалась равной их святости.

Я сказал тебе, сын мой, что в те времена я был уже очень стар. Солнце едва могло согреть мои оцепенелые члены. И я был подобен дряхлому дуплистому дереву, потерявшему свой певучий, зеленый венец. Каждая новая осень ускоряла мое разрушение. Однажды, в зимнее утро, нашли меня распростертым без движения на краю дороги.

Епископ, сопутствуемый иереями и народом, совершил надо мной похоронный обряд. Потом меня положили в большую гробницу из белого мрамора, отмеченную трижды крестным знамением с именем *Святого Сатира*, начертанным на передней стене, в гирлянде виноградных кистей.

В те времена, сын мой, гробницы воздвигались вблизи дорог. Моя находилась в двух тысячах шагов от города, по дороге во Флоренцию. Молодая чинара выросла на могиле и покрыла ее тенью, пронизанной солнцем, полной пения птиц, ропота, свежести и радости. Вблизи журчал родник по дну, покрытому зеленою жерухой, — и туда приходили отроки и девушки, чтобы вместе купаться. Это очаровательное место было священным. Молодые матери приносили маленьких детей и заставляли прикоснуться к мрамору саркофага для того, чтобы они получили силу и красоту во всех членах. Таково было верование, распространенное в народе, — что новорожденные, которых приносили на мою могилу, должны были превзойти других людей здоровьем и мужеством. Вот почему ко мне приводили цвет благородного тосканского племени, приводили также и ослиц своих поселяне, в надежде, что я сделаю их плодовитыми. Память мою чтили. Каждый год, с возвращением весны, приходил епископ в сопровождении клира и совершал молебствие над моим телом, и я видел, как издалека, сквозь травы лугов, приближаясь, блестело шествие с крестами и свечами, с пунцовым балдахинном, с пением псалмов. Все это происходило, сын мой, во времена доброго царя Берендея.

А между тем сатиры и сатирессы, фавны и нимфы владели жизнью бездомную и жалкую. Больше не было для них ни алтарей из свежего дерна, ни цветочных гирлянд, ни жертвоприношений из молока, муки и меда. Разве только изредка козий пастух положит тайно маленький сыр на пороге священного грота, заросшего колючими шипами и терновником. Но и эту скудную пищу поедали белки и дикие кролики. Нимфы, обитательницы лесов и темных пещер, были изгнаны проповедниками, пришедшими с Востока. Бедные сельские боги уже не находили приюта в священных лесах своих. Хоровод косматых сатиров, некогда ударявших звонкою ногою о материнскую землю, превратился в облако бледных и безгласных теней, влачившихся по склонам холмов подобно утренней мгле, которую солнце рассеивает.

Пораженные гневом Божиим, как бы яростным ветром, призраки эти кружились днем в пыльных вихрях по дорогам. Ночь была для них немного менее враждебной. Ночь не всецело принадлежит Богу Галилейскому. Он разделяет власть над нею с демонами. Когда тень спускалась с холмов, фавны и фавнессы, нимфы и паны садились на корточки, прижимаясь к саркофагам, обрамлявшим дороги, и здесь, под сладостными чарами темных сил, вкушали покой ненадолго. Прочим гробницам предпочитали они мою, как могилу почтенного прадеда. Скоро соединились они все под тою частью мраморного карниза, которая, восходя на юг, не была покрыта мхом и всегда оставалась сухою. Туда неизменно каждый вечер прилетало их легкое племя, как стая голубей в голубятню. В этом уголке им нетрудно было всем найти место, потому что они сделались маленькими и подобными пустому зерну, вылетающему из веялки. Я сам, выходя из моего тихого убежища, садился среди них под сенью мраморных черепиц и пел им слабым голосом о веке Юпитера и Сатурна, и воспоминались им прежние радости. Под взорами Дианы¹ изображали они друг перед другом свои древние игры, и запоздалому путнику казалось, что туман в долине под луною принимает формы, подобные телам соединяющихся любовников. И в самом деле, они были теперь легким туманом. Холод причинял им много вреда. Однажды ночью, когда снег покрыл поля, нимфы Эглея, Нэра, Мнаис и Мелибея проникли сквозь щели мрамора в темное, тесное убежище, в котором я обитал. Их подруги толпою последовали за ними, и фавны, кинувшись в погоню за нимфами, скоро настигли их. Мой дом сделался их домом. Мы никуда не выходили из него, только разве на прогулку в лес, когда ночь

¹ То есть под Луной (Диана — богиня луны).

была тиха и ясна. Но с первым криком петухов спешили вернуться домой. Ибо ты должен знать, сын мой, что из всего рогатого племени мне одному позволено являться на этой земле при свете дня. Таково преимущество, дарованное моей святости.

Гробница моя более, чем когда-либо, внушала почтение жителям окрестных селений, и каждый день молодые матери приносили ко мне грудных детей, которых они подымали голых на руках своих. Когда сыновья святого Франциска пришли в это место и построили монастырь на склоне холма, то они испросили разрешения у владыки-епископа перенести в монастырскую церковь мою гробницу, чтобы там хранить ее. Владыка соизволил, и вот с большою пышностью я был перенесен в часовню святого Михаила, где и доныне покоюсь. Мое семейство, выросшее в полях, последовало за мною. Мне оказали немалую честь. Но, признаюсь, я все-таки жалел о моем прежнем месте на большой дороге, где я видел ранним утром поселянок, которые несли на голове корзины с виноградом, фигами и демьянкой. Время не утешило меня, и мне все еще хотелось бы лежать под платанами на Священной Дороге.

Такова моя жизнь, — добавил старый Сатир, — она протекает смеющаяся, сладкая и тайная через все века. Если некоторая скорбь примешивается к радости, значит, на то воля богов. О, сын мой, воздадим хвалу богам, владыкам вселенной!

Фра Мино в течение некоторого времени пребывал в раздумье. Потом он сказал:

— Теперь я понимаю смысл того, что видел в ту греховную ночь в часовне Святого Михаила. Тем не менее одна подробность остается темною. Скажи мне, старик, почему нимфы, которые живут с тобою и предаются фавнам, превратились в отвратительных старух, приблизившись ко мне?

— Увы, сын мой, — ответил святой Сатир, — время не щадит ни людей, ни богов. Боги бессмертны только в воображении недолговечных людей. На самом же деле они также чувствуют тяжесть времени и склоняются с течением столетий к неотвратимому упадку. Нимфы стареют, как и женщины. Нет розы, которая не превратилась бы в терн. Нет нимфы, которая не превратилась бы в ведьму. Любуясь забавами моего маленького семейства, ты должен был видеть, как воспоминание о прошедшей юности делает прекрасными фавнов и нимф в минуту страсти, как жар воскресшей любви воскрешает их увядшую прелесть. Но тотчас же опять обнаруживается разрушительное, действие веков. Увы! Увы! Племя нимф отцвело и одряхлело.

Фра Мино задал еще вопрос:

— Старик, если это правда, что ты достиг блаженства неисповедимыми путями, если это правда, хотя оно и кажется нелепым, что ты — святой, то как же ты живешь в гробнице с этими тенями, которые не умеют хвалить Бога и которые оскверняют блудодейством дом Господень? Отвечай, старик!

Но святой козлоногий без ответа тихо рассеялся в воздухе.

Сидя на мшистом камне над источником, фра Мино обдумывал слышанные речи и находил в них среди глубокого мрака неожиданные проблески.

— Этого святого Сатира, — размышлял он, — можно сравнить с древнею сивиллой, которая во времена ложных богов возвещала народам Спасителя. Тина старинной лжи еще прилипла к его козлиным копытам, но чело уже озаряется светом, и уста исповедуют истину.

Так как тень буков удлинялась на траве холмов, то монах встал с камня и спустился по узкой тропинке, которая вела в монастырь сыновей св. Франциска. Но он не смел глядеть на цветы, спавшие на водах, потому что они напоминали ему нимф. Он вернулся в келью в тот час, когда колокола звонили *Ave Maria*. Она была маленькая и белая: все убранство состояло из ложа, скамьи и одного из тех высоких аналоев, которые употреблялись для писания. На стене нищенствующий брат изобразил некогда во вкусе Джотто святых жен у подножия Креста. Под эту фрескою, на деревянной полке, темной и лоснившейся, как доски точил, стояли книги, из коих одни были священные, другие — светские, так как фра Мино изучал древних поэтов для того, чтобы воздавать хвалу Господу во всех делах человеческих, и благословлял Вергилия за то, что он предрек пришествие Спасителя в том знаменитом стихе, которым Мантуанец возвещает народам: *Jam redit et Virgo*¹.

На подоконнике из фаянсовой вазы грубой работы подымалась лилия на тоненьком стебле. Фра Мино любил читать имя Марии Девы, начертанное на ее белых лепестках золотою пылью. Очень высокое открытое окно было узко, но из него виднелось небо над лиловыми холмами.

Затворившись в этой сладостной могиле своей жизни и своих желаний, Мино присел к узкому аналою с двумя наклонными дощечками, за которым он имел обыкновение писать. И здесь, обмакивая тростник в чернильницу, прикрепленную сбоку к ящику, в котором хранились пергаменты, кисти, трубочки с

¹ Ныне явилась Дева (лат.).

красками и золотой порошок, он попросил мух именем Господа Бога не досаждать ему и начал записывать точный рассказ обо всем виденном и слышанном в часовне св. Михаила, в нехорошую ночь, а также в этот самый день, в лесу, на берегу источника. Справа начертал он на пергаменте следующие строки:

«Вот повествование о том, что фра Мино, ордена нищенствующих братьев, видел и слышал, записанное для поучения верных. Во славу Иисуса Христа и блаженного, нищего угодника Господня святого Франциска. Аминь».

Потом изложил письменно и по порядку, ничего не пропуская, все, что видел: и то, как нимфы превратились в колдуний, и как старик с рогами беседовал с ним в лесу голосом, подобным последнему вздоху древней свирели и первым звукам священной арфы. Между тем, как он писал, птицы щебетали, ночь подкралась, и прелестные краски дня потухли. Монах зажег лампаду и продолжал писать. Рассказывая о чудесах, коих он был свидетелем, фра Мино в то же время изъяснял их значение прямое и духовное, по всем правилам схоластики. И, подобно тому, как башнями и стенами окружают города, чтобы их укрепить, так и он подтверждал свои доказательства изречениями, заимствованными из Священного Писания. И он вывел следующие заключения из этих необычайных явлений: во-первых, что Иисус Христос есть Господь и Владыка всякой твари земной и что Он есть Бог сатиров и фавнов так же, как людей. Вот почему св. Иероним видел в пустыне кентавров, которые исповедовали имя Христа, во-вторых, что Бог открыл язычникам некоторые проблески истины для того, чтобы они могли спастись. Вот почему сивиллы как, например, Кумекая, Египетская и Дельфийская, предвозвещали во мраке неверия Ясли, Бичи, Тростниковый Скипетр, Терновый Венец и Крест. Вот почему также Августин сивиллу Эритрейскую допускает в Град Господень. Фра Мино возблагодарил Бога, открывшего ему эти тайны. Великая радость наполнила сердце при мысли, что и Вергилий также находится среди избранных Божиих. И он начертал с веселием в конце последнего листа:

«Вот апокалипсис брата Мино, нищего во Христе. Я видел светлое сияние на рогатом челе Сатира, как предзнаменование милосердия Господня, исторгшего из пламени ада мудрецов и поэтов древности».

Была уже поздняя ночь, и фра Мино прилег на постель, чтобы несколько отдохнуть. Когда он начинал уже дремать, в окно влетела старая женщина в лунном луче. Он узнал в ней самую страшную из ведьм, которых видел в часовне св. Михаила.

— Дружок мой, сказала она, — что ты наделал? Ведь мы предостерегали, я и мои милые сестры, чтобы ты не открывал наших тайн. Ибо, если ты предашь нас, мы задушим тебя. А мне тебя жаль, потому что я люблю тебя с нежностью!

Она обняла его, назвала своим небесным Адонисом, своим маленьким, белым осликом и ласкала его пламенными ласками.

Но, увидев, что он отталкивает ее с отвращением, сказала:

— Дитя мое, ты презираешь меня, потому что веки мои красны, ноздри мои изъедены острым, зловонным дыханием, и в деснах моих остался единственный зуб, черный и громадный. Правда, что такова ныне Нэера твоя. Но если ты только полюбишь меня, я сделаюсь тобою для тебя снова тем, чем была в золотые дни Сатурна, когда юность моя цвела в цветущей юности мира. О, мой отрок, мой бог, ведь это любовь делает прекрасным все. Чтобы возратить мне красоту, тебе нужно только немного храбрости. Ну же, Мино, будь смелее!

При этих словах, сопровождаемых движениями, фра Мино, объятый ужасом и омерзением, ослабел и соскользнул с постели на каменный пол своей кельи. И между тем, как монах падал, ему показалось, что он видит сквозь веки, уже полураскрытые, нимфу совершенной прелести, голое тело которой обливало его, как пролитое молоко.

Мино проснулся при ярком свете дня, совершенно разбитый падением. Листья пергамента, которые он исписал ночью, покрывали аналой. Он перечел их, сложил, запечатал собственной печатью, спрятав под одежду и не заботясь об угрозах, дважды повторенных ведьмами, отнес эти разоблачения владыке-епископу, дворец которого высоко подымал зубцы свои посредине города. Он застал его в большом зале в то время, как владыка надевал шпоры, окруженные ландскнехтами. Ибо первосвященник вел войну с гибеллинами Флоренции. Епископ спросил монаха, за какую надобностью он пришел, и, когда узнал, то пригласил тотчас же прочесть ему донесение. Фра Мино повиновался. Владыка-епископ выслушал чтение до конца. Что касается до призраков, то он не имел об этом предмете особенно точных сведений, но бы исполнен пламенной ревностью к величию церкви. Не медля ни одного дня, несмотря на военные заботы, поручил он двенадцати знаменитым докторам теологии и канонического права исследовать дело, чтобы они поскорее дали свое заключение. По зрелом размышлении, допросив неоднократно фра Мино, доктора пришли к тому выводу, что должно открыть гробницу св. Сатира в ча-

совне св. Михаила и произнести над нею самые сильные очистительные заклятия. Относительно догматических вопросов, поднятых фра Мино, они не пришли к определенному заключению, склоняясь, однако, к тому, что доказательства францисканца слишком смелы, легкомысленны и необычайны.

Согласно с решением докторов и по изволению владыки-епископа, гробница св. Сатира была открыта. В ней нашли горсть пепла, которую священники обрызгали святою водою. И тогда из могилы поднялся белый пар, и в нем слышались тихие стоны.

Ночью, после совершения этого обряда, фра Мино приснилось, что ведьмы, наклонившись над его ложем, вырывают ему сердце. Он встал на рассвете, мучимый острою болью и пожираемый жаждой. Дотащился до монастырского колодца, в котором пили голуби. Но только что омочил губы в воде, наполнявшей углубление по краям колодца, как почувствовал, что сердце у него в груди распухло, подобно губке, и, прошептав: «Господи!» — пал бездыханным.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Макаров. Журавли над Атлантидой</i>	5
---	---

ГОГОЛЬ И ЧЕРТ

ПОЭЗИЯ

Стихотворения 1883—1887	29
Родина	29
Франческа Римини	29
Протопоп Аввакум	31
Уголино (<i>Легенда из Данте</i>)	41
Дон Кихот	44
Альбатрос (<i>Из Бодлера</i>)	46
Предчувствие	47
Символы (<i>Песни и поэмы</i>)	48
Бог	48
Пророк Исайя	49
Одиночество	50
«Что ты можешь? В безумной борьбе...»	51
Волны	51
Марк Аврелий	52
Возвращение	54
На южном берегу Крыма	54
Христос, Ангелы и Душа (<i>Мистерия XIII века</i>)	55
«Томимый грустью непонятной...»	58
Смех богов	58
Гимн красоте	59
Ворон	60
Новые стихотворения 1891—1895	64
Дети ночи	64
Поэт	65
Леда	65
Темный ангел	67
Изгнанники	68
Парки	68
Смех	69
Леонардо да Винчи	70

Голубое небо	71
Скука	72
Микеланджело	72
Признание	75
Любовь-вражда	76
Обыкновенный человек	77
Недолговечная	78
Проклятие любви	78
Одиночество в любви	79
Молчание	80
Неуловимое	80
De profundis	81
I Усталость	81
II De profundis	81
Пустая чаша	82
Вечерняя песня	83
В лунном свете	84
Весеннее чувство	84
Март	85
Простое сердце	86
Цветы	86
Осенью в летнем саду	87
Краткая песня	87
Мать	88
Нива	88
Счастья нет	89
Сталь	89
Успокоенные	90
Слепая	91
Ноябрь	91
Нирвана	91
Тишина	92
Средиземное море	93
На озере Комо	93
Гриндельвальд	94
Парфенон	94
Надежда	95
Старость	96
Родник	96
Сеятель	97
Нищий	98
Иов (<i>Библейская поэма</i>)	98

Из «Собрания стихов» (1904), «Собрания стихов» (1910)	
и «Полного собрания сочинений» (1912)	106
«Так жизнь ничтожеством страшна...»	106
Двойная бездна	106
Трубный глас	107
Молитва о крыльях	108
Возвращение («Глядим, глядим все в ту же сторону...»)	108
Старинные октавы.	109
Стихотворения разных лет	168
Dies irae	168
Природа	169
Солнце и сердце.	170
Stabat Mater	170
Чужбина-Родина	171
Кассандра	172
Вечерняя песнь	172
«Плავает лебедь в воде размножающей...»	173
Вдруг.	173
Сонное	174
Одуванчики	174
Я не был счастлив никогда	175
Главное	176
Пятая.	176

ГОГОЛЬ И ЧЕРТ

Исследование

Часть первая. Творчество	179
Часть вторая. Жизнь и религия	215

ИТАЛЬЯНСКИЕ НОВЕЛЛЫ

Любовь сильнее смерти	277
Наука любви	293
Железное кольцо. <i>Новелла XV века</i>	304
Рыцарь за прялкой. <i>Новелла XV века</i>	324
Превращение. <i>Флорентийская новелла XV века</i>	342
Святой Сатир. <i>Флорентийская легенда. Из А. Франса</i>	364

Дмитрий Сергеевич Мережковский

ГОГОЛЬ И ЧЕРТ

Редактор *А. Полбенникова*
Художественный редактор *А. Балашова*
Корректор *М. Сергеева*
Компьютерная верстка *Н. Привезенцева*

Подписано в печать 14.04.10 г.
Формат 84×108 ¹/₃₂. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 22,02.
Заказ № 3604.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su

Отпечатано по технологии StP
в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 21/1.
Телефон / факс: (812) 495-56-10.

www.terra.su

ISBN 978-5-4224-0103-1



9 785422 401031

www.soyuzkniga.ru